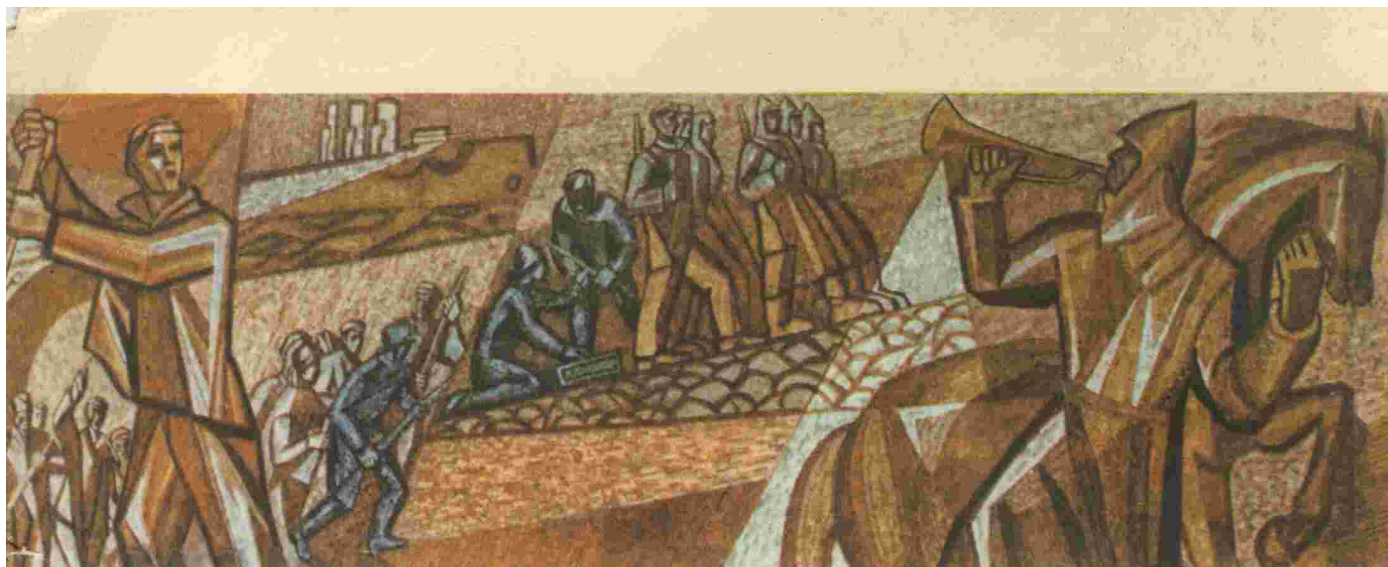




ЮНОСТЬ

2

1968



Фрагмент мозаики главного фасада кинотеатра «Октябрь» в Москве.

КАЖДЫЙ вид изобразительного искусства имеет свои законы, свои масштабы, свое назначение. Живая ткань станковой картины, например, ограничена рамой. Дальше ее существование нечается.

Но есть другой вид изображения, всегда связанный не только с архитектурой, но и со всем окружающим пространством, — монументальное искусство. К нему, в частности, относятся стенная роспись, фреска, керамические и мозаичные панно. Здесь у художника и архитектора единый замысел. Работа художника должна быть и своей идеей, и формой, и технологией столь же долговечной, что и само здание. А отсюда и своя специфика, своя условная форма, свое цветовое решение, необходимость соблюдения при всей выразительности и остроте композиции предельного равновесия и гармонии, слитности с архитектурным ансамблем.

Искусство мозаики имеет многовековую историю. Но до последних лет нам не приходилось видеть много мозаик на фасадах новых зданий. Мы больше встречались с их фрагментами в выставочных залах, где они куда хуже смотрятся, чем на уготованных им местах.

К пятидесятилетию Октябрьской революции были сняты леса со здания кинотеатра «Октябрь» в Москве... Перед нами



Фрагмент мозаики бокового фасада. Внизу кинотеатр «Октябрь» на проспекте Калинина в Москве. Фото А. Паршина и С. Васина.



открылся мозаичный фриз, охватывающий всю верхнюю часть здания.

Авторы этой гигантской работы — большой коллектив московских художников, возглавляемый А. Васнецовым, Н. Андроновым и В. Элькониним. Само название кинотеатра предопределило тему фриза. Это этапы шествия Октября — от штурма Зимнего до освоения космического пространства. Энергичный художественный язык, крупная кладка нескольких сортов камня и смальты, богатая гамма красноватых, бурых и серых тонов, вся ритмика изображений, на мой взгляд, создает удивительно мажорное звучание, соответствующее теме этого широкого полотна. Этому соответствию помогает и то, что, безусловно, сегодняшний стиль композиции рисунка и пропорций чем-то перекликается с чертами, характерными для искусства первых послереволюционных лет.

В первый момент краснова-

тый колорит здания воспринимается как цвет кирпичной стены. Этот цвет и фактура поверхности не только очень красиво сочетаются с серебристым блеском современной архитектуры проспекта Калинина, с его пересечением линий и плоскостей из металла, стекла и пластика, но и неизбежно вызывают ассоциацию с Кремлевской стеной, Красной площадью, чем-то давно знакомым и очень московским.

Изображения могучих фигур и элементов революционной эмблематики сразу нашли свое почетное место в московском пейзаже.

С годами мы увидим новые монументальные панно и сможем сравнивать разные стили, разные художественные манеры и решения разных художников, но грандиозная мозаика кинотеатра «Октябрь» останется драгоценным вкладом в создание нового облика советской столицы.

Орест ВЕРЕЙСКИЙ

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

В ЭТОМ НОМЕРЕ:



Генерал-полковник А. Родимцев рассказывает о Сталинградской битве.



Первый рассказ студента Николая Кукушкина.



Стихи Булата Окуджавы, Константина Ваншенкина, Евгения Винокурова, Юлии Друниной.



Новые поиски и находки Ираклия Андроникова.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА



2

(153)

ФЕВРАЛЬ

1 9 6 8

год издания
четырнадцатый

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПРОЗА

Николай КУКУШКИН. Всего хорошего. Рассказ 13

Игорь МИНУТКО. Двенадцатый двор. Повесть. Окончание 19

Г. ТАМАРИНА. Сполохи. Повесть 46

● ПОЭЗИЯ

Виктор УРИН. Легенда о шлеме 11

Борис ДУБРОВИН. Немедленная готовность. «С полетами сейчас повредили...» 11

Юлия ДРУНИНА. «Когда проходят с песней батальоны...» «Я опять о своем, невеселом...» «Над Россией шумели крыла похоронок...» «Я люблю тебя злого...» 12

Буллат ОКУДЖАВА. Путешествие по ночной Варшаве в дрожжах. Времена. Цирк 18

Евгений ВИНУКОВ. Из военного дневника. Сейчас. Вера в себя. «Лишь мыслью будешь ты пробит...» Бессонница. Сонет о пределе. Индийская философия. Монумент в Кракове 70

Константин ВАНШЕНКИН. «От всех мадонн, стоящих у развилки...». «В дни тишины и в годы грозные...». Концерт. «Занат на стволах погас...». «Темнея колонной ствола...». «В природе наметился спад...». «Право, это вовсе ничего...». Путник. «Утеряны в жизни тобой...». «Родинка смешная на щечке...» 71

● ПУБЛИЦИСТИКА

А. РОДИМЦЕВ. Штурмовые дни и ночи 2

Иван ЗЮЗЮКИН. Секреты детского счастья 73

Ираклий АНДРОНИКОВ. Сестры Хауф 78

Анастас МИКОЯН. О днях Бакинской коммуны. Окончание 81

Л. ЛЕВИН. «Прощай. Поезда не приходят оттуда...» 102

● ДНЕВНИК КРИТИКА

Вл. ВОРОНОВ. Заклинания духов 96

● ТЕАТР

Наталья ЛАГИНА. «Молодежь — ты мое начальство...» 100

● ПОЧТА «ЮНОСТИ».... 107

● СПОРТ

«Очень серьезная девочка». Беседа в редакции с Леной КАРПУХИНОЙ 108

Комментарий тренера — Марии Вартаховны ЛИСИЦИАН 109

● ПЫЛЕСОС

Виктор СЛАВКИН. Этот Никомедов. Рассказ. 110

На 1-й—4-й страницах обложки рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и А. МАКСИМОВА.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00343. Подп. к печ. 19/1 1968 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 210. Заказ № 3518.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, ул. «Правды», 24,



А. Родимцев,

генерал-полковник,
дважды Герой Советского Союза

ШТУР- МОВЫЕ ДНИ И НОЧИ

На снимке сверху — А. И. Родимцев
(фото 1942 года).

А. РОДИМЦЕВ. ШТУРМОВЫЕ ДНИ И НОЧИ.

Полвека назад, в феврале 1918-го, в боях с врагами родилась Советская Армия. Первое в мире рабоче-крестьянское государство выковало надежный меч для защиты завоеваний Октября.

Наша армия прошла путь, где героизму всегда сопутствовала справедливость, а военные цели были подчинены святому делу защиты Отечества. Наша армия знала будни и праздники, горечь отступлений и радость побед.

В дни Великой Отечественной войны советского народа против германского фашизма на долю нашей армии пришлось величайшая в истории человечества битва — Сталинградская: более двух миллионов человек непосредственно участвовало в ней с той и с другой стороны. Вот почему, чувствуя сегодня вместе со всем народом Советскую Армию, мы обращаемся к воспоминаниям о бессмертном сражении на берегах Волги.

Если минувшая война была величайшей в истории нашего Отечества, то Сталинградская эпопея остается вершиной драматизма и мужества, одним из тех «звездных часов человечества», которые определяют и судьбы народов и пути истории. Масштабы события проверяются временем, но уже сейчас бесспорно, что, подобно древним Фермопилам, слово «Сталинград» из имени собственного стало нарицательным. Это слово на всех языках символизирует массовый героизм, немислимое напряжение сил, великий поворот от обороны к наступлению, от поражений к победам...

Сталинградская битва навсегда останется предметом величайшей гордости советского народа.

До войны в Сталинграде было 660 тысяч жителей. В феврале сорок третьего года в центральном районе осталось сто тридцать человек. Многие были, конечно, эвакуированы, но многие и погибли.

Дорогой ценой оплачивали гитлеровцы каждый метр сталинградской земли. За один «дом Павлова» они положили жизни больше, чем при взятии Парижа...

Каждый год в конце января в город на Волге съезжаются ветераны Сталинградской битвы. Они склоняют головы в память славных героев, павших в боях. Погибшие закончили жизнь ратными подвигами — оставшиеся в живых платят им дань подвигами трудовыми. Поэтому вечный огонь у братской могилы на площади Павших борцов запылал от искры Волгоградской гидроэлектростанции.

Говорят, на земле, обильно политой кровью, все растет быстрее: и дома и деревья. Двадцать пять лет назад среди мареновских печей велись уличные бои, цехи Тракторного завода лежали в руинах, и не оставалось ни одного метра жилья — разве только в подвалах и землянках.

Теперь свыше полутора сотен промышленных предприятий города выпускают продукции в пять-шесть раз больше, чем выпускал Сталинград до войны. Считается на миллионы: миллионы метров жилья, на миллионы рублей сверхплановой продукции, сотни миллионов пудов хлеба...

Выступая в средней школе имени Гагарина, генерал А. И. Родимцев, чье имя известно каждому жителю города от мала до велика, сказал, обращаясь к ученикам:

— Я помню, как осенью сорок второго года вместе со взрослыми город отстаивали мальчишки 14—16 лет. Многие из них отдали жизни, они отдали их за вас. Я рад, что вижу вас здоровыми и счастливыми... Я рад, что у вас все есть, что вы ни в чем не нуждаетесь. Цените же свое счастье!..

Мы публикуем отрывок из воспоминаний генерал-полковника А. И. Родимцева о Сталинградской битве. Эти заметки принадлежат перу не простого очевидца, но активнейшего участника событий. А. И. Родимцев задумал написать большую работу о борьбе с фашизмом на разных рубежах Европы: от Пиренейского полуострова (А. Родимцев сражался в Испании) до Поволжья. Первая из книг — «Твой, Отечество, сын» — рассказывающая о тревожных днях сорок первого года, уже вышла в Киеве.

...Каждый год миллионы советских юношей надевают солдатскую шинель. Армия становится для них школой мужества, стойкости и выносливости; она формирует из них мужчин, она укрепляет волю и закаляет тело, и очень многих она наделяет профессиями, нужными и в мирной жизни.

В дни полувекового юбилея, когда весь советский народ поздравляет Вооруженные Силы страны, мы хотим воскресить перед нашим юным читателем картины Сталинградской эпопеи — одной из самых героических страниц в истории Советской Армии.

Как-то вечером, готовясь к работе над этими воспоминаниями, я просматривал бумаги, которые уже много лет лежали нетронутыми в одной из папок. Вдруг из пачки листов выскользнул маленький газетный клочок и упал на пол. Я поднял его. Это была пожелтевшая от времени вырезка из февральского номера «Правды» за 1942 год. «Гвардейцам вручено боевое знамя» — крупным шрифтом был набран заголовок. А дальше следовало: «ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 10 февраля. (Спец. корр. ТАСС). Вчера в торжественной обстановке было вручено гвардейское знамя дивизии, которой командует Герой Советского Союза полковник Родимцев.

Принимая знамя, командир дивизии сказал:

— Это боевое знамя завоевано священной кровью доблестных воинов. Оно зовет нас на новые подвиги во славу Родины. Под этим знаменем мы пойдем вперед, на запад!

Гвардейцы — дважды орденоносцы Кокушкин, Герой Советского Союза Обухов, старший сержант Трудак и другие в своих коротких выступлениях заявили, что удар гвардейцев по врагу будет с каждым днем расти и крепнуть».

И сразу перед моими глазами встал морозный февральский день первой военной зимы... На окраине занесенного снегом прифронтового села выстроились шеренги бойцов. Тишина. Только слышно, как поскрипывает снег под сапогами И. С. Грушецкого, члена Военного Совета армии (ныне секретаря ЦК КПУ), подходящего со знаменем.

— Держи крепче и бей врагов, — говорит он вполголоса, передавая мне холодноватое древко.

— Не вышущу! — так же негромко ответил я.

Порыв ветра расправил ярко-красное полотнище. Побежали, переливаясь в складках, вышитые золотом буквы: «Тринадцатая гвардейская стрелковая дивизия».

Тогда, целуя шелк гвардейского знамени, мы поклялись Родине и партии сражаться, не жалея жизни, до тех пор, пока враг не будет сломлен и уничтожен. В боях под Харьковом и на Дону, на Орловско-Курской дуге и в Польше, на Эльбе и под Прагой помнили гвардейцы свою клятву.

Помнили они ее и в дни битвы на Волге...

Мы пришли в город на Волге тяжелой дорогой отступления. На всю жизнь врезались в память слова военного приказа, полученного в те дни: «Разъяснить всему личному составу, что армия дерется на последнем рубеже, отходить дальше нельзя и некуда. Долг каждого бойца и командира — до конца защищать свой окоп, свою позицию. Ни шагу назад! Враг должен быть уничтожен во что бы то ни стало...»

Жаркое лето было на исходе. Утром роса, как иней, покрывала белым ковром траву, вечером с Волги тянуло прохладой.

И вот в один из этих первых дней сентября я впервые услышал хотя и неофициальное, но обнадеживающее сообщение. Как-то к нам в штаб заехал один генерал.

— Что, товарищ Родимцев, скоро за Волгу драться будешь? — сказал он.

— А разве есть приказ?

— Поговаривают... — отозвался генерал и распрощался.

Генерал оказался прав. 9 сентября был получен приказ Ставки о включении дивизии в состав 62-й армии, которая вела ожесточенные бои на подступах к Сталинграду.

И вот все пришло в движение. Ночью с 10 на 11 сентября большая часть дивизии была переброшена на автомашинах из района Камышин — Николаевский в Среднюю Ахтубу, находящуюся в 20 километрах восточнее Волгограда. Некоторые подразделения пошли пешком. В глубокой темноте, выключив фары, чтобы не быть замеченными авиацией противника, шли автоколонны, обгоняя подразделения, двигавшиеся в пешем строю. Водители добросовестно выполняли приказ о спешной переброске, гнали машины. И все же казалось, что движемся медленно.

Из Средней Ахтубы я поехал в штаб фронта, находящийся на левом берегу Волги, в 8 километрах юго-восточнее города. Оперативный дежурный провел меня в блиндаж командующего фронтом генерала Андрея Ивановича Еременко, ныне Маршала Советского Союза.

Командующий, слегка прихрамывая и опираясь на палку, подошел ко мне. Волевой и храбрый человек, он уже дважды был тяжело ранен в боях.

— Ну, как настроение, товарищ Родимцев?

Я ответил, что бойцы и командиры рвутся в бой и готовы выполнить задачи, поставленные командованием. Товарищ Еременко подробно расспросил о боевом и численном составе дивизии, обрисовал положение 62-й армии. Командующий этой армией, считавший, что не удержит город, снят с должности и заменен энергичным и смелым генералом Чуйковым.

12 и 13 сентября прошли в последних приготовлениях к переправе. Ранним утром 14 сентября в штаб дивизии, расположившийся в школьном здании в Средней Ахтубе, приехал заместитель командующего фронтом генерал Ф. И. Голиков. Ему-то и предстояло возглавить переправу дивизии через Волгу. Беседа с нами, Филипп Иванович особенно интересовался политико-моральным состоянием и боевым опытом личного состава.

В ходе разговора я, по возможности осторожно, намекнул, что дивизии необходимы еще сутки на подготовку к переправе. Вооружение не получено полностью, не хватает патронов к автоматам и пулеметам. Надо получить мины к 82-миллиметровым минометам. Необходимо собрать более подробные данные разведки, чтобы действовать наверняка.

Однако генерал Голиков лучше, чем я, знал обстановку на фронте.

— Видите, Родимцев, огненное зарево? — сказал он, указывая на алую тучу, закрывшую полнеба.

— Вижу, — только и мог ответить я.

— Так вот, врагу удалось прорвать оборону 62-й армии. Ожесточенная борьба идет в самом городе. Именно нынче ночью надо переправить дивизию. Завтра может оказаться уже поздно. Время не терпит.

Такова была суровая правда тех дней. Иногда от немногих часов и даже минут зависел исход сражения...

Не теряя ни минуты, мы стали готовиться к переброске через Волгу.

К вечеру я приехал к месту переправы. Потемневшая и вспененная, билась у ног волжская вода. Стоя на берегу, я в бинокль рассматривал израненный, разрушенный и пылающий город. Трудно было рассмотреть, что творится на том берегу. Лишь вырывались разбитые коробки зданий, да заваленные обломками кирпича, бревнами и железом улицы, да срезанные верхушки деревьев, да дым, дым и дым...

Нам предстояло переправиться в центр города, в район реки Царицы (левая граница дивизии), пересекающей город перпендикулярно к Волге. Здесь же, в центре, расположен вокзал и несколько севернее — Мамаев курган (наша правая граница) — тот самый

Мамаев курган, в боях за который Гитлер потерял больше своих солдат, чем Наполеон во всем знаменитом Бородинском сражении.

...Поздно ночью дивизия подошла к поселку Красная Слобода, где была центральная переправа. Бойцы и командиры буквально валялись с ног от усталости. Ночь стояла темная, хоть глаза выколи. А фонари и лампы пускать в ход нельзя: нарушение светомаскировки могло привести к печальным последствиям.

Прорвавшись севернее города к Волге, противник считал, что его победа близка. Весьма показательно в этом отношении заявление Гитлера, которое он сделал в своей ставке 12 сентября: «...Русские на грани истощения своих сил... К ответным действиям широкого стратегического характера, которые могли бы быть для нас опасными, они больше не способны».

14 сентября атаки противника возобновились с новой, еще большей силой. В этот день гитлеровское командование бросило против защитников города семь лучших дивизий, 500 танков, несколько сот самолетов, 1 400 орудий. Передовые отряды противника прорвались в центр города. Создав опорные пункты в здании Госбанка, в Доме специалистов и ряде других, гитлеровцы взяли под обстрел центральную переправу через Волгу. Кстати сказать, в этом районе ширина реки превышает километр. Форсирование Волги днем невозможно. Нелегко было осуществить переправу и ночью.

Момент был настолько критическим, что командование 62-й армии вынуждено было сформировать из офицеров штаба армии и охраны два отряда и бросить их на очистку правого берега в районе центральной пристани от просочившихся немецких автоматчиков.

Такова была обстановка, когда в ночной темноте, озаряемой вспышками разрывов, прозвучали слова команды:

— Приготовиться к погрузке на катера!..

Уже много недель смерть бродила рядом с каждым из нас. Но мы старались об этом не думать. Воля к победе, воля к жизни была во сто крат сильнее.

О трудности обстановки можно судить по одному из примеров, когда «заседало» партийное бюро защитников Мамаева кургана. В ночь на 4 ноября 1942 года, в канун годовщины Октября, коммунисты собрались, чтобы рассмотреть заявления воинов о приеме их в партию. Только открыли собрание — немцы полезли на курган! Пришлось пустить в дело пулеметы, автоматы, гранаты. Успешно отбив атаку, коммунисты продолжили заседание.

Вот так пять раз приходилось прекращать работу партийного бюро и отражать вылазки противника. Высота была удержана, и за это время принято в партию 14 лучших солдат и офицеров.

В заключение командир пулеметной роты, присутствовавший на собрании, напутствовал молодых коммунистов:

«Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив час победы. Но дважды герой тот, кто сумел победить врага и остаться в живых. Я за дважды героя...»

Беспартийный солдат и офицер хотел быть таким же, как и его товарищ по оружию — коммунист. «Прошу принять в партию Ленина», «Если погибну, считайте коммунистом», «Хочу бить врага, находясь в партии большевиков» — так заявляли воины в канун годовщины Октября в своих записках, письмах, такие надписи делали перед боем на автоматном диске, кирпиче, броне танков.

Дни 6 и 7 ноября я почти полностью провел в пол-

ках и батальонах. На 6 ноября Гитлер назначил один из многочисленных «последних» и «окончательных» сроков взятия города. В Берлине уже были подготовлены статьи с кричащими заголовками, посвященными падению Сталинграда. Но фашисты снова просчитались в своих планах...

Кого не взволновал документальный фильм «Сталинград»? Кому не знакомы его кадры, созданные кинооператором В. И. Орлянкиным: «Воздушный бой над Волгой», «Штурм Г-образного дома», «Атака отважных пулеметчиков» и многие другие?

Однако, видя кадры на экране, немногие из кинозрителей задумывались над тем, с каким трудом и риском для жизни оператора создавался этот фильм. Геббельс трубил на весь мир, что гитлеровские войска полностью завладели Сталинградом. В Главном Политуправлении РККА решили средствами кино разоблачить эту ложь.

И вот Валентин Орлянкин — в 62-й армии, на западном берегу Волги. Его направили в 13-ю гвардейскую дивизию, а от нас он попал в Отдельный гвардейский пулеметный батальон, которым командовал гвардии майор А. Харитонов.

Весь день Валентин на передовой. Вечером вернулся усталый, но сияющий.

— Ну, как дела? — поинтересовался майор Коцаренко.

— Хорошо, товарищ комиссар, метров шесть будет.

— Что это значит в переводе на язык смертных?

— Это значит, что на экране пленку будут смотреть пять-шесть секунд.

— И только? А я-то думал, что вы уже сняли целый фильм, — удивленно сказал зам. комбата А. Плехтин.

— Скоро сказки говорят, да не скоро дела делаются, — улыбаясь, парировал Орлянкин.

На второй день ранним утром вражеская артиллерия начала яростно бить по давно уже разрушенному дому, стоявшему перед пулблатом.

— Немцы обнаружили на пятом этаже кинооператора, — объяснил мне Харитонов.

Артиллерийский обстрел был интенсивный и длительный. Наконец канонада стихла, и в еще не осевшей пыли по маршевой лестнице стремительно стали спускаться два воина, в одном из которых пулеметчики сразу узнали Орлянкина.

Он держал перед собой кинокамеру, другой рукой хватался то за обломки перил, то за остатки стены, то просто катился кубарем по ступенькам.

Вот они уже на третьем этаже. Гитлеровцы заметили их и снова открыли ураганный огонь. На сей раз они свирепствовали до тех пор, пока поперечные стены дома не превратились в сплошные пробойны.

Трудно было представить себе, чтобы там, где не выдерживали кирпич и железобетон, уцелели люди.

Но вот на минутку прекратился обстрел. В доме раздалось «Ура!» — это пулеметчики приветствовали отважных товарищей, спустившихся на нижний этаж.

— Думаете, я выполнил свою задачу? Черта с два! Надо же этому проклятому киноаппарату испортиться в такой ответственный момент! — с горечью говорил Орлянкин. — Ах, товарищ комиссар! — продолжал он. — Если бы вы знали, какой там кадр: через красный флаг на доме виден весь город. А значит, увидев его на экране, любой человек поймет, что Сталинград в наших руках...

На второй день, едва за Волгой вспыхнуло солнце, Валентин все-таки доснял планораму города, выполнив задание Политуправления РККА...

Наступили холода. Близилась пора ледостава. Переправа! Это слово не сходило с наших уст не только в те памятные сентябрьские ночи, когда наши полки перебрасывались через Волгу.

Противник, заняв командные высоты на правом берегу, просматривал почти весь правый берег Волги, простреливая и значительную часть левого, восточного. День и ночь над Волгой свистели вражеские пули, снаряды и мины.

Но переправа работала. Поскольку значительная часть катеров была выведена из строя, а те, которые уцелели, были заняты главным образом переброской частей, шедших на пополнение армии, мы уже в сентябре создали свою «флотилию». Она состояла из сорока весельных лодок и трех небольших моторок. Была сформирована специальная «команда лодочников». Она-то и вынесла на себе основную тяжесть переправы.

С наступлением темноты левый, восточный берег оживал. Из складов, замаскированных в 5—6 километрах от реки, подвозили грузы. Их распределяли по лодкам, и отважные работники переправы пускались в опасный рейс.

За два месяца с середины сентября «лодочная флотилия» перевезла на правый берег около тысячи тонн боеприпасов и снаряжения. Но далось нам это нелегко. Волжская пучина навсегда погребла десятки отважных лодочников.

...С середины ноября снег стал все чаще и чаще припорошивать землю.

Помнится, накануне ледостава, когда вдоль волжских берегов еще тянулось густое, серого цвета «сало», я приказал командиру саперного батальона майору В. П. Горлову доставить ночью с левого берега баржу, груженную всем необходимым для жизни и боя.

Опытные лодочники-саперы искусно привели свои маленькие шлюпки к левому берегу. Огромная баржа была тщательно замаскирована. Машины с потушенными фарами и подводы беспрерывным потоком тянулись к ней. Сотни солдат из сибирского пополнения занимались погрузкой.

Гитлеровцы изредка швыряли снаряды на левый берег. Один из них угодил в машину с боеприпасами. Взрыв... Считая, что обнаружен советский военный склад, враг усилил огонь.

Но вот погрузка закончилась. Саперы проверили крепления, укладку груза.

— Вперед!.. Полный!..

Бронебуксир дернул, рванул, но баржа — ни с места. Перегруженное судно прочно припаялось к песчаному дну и, казалось, не хотело расставаться с мирным берегом Волги. Солдаты бросились в ледяную воду. Сотни рук припали к барже, толкали ее. Снова раздались слова команды: рывок, другой — и непокорная баржа медленно сползла с мели. Качнувшись, она пошла за буксиром, обходя заторы и большие льдины. Вот катер с разгону забирается на одну из них, а сползти не может. И течение, подхватив весь караван, несет его вниз по Волге. И вновь, схватившись за буксирный трос, солдаты стаскивают катер со льдины.

Медленно тянется время, медленно тянется баржа с грузом. И вдруг взрывы мощных снарядов потрясают ноябрьскую ночь. Снаряды ложатся все ближе и ближе. Вот один из них разорвался рядом с кормой. Взрывная волна смывает за борт сапера Воронько.

Старшина Гринь, первым заметивший падение Воронько, на ходу сбрасывает шинель, чтобы помочь утопающему товарищу. «Стой!» — останавливает его чей-то властный окрик: бросаться в воду бессмыс-

ленно — льдины могут накрыть обоих. Под обстрелом срочно подаются багры. Они впииваются в задубевшую от ледяной воды шинель сапера. В этот момент льдина, накренившись, прижимает Воронько к борту. Но сапера уже тянут вверх.

И едва его босые ноги зашлепали по палубе, раздался вой мины, и сильный взрыв встряхивает корму баржи. Вспыхнул пожар. Загорелись медикаменты. А рядом находились боеприпасы! Момент критический; в любую минуту все могло взлететь на воздух!.. Пламя, подгоняемое ветром, быстро распространялось по палубе, все ближе подкрадываясь к смертоносному грузу.

Все как один вступили в единоборство с огнем. Задыхаясь от едкого дыма, обжигая руки, лица, люди сбивали пламя шинелями, швыряли в Волгу ящики, охваченные огнем. И пожар сдался, отступил...

...Пострадавший «ковчег» с большим трудом добрался до Сталинграда. Бойцы высыпали из «нор» крутого берега Волги. Раздалось мощное солдатское «ура». Стоя по пояс в ледяной воде, бойцы начали разгружать баржу.

Капитан бронекатера сбросил буксир, забрал на борт тяжелораненых и сделал в судовом журнале отметку о том, что 16 ноября 1942 года в 4.00 доставил груженую баржу имени НКВД с боеприпасами, пятисот человек пополнения. И взял курс на левый берег Волги. Так завершился последний рейс через Волгу глубокой осенью 42-го года.

— У многих из нас, пливших в ту ночь на берег, — вспоминают сейчас участники переправы, — виски будто снегом припорошило. А ведь это была только одна ночь из ста сорока, проведенных в жестокой борьбе...

Утром следующего дня гитлеровцы дважды перешли в атаку, но безуспешно. Город не сдавался. Натиск противника начал заметно ослабевать.

Фашисты на весь мир кричали, что взятие твердыни на Волге задерживается из-за того, что, мол, русские имеют в городе сверхмощные укрепления. На самом деле ничего подобного не было. Город был защищен самым прочным оборонительным сооружением, название которому — стойкость советских людей.

Утром 17 ноября великая русская река стала. Сиротливо смотрела на крутой берег Волги одинокая баржа, намертво скованная ледяной броней.

И вот, наконец, пришел день, когда, как шутили в то время на фронте, генерал Стойкость передал командование генералу Вперед. Это было 19 ноября. Именно здесь, в междуречье Волги и Дона, человечество увидело занимавшую зарю победы над фашизмом. Гигантская пружина, которая долгое время постепенно сжималась, накапливая силы, вдруг всей своей мощью обрушилась на врага. По группировке немецко-фашистских войск наносили удары соединения Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Наступая с двух сторон — северо-западнее и юго-западнее города, — советские дивизии прорвали фронт противника. Уже 23 ноября кольцо советских войск прочно сомкнулось вокруг двадцати двух гитлеровских дивизий. Группировка врага была окружена.

Первый период битвы на Волге завершился. Кончились оборонительные бои. Первоочередной стала задача ликвидации окруженной группировки. 20 ноября Военный Совет фронта обратился ко всем войскам: «В результате действий наших войск противник в боях под Сталинградом понес колоссальные поте-



А. РОДИМЦЕВ, ШТУРМОВЫЕ ДНИ И НОЧИ.



Эти снимки в подписях не нуждаются, они говорят сами за себя. Таковы были будни Сталинградской битвы. Светильник из гильзы освещает оперативную карту; принимается очередное решение (крайний справа А. Родимцев). Уличные бои. Переправа. Силуэт истерзанного города. Самовары-самопалы. Безымянный защитник. И только об одном снимке мы скажем подробнее — трое из сотен тысяч, спасших Сталинград. История сохранила их имена. Это автоматчик Димитриев, ветеран Царицынской обороны рабочий Троянов и матрос Леонид Зоня идут на передовые позиции.



Фото
Я. Рюмкина.



А. РОДИМЦЕВ. ШТУРМОВЫЕ ДНИ И НОЧИ.

ри. Бойцы и командиры фронта показали пример доблести, мужества и героизма.

Теперь на нашу долю выпала честь начать мощное наступление на врага... В наступление, товарищи!»

В боях за центр города гвардейцы показали чудеса храбрости и героизма. Здесь продвижение на несколько метров означало успех, а взятие дома — крупную победу. Мы продвигались на метры, помогая своим товарищам, сражавшимся в чистом поле, выигрывать километры.

Одним из первых в конце ноября было взято здание Военторга. Оно стояло на углу Солвечной и Республиканской улиц. Создав здесь крупный узел обороны, гитлеровцы причинили много хлопот бойцам полка Долгова, перед фронтом которого находился Военторг.

— Мало мы критикуем военторговцев, — помню, шутил кто-то. — Ну, скажите на милость, зачем они такой дом здесь отгрохали? И ведь как поставили! Все хозяйство Долгова под контролем держит...

25 ноября пошли на штурм гвардейцы батальона Исакова.

Враг встретил их ураганным огнем. Из каждого окна, из каждой щели били пулеметы, строчили автоматы. Но ничто не могло удержать наши штурмовые группы.

Однако оказалось, что здание разделено на несколько помещений глухими капитальными стенами. Пользуясь этим, гитлеровцы, после того, как их вышибали из одного помещения, переходили в другое, прочно баррикадировали двери — и продолжали сопротивление. Тогда на помощь штурмовым группам пришли наши саперы. Подорвав стены, они разрушили капитальные перегородки. Дом Военторга был взят. В то же время другие подразделения того же батальона захватили соседнее здание — школу.

Но гитлеровцы решили вернуть школу любой ценой. Дважды они прорывались к ней и дважды были отброшены. Под покровом темноты рота немецких автоматчиков и два танка пошли в атаку. В школе оставалось только шесть советских воинов. Еще несколько часов они удерживали дом, пока не погибли все. Врагам удалось ворваться в здание. Но их радость была преждевременной. Гвардейцы отомстили за гибель товарищей. И на этот раз уже окончательно укрепились в школе.

Тщательно готовилась штурм так называемого Г-образного дома и Дома железнодорожников, находившихся перед фронтом полков Панихина и Елина.

Мы дважды пытались выбить немцев отсюда. Неудачно.

Вот тут-то и родилась идея рыть траншею к проволочному заграждению. Траншею длиной не меньше 83—85 метров.

Вычертив в соответствующих масштабах все данные, мы установили, что расстояние от обрыва до дома составляло 113 метров, а точка накопления штурмовой группы, то есть место, которое не просматривалось бы из крайней точки северного крыла дома, оказалось в тридцати метрах от его стены, как раз у проволочного заграждения немцев.

Все это было теоретически. А как практически накопить свои силы под носом у врага и бросить их на штурм?

Решили рыть траншею ночью. Но фашисты обрушили на нас минометный огонь, усилили освещение местности.

— Ройте днем, — приказал майор Панихин.

Это было дерзко и рискованно, но, как оказалось, единственно верно. К нашему удивлению, гитлеров-

цы прекратили минометный обстрел, огонь же из пулеметов был безопасен, так как траншея рылась почти в полный профиль, то есть глубиной около полутора метров.

Одновременно с прокладкой траншей готовились расчеты штурмовой группы. Это была задача со многими неизвестными. Дом шестизэтажный, с коридорами посередине; но в какой степени этажи сохранились, где там засели немцы, сколько их и какую силу нужно противопоставить, чтобы победить?..

Исходя из того, что все шесть этажей разделены коридорами и что в каждой разделенной половине придется вести бой изолированно, было решено создать штурмовую группу из 12 подгрупп от 3 до 5 человек в каждой, вооружив их винтовками и бутылками с горючей смесью.

Всего в штурмовую группу должно было войти 64 бойца. Кроме того, создавался резерв из десяти человек — в основном саперов.

Очень важно было правильно выбрать время штурма. Решили начинать перед рассветом, чтобы под прикрытием темноты ворваться в дом, а бой внутри дома вести уже при свете.

Ровно в 6.40 темноту декабрьского утра разрезали три красных ракеты. Сигнал к атаке! В ту же минуту донеслись приглушенные расстоянием крики «Ур-ра!». Бойцы Седелникова, не теряя строй, один за другим ворвались через окна в дом, забрасывая противника гранатами.

Штурм развивался по намеченному плану. Примерно за 30 минут гвардейцы очистили от врага верхние этажи здания и подавили огневые точки. Ничто не могло нарушить методичности этого боя. Ранен и вышел из строя старший лейтенант Седелников, сразу же командование принимает лейтенант Исаев. Бой продолжается. Гитлеровцы уходят в подвал, который невозможно взять штурмом. Моментально приходит решение: вывести свою группу из дома и взорвать подвал. После взрыва штурмовая группа стремительно, броском возвращается в здание, окончательно закрепив его за собой.

Все бойцы действовали в этом бою как герои. Раненный в руку, рядовой Козлов продолжал вырывать кольца гранат зубами. Боец Султанбай Тишебаев отлично оперировал ручным пулеметом. Мужественно сражались автоматчики Фролов, Ковалев, Ефремов.

Захват Г-образного дома позволил полку Панихина выровнять и сократить передний край почти вдвое, а самый дом превратить в мощный опорный пункт, оснащенный противотанковыми орудиями и станковыми пулеметами.

В полку Панихина был праздник: вся дивизия поздравляла смельчаков с замечательной победой. Я с удовольствием пожал руку инициатору штурма, гвардии майору Василию Калиновичу Коцаренко, и от имени правительства вручил ему первую боевую награду — орден Красной Звезды.

Бой за Г-образный дом получил высокую оценку командования. Оно отметило, что эта «операция вошла в арсенал 62-й армии как одна из самых выдающихся».

К концу декабря кольцо, сковавшее группировку немецко-фашистских войск, продолжало сжиматься. На юго-западе от города была разгромлена ударная группировка Манштейна, пытавшаяся прорвать кольцо окружения. Армия Паулюса была обречена. Ей не хватало оружия, боеприпасов, продовольствия. Помню, допрашивали как-то пленного. Жалкий вид был у этого «покорителя» чужих земель. Худая, сгорбившаяся фигура, оборванное об-

мундирование неопределенного цвета и такого же неопределенного цвета заросшая физиономия. Начальник разведотделения обратил мое внимание на запись в дневнике пленного: «Сегодня была кош-ка...» Я недоуменно пожал плечами.

— Что такое? — спрашиваю через переводчика.

Пленный съежился, отвернулся в сторону.

— Спросите, что значит «кошка», — повторил я во-прос.

Но гитлеровец, опустив голову, ответил не сразу. Наконец, не поднимая глаз, он тихо проговорил:

— В тот день, то есть под Новый год, мы с това-рищем поймали кошку, ободрали ее... зажарили и... съели.

«Так вот до чего вы докатились, «победители» ве-ликой армии фюрера!» — подумал я.

...Бессмысленное сопротивление врага, стонвшее жизни десяткам тысяч его солдат, продолжалось.

Обманутые своими генералами и офицерами, раз-вращенные гитлеровской пропагандой, солдаты окру-женной группировки продолжали держаться, наде-ясь, что их выручат. Впрочем, некоторые из них уже начали понимать, что к чему. Как-то, вернувшись на командный пункт с переднего края, я застал там нашего начальника разведотделения майора Бакая, который допрашивал пленного.

— Взял панихинскими ребятами в районе Нефте-синдиката, — доложил мне Бакай. — Похоже, что сам сдался. Во всяком случае, не сопротивлялся...

Через переводчика я задал немцу несколько во-просов.

— Кто такой?

— Ефрейтор 571-го пехотного полка 371-й дивизии.

Пленный сделал паузу, затем безнадежно махнул рукой:

— Настроение у солдат плохое. Только гитлеров-ские сопляки сами лезут в бой. Пора кончать. Войну мы проиграли. Я это понял и решил сдаться в плен...

Я взглянул на его покрытое грязной щетиной лицо и вспомнил первых пленных, которых мы взяли под Киевом в августе сорок первого года. Тогда они были высокомерны. Несомненно, в сознании немецких сол-дат начали происходить какие-то изменения. И это было не случайно. Теперь они заглянули в ту про-пасть, к которой фашизм неумолимо вел весь немец-кий народ...

На следующий день, 10 января, советские войска начали генеральное наступление на окруженную группировку. К этому времени Сталинградский фронт был преобразован в Южный и развернул наступле-ние на Ростов. 62-я, 64-я и действовавшая южнее го-рода 51-я армия вошли в состав Донского фронта (командующий генерал-полковник К. К. Рокоссо-вский, ныне Маршал Советского Союза), на который Ставка Верховного командования и возложила за-дачу ликвидации Сталинградской группировки немец-ко-фашистских войск. Общее руководство подготов-кой и проведением операции осуществлял предста-витель Ставки генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов.

Наступление развивалось одновременно на не-скольких направлениях. Но главный удар наносился из района юго-западнее Вертячего на завод «Красный Октябрь».

Вот сюда-то, в район «Красного Октября», и была переброшена 13-я гвардейская дивизия. Мы вновь оказались на направлении основного удара. Только теперь этот удар наносил не противник, а советские войска.

Одно за другим переходили подразделения на но-вый боевой участок. К раннему утру 11 января ди-визия сосредоточилась у железнодорожной петли,

примерно в одном километре южнее завода «Крас-ный Октябрь». Отсюда тринадцатая гвардейская начала свою последнюю операцию в битве на Волге.

В 21.00 16 января был получен приказ штаба ар-мии: утром 17 января армия переходит в на-ступление; главный удар — на предместье Горо-дище.

Занялся хмурый рассвет 17 января. Части вышли на исходные рубежи и приготовились к атаке. Ров-но в 10.00 заговорила артиллерия. После артподго-товки штурмовые группы ринулись на врага.

И вновь начались кровопролитные схватки за каж-дый блиндаж, дом, улицу.

В то время противник еще располагал крупными силами для сопротивления — к 10 января у Паулюса было около 250 тысяч солдат и офицеров. Немецкие войска занимали хорошо укрепленные рубежи.

...Вся страна знает о героизме сталинградских вои-нов в дни обороны. Гораздо меньше известно о повседневных изнурительных боях в городе во вре-мя ликвидации вражеской группировки. Во время этих боев сотни и тысячи бойцов и командиров про-явили себя как герои.

С каждым днем положение гитлеровцев станови-лось все хуже. Чтобы оказать помощь своим вой-скам, немецкое командование пыталось организовать так называемый «воздушный мост» и перебрасывать по нему боеприпасы, продовольствие и снаряжение.

Но ничто уже не могло спасти окруженных. С за-пада наши войска вплотную подошли к городским окраинам. В городе гитлеровцев теснили соединения 62-й и 64-й армий. Дом за домом, улицу за улицей отбивали мы у противника.

Ранним утром 26 января меня срочно вызвали к полковому телефону. Накануне я до глубокой но-чи находился в частях и теперь намеревался по-спать часов до восьми. Однако на войне нельзя за-ранее рассчитывать на отдых.

Я взял трубку и сначала без всякого удовольствия услышал голос командира полка Панихина, с кото-рым мы расстались лишь несколько часов назад. Его сообщение сразу же разогнало сон.

— С запада слышна артиллерийская стрельба, — доложил Дмитрий Иванович, — снаряды рвутся в ты-лу у немцев.

— Это наши наступают. Немедленно начинайте на-ступление им навстречу. Скоро буду у вас.

Панихин бросил свои батальоны в атаку. В тече-ние короткого времени гвардейцы захватили 14 ДЗОТов.

Около 9 часов утра подразделения Панихина, драв-шиеся северо-западнее Мамаева кургана, увидели в утренней мгле знакомые корпуса «тридцатьчетве-рок», шедших с запада. Следом за ними появилась пехота.

— Наши идут! — Эта весть мгновенно облетела всех.

С каждой минутой все ближе родные и до боли знакомые фигуры в армейских полушубках и белых масках.

— Кто вы? — послышалось одновременно с обеих сторон.

— Мы гвардейцы Родимцева.

— А мы гвардейцы Краснознаменной Товарткелад-зе.

Последние метры навстречу друг другу. И сразу же началось что-то невообразимое. Незнакомые лю-

ди обнимались, как родные братья. Под многоголосое «Ура!» в небо полетели сотни шапок. У многих на глазах слезы. В этой радостной толчее майор Коринь, расположившись прямо на снегу, написал на знамени химическим карандашом: «От 13-й гвардейской ордена Ленина дивизии в знак встречи 26.I. 1943 г. В 9.20 знамя приняли командиры батальонов гвардии старшие лейтенанты Стотланд и Усенко».

Итак, войска Донского фронта, идущие с запада на прорыв, и сражающиеся в городе части соединились! Вот они сошлись на заснеженном поле у траншей и окопов, где еще утром сидели враги.

Какой-то расторопный парень уже успел сбегать к реке и, размахивая флягой, весело покрикивал:

— Кто волгарь, — подходи, хлебни волжской водички.

И саратовцы, куйбышевцы, горьковчане, казанцы, сталинградцы подходили к веселому бойцу, брали из его рук флягу и прикладывались к ней обветренными губами.

Теперь окончательная ликвидация сталинградской группировки врага стала вопросом нескольких дней.

Нашей дивизии вместе с пришедшими частями Донского фронта было поручено перейти в последнее наступление на гитлеровцев, отрезанных в северной части города.

С каждым днем фронт отодвигался все дальше и дальше от окруженной Сталинградской группировки. С каждым удаляющимся выстрелом еще больше падала надежда гитлеровцев на помощь извне. Немецкие солдаты и даже офицеры, поняв, что вооруженное сопротивление уже невыносимо, пользовались каждым возможным случаем, чтобы сдать-ся.

30 января немцы «отпраздновали» свой мрачный юбилей — 10-летие фашистского режима в Германии, а 31 января южная группировка противника, действовавшая в центре города, прекратила сопротивление. Фельдмаршал фон Паулюс и его штаб сдались в плен.

Северная группировка, насчитывавшая около 35 тысяч гитлеровцев, еще агонизировала. На предложение капитулировать немцы ответили отказом. Впрочем, этот отказ имел уже чисто формальный характер. После мощного удара нашей артиллерии и авиации гитлеровские генералы запросили пощады. 2 февраля началась массовая сдача в плен войск северной группировки противника.

За Волгу потянулись нескончаемые колонны пленных. Жалкий вид имели «завоеватели», прошедшие с огнем и мечом всю Европу.

И, глядя на них, я невольно вспомнил один любопытный и характерный для данного момента приказ командира 134-й германской пехотной дивизии:

«1. Склады у нас захватили русские; их, следовательно, нет.

2. Имеется много превосходно обмундированных обозников. Необходимо снять с них штаны и обменять на плохие в боевых частях.

3. Наряду с абсолютно оборванными пехотинцами отрядное зрелище представляют солдаты в залатанных штанах.

Можно, например, отрезать низ штанов, подшить их русской материей, а полученным куском латать заднюю часть.

4. Я не возражаю против ношения русских штанов».

Не от хорошей, видимо, жизни на русской земле

немецкий командир издал этот приказ. Не до стратегии бедному генералу, если даже заплатят на задней части уже казались ему отпадными...

2 февраля 1943 года прозвучал последний залп великого сражения. Вся наша страна, весь мир с восхищением приветствовали защитников волжской твердыни.

Вечером 2 февраля мы отправили в штаб 62-й армии последнее боевое донесение: «В результате наступательных боев частей дивизии в своих полосах действия сопротивление противника сломлено... Уничтожено до четырехсот солдат и офицеров, более двух тысяч взято в плен... После наступательных боев части дивизии приводят себя в порядок, отдыхают и ведут подготовку к предстоящему параду».

Это было на сто сорок первый день после той незабываемой сентябрьской ночи, когда части дивизии начали высадку на пылающем волжском берегу.

Четвертое февраля. Огромная масса народа заполнила площадь Павших Борцов. В толпе преимущественно армейские шинели и полушубки. Но немало людей и в гражданской одежде. Некоторые рассматривают подбитый немецкий бомбардировщик, который лежит посредине площади. Многие, разговаривая, показывают в сторону полуразрушенного здания универмага. Из его подвала несколько дней назад советские автоматчики вывели сдавшегося в плен Паулюса.

Строем проходят наши солдаты. Так непривычно видеть на фронте людей в строю! Идут на митинг.

У всех настроение радостное, приподнятое. За отсутствием оркестра строй идет под музыку трофейного аккордеона. Возле регулировщика из строя слышится веселый голос:

— А где тут, браток, дорога на Берлин?

Регулировщик тоже улыбается. «Прямо», — говорит он. Снег сверкает солнечными блестками, и гулко раздается в морозном воздухе твердый, победоносный солдатский шаг.

К 12 часам дня перед трибуной, устроенной из поставленных в ряд грузовых машин, собралось несколько тысяч человек. Впервые за многие месяцы на площади истерзанного, но гордого города было как-то по-особому празднично. Люди поздравляли друг друга с победой, обнимались, повсюду слышался оживленный говор, смех, веселая солдатская шутка.

Митинг на площади Павших Борцов, среди еще не остывших развалин, навсегда останется в памяти его участников. Здесь защитники волжской твердыни подвели итог многодневной борьбы. А итог этот — грандиозная и невиданная в истории победа. Железная воля коммунистов, массовый героизм сотен тысяч солдат, сержантов и офицеров Советской Армии — все это в итоге обеспечило нашу долгожданную победу. Такие итоги мы подводили с радостью. То была радость истосковавшихся по счастью людей.

Весной, когда вскрыется Волга и лед уйдет в Каспий, по вольной русской реке свободно пойдут плоты, нефтебаржи, побегут пароходы, и пассажиры с палубы прочтут на правом берегу навеки хранимые слова, написанные на высокой каменной стене причала:

«Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева».

Это было написано в первые дни боев за город. Когда окруженная группировка неприятеля была ликвидирована, к этой фразе добавилась новая:

«Выстояв, победили смерть».



Виктор Урин



Легенда о шлеме

Отражала Москва генеральский поход,
И штыками сверкал восемнадцатый год.
И рабоче-крестьянские наши войска,
Как могла, второпях одевала Москва.
Вот однажды на вызов приходит портной.
Комиссар говорит: «Нужен шлем боевой».
Спать ложился портной, просыпался портной,
Рисовался в глазах богатырский покррой.
И от сечи на Калке, от побоищ донских
Всё дружинники шли да в шеломах седых.

И легендою ратной сквозь трепетный дым
Островекий узор возникал перед ним.
Может быть, это ели российской земли
Или это дозоры на горку взошли!
Образ вечного штурма, воинственный ритм —
Вот о чем революции шлем говорит.
Размечтался портной, улыбнулся светло.
Все готово! Лишь звездочку на сукно.
Пусть же носит рабоче-крестьянская рать!
Собрались комиссары и стали гадать.
Стали спорить-гадать, примерять у зеркал,
И один все хвалил, а другой отвергал.
Ну, а старший решил: «Спорить я не хочу.
Хорошо бы, друзья, показать Ильичу».
Приезжает портной с комиссарами в Кремль.
Башня Спасская издали — тоже как шлем.
Волновался портной: «Значит, вот... образец...»
И примерил Ильич и сказал: «Молодец!
Этот шлем комиссару пойдет и бойцу.
Этот шлем революции нашей к лицу».
Шлем гражданской войны! Твой особый покррой!
В легендарные дни утвержден был Москвой.
И в буденовках тех колыхались года
И, как спелая вишня, алела звезда.
Конармейской лавиной неслась молодежь,
Проливался над шлемами сабельный дождь.
На Дону до сих пор — словно кто обронил —
Степь возвышена шлемами братских могил.
Может, кто-нибудь знает иной пересказ
И расскажет не так, как в легенде у нас...
О бессмертные шлемы народной молвы!
Вижу их в очертаниях новой Москвы.
В плавной линии шлема намечен был взлет,
Словно в миниатюре ракетный полет.

Немедленная готовность

Бухта масляной чернью
Окутала якоря...
Загадочно свечение
Синего фонаря.
Над командирской каютой,
Выверенно крепки,
Четкие раздаются
Вахтенного шаги.
Не выступают наружу
Из полуночной мглы
Автоматических пушек
Задернутые стволы.
Но вечером, сна не зная,
И ночью, не зная сна,
Заранее носовая
Пушка обнажена.
И, напряженьем полнясь,
С тобою слилась, земля,
Немедленная готовность
Дежурного корабля.



С полетами сейчас повременили,
А нас расположили на лугу.
И шлемами пилоток не сменили
Десантники, готовые к прыжку.
Тьма пристально, доверчиво и плотно
Охватывает дальние кусты.
Таинственно овеяло пилотку

Борис Дубровин



Полночное мерцание звезды.
Да, обновленной вечностью мерцающая,
Мне видится нечаянно иной
Моя пятиконечная, простая,
Врученная в каптерке старшиной.
Над самым лугом, над кустами слева,
Свои лучи пославшая сюда,
Неугасимо на пилотке неба
Алеет далекая звезда.
И парашют я трогаю, приемля
Свой путь... И мне вдруг кажется: нас ждут.
Мы дети звезд, шагнувшие на Землю,
Случайно задержавшиеся тут.

Юлия Друнина



Когда проходят с песней батальоны,
Ревнивым взглядом провожаю строй —
И я шагала так во время оно
Военной медицинскою сестрой.

Эх, юность, юность! Сколько отмахала
Ты с санитарной сумкой на боку!..
Ей-богу, повидала я немало
Не на таком уж маленьком веку.

Но ничего прекрасней нет, поверьте
(А было всяко в жизни у меня!),
Чем заслонить товарища от смерти
И вынести его из-под огня...



Я опять о своем, невеселом —
Едем с ярмарки, черт поберет!
Привыкают ходить с валидолом
Фронтовые подружки мои.

А ведь это же, честное слово,
Тяжелей, чем таскать автомат!..
Мы не носим шинелей пудовых,
Мы не носим военных наград.

Но повсюду клубится за нами,
Поколеньям другим не видна —
Как мираж, как проклятье, как знамя,—
Мировая вторая война...



Над Россией шумели крыла похоронок,
Как теперь воробьиные крылья шумят.
Нас в дивизии было шестнадцать девчонок,
Только четверо нас возвратились назад.
Через тысячу лет, через тысячу бед
Собрались ветераны на званный обед.
Собрались мы у Галки, в отдельной
квартире.

Галка-снайпер все та же: веснушки, вихры.
Мы, понятно, сварили картошку в мундире,
А Таисия где-то стрельнула махры.
Тася-Тасенька, младший сержант, повариха.
Раздобрела чуток, но все так же легка.

Как плясала ты лихо!

Как рыдала ты тихо,
Обнимая убитого паренька...
Здравствуй, Любка-радищ!
Все рвалась ты из штаба,
все терзала начальство:

— Хочу в батальон!
Помнишь батю!

Тебя пропесочивал он:
— Что мне делать с отчаянной этою бабой!
Ей — подумайте! — полк уже кажется
тылом!
Ничего! Погарцуешь и здесь, стригунок! —
...Как теперь ты, Любаша!

Небось, поостыла
На бесчетных ухабах житейских дорог!
...А меня в батальоне всегда величали
Лишь «помощником смерти»,
как всех медсестер...

Как живу я теперь!

Как корабль на причале —
Не хватает тайфунов, и снится простор...
Нас в дивизии было шестнадцать девчонок,
Только четверо нас возвратились назад.
Над Россией шумели крыла похоронок,
Как теперь воробьиные крылья шумят.
Если мы уцелели — не наша вина:
У тебя не просили пощады, война!..



Я люблю тебя злого,
в азарте работы,
В дни, когда ты от грешного мира далек,
В дни, когда в наступленье
бросаешь ты роты,

Батальоны,
полки
и дивизии строк.
Я люблю тебя доброго,
в праздничный вечер,
Заводилой,
душою стола,
тамадой.

Так ты весел и щедр,
так по-детски беспечен,
Будто впрямь никогда не брался с бедой.
Я люблю тебя вписанным в контур трибуны,
Словно в мостик
попавшего в шторм
корабля,

Поседевшим,
уверенным,
яростным,
юным —

Боевым капитаном
эскадры «Земля».

Ты — землянин.
Все сказано этим.
Не чудом —

Кровью,
нервами мы побеждаем в борьбе.

Ты — земной человек,
и, конечно, не чужды

Никакие земные печали тебе.
И тебя не минуют плохие минуты,
Ты бываешь растерян,

подавлен и тих.

Я люблю тебя всякого,
но почему-то

Тот,
последний,
мне чем-то дороже других.



Николай Кукушкин

ВСЕГО ХОРОШЕГО

Рисунки Р. Вольского.

РАССКАЗ



Эо рассказ о том, как я не попал в институт, а попав в армию и как я стоял на посту, о Димке и лейтенанте Мирошниченко, о буханке хлеба и старом дзоте, о том, как мы с Ниной шли по Тверскому бульвару, а навстречу летел тополиный пух...

1

Драться я никогда не любил, потому что, если драться по-настоящему, нужно бить по лицу. Кроме того, я отходчивый. Шли мы однажды вечером по площади Маяковского: моя сестра, Нина и я. Сзади нас плелся какой-то тип в красивых очках. Я еще подумал: он, наверно, потому и носит очки, что они красивые и здорово подходят к его физиономии! Знаю я таких типов.

Он шел молча, сосредоточился и сказал пошлость. Девочки сделали вид, что не слышали. Я остановился и резко повернулся к нему лицом. Он тоже остановился. Я сказал: «Сними очки». Он, конечно, не ожидал, что никаких предисловий: «Дай закурить» или «Отойдем» — не будет, и медленно снял очки. Пока он прятал их в карман, я понял, что уже отошел. И я сказал: «Извинись перед девушками». Он извинился. Конечно, не громко и четко, но извинился. Мы пошли дальше, а он отстал.

Может быть, кто-нибудь скажет, что я просто трус. Я улыбнусь. Если бы я был трусом, я не попал бы в армию. Я не играл бы сейчас в «караулке» в шашки, а может, шел по Тверскому бульвару, а навстречу летел тополиный пух. Или сидел в общепитии у ребят, слушал бы пленку с песенками Высоцкого из Театра на Таганке. Например, песенку сентиментального боксера. Но я сижу в «караулке». Сыграю еще партию в шашки и поеду на свой пост номер семь, «ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ».

А в армию я попал так. Во время последнего экзамена меня выгнали из аудитории. Мне было обидно, и я просидел на Тверском бульваре до самого вечера. Накурился так, что стало тошнить.

Последний экзамен был по английскому языку. Мне попался билет про герундий. Это такая форма глагола с окончанием — ING. Но тогда, на экзамене, ну никак я не мог вспомнить, что же это та-

кое. Если бы дали пример герундия, я бы, конечно, вспомнил. Но кто же даст пример на экзамене?

Напротив меня, через стол, сидел один парень. Я написал на промокашке «герундий» и поставил знак вопроса. Промокашку подвинул к нему. Ассистент отвернулся, парень быстро взял промокашку. Прочел, написал, протянул обратно. На промокашке было написано: ЧЧВ. Я сижу и думаю: что же это такое? Мы же сдаем английский, а тут радиус, помноженный на радиус, да еще какое-то В. Я написал: «Не понял». Когда он вернул мне промокашку, я прочел: «Человек человеку волк».

Я встал и ударил. Меня оттащил ассистент. «Поконьте аудиторию!» В институт я больше не приходил. Документы мне прислали по почте, когда я уже ехал в этот «маленький северный гарнизон».

2

Нас было много, ехали мы быстро и долго. В нашем вагоне ехали почти все москвичи. Лейтенант Мирошниченко на остановке сказал, что у нас больше всего шума, и сделал нам замечание.

Ребята познакомились друг с другом и разделились по районам Москвы. Из Фрунзенского района был только я. Я перебрался в угол на нижние нары и отвернулся к стене. Конечно, мне было грустно. Да еще мысли всякие. Через три года я все забуду. Учебники устареют, Нина будет на третьем курсе. Мне было жаль сестренку и маму: они не нашли меня на вокзале. Я видел, как они искали меня глазами, и крикнул. Но кто кого слышал тогда на Ярославском вокзале!

Хорошо, что мы ехали долго. Лежать одному в углу надоело. Я вылез и попался на глаза лейтенанту Мирошниченко.

- Вы сколько классов окончили?
- Одиннадцать.
- В институт не поступили?
- Провалился на английском.

До офицерского училища лейтенант Мирошниченко окончил Ленинградское суворовское училище. У него был диплом военного переводчика. Он сказал, что если меня направят в его взвод, то уж ге-

рундий мы с ним осилим. Разговор закончился тем, что он предложил мне выпустить боевой листок. Достал из полевой сумки большой бланк. Вверху был нарисован танк. За танком сбоку бежал солдат в желто-зеленом маскировочном костюме.

Я разделил бланк на три колонки. Передовой столбец написал сам лейтенант. Он написал, что мы еще, в общем, не солдаты, мы не приняли присягу. Но мы уже не те, что раньше, что мы призваны на военную службу, что нужно слушаться командира и во время движения соблюдать настоящую воинскую дисциплину, что ехать осталось немного.

Второй столбец написал я. У меня была голубая шариковая ручка. Я нажал на кончик, выскочило перо — ручка готова. В голове у меня был вакуум. То есть наоборот. В голове моей было все перепутано, даже крутился отрывок какой-то песенки. И у ребят, наверное, то же самое творится. Просто никто не показывает. Играет в темном углу в карты, поет под гитару, рассказывает анекдоты, а сам думает о матери, о сестренке, о своей девушке, о несданных экзаменах и других делах, которые пришлось срочно прервать, а сейчас ехать и петь под гитару. А тут еще перестук колес да грохот встречного поезда. А сквозь рейки окна, в которое мы смотрим по очереди, — лес, поляна, мосток, корова, цветы, шлагбаум... Я еще в первом классе узнал: моя Родина больше всех. А почувствовал это только сейчас, когда ехал служить в армию. «Во поле березонька стояла...» Я еще не солдат, присягу не принял. Нет, товарищ командир. Я всегда солдат, потому что Родина принадлежит тем, кто ее защищает, в снегу она или в цветах...

Я не уложился в один столбец, пришлось занять половину третьего. А на другой половине парень из Тимирязевского района нарисовал карикатуры, кто как ест из котелка. Получилось смешно.

Боевой листок был готов. Лейтенант Мирошниченко прочел его, похвалил (он сказал, что я как поэт). Листок отправился путешествовать по эшелону. Из вагона в вагон. Больше я его и не видел.

3

...Н у вот, в шашки я проиграл. Всегда проигрываешь, когда думаешь о другом. Из комнаты начальника караула сейчас выйдет лейтенант Мирошниченко. Скажет: «Смена, выходи строиться!»

Вышел лейтенант Мирошниченко. «Смена, выходи строиться!» Мы собрали шашки, взяли из пирамиды по автомату и вышли на улицу. На улице было темно. Около грибка маячил часовой. За штакетником стояла машина с деревянным кузовом.

Когда мы построились, лейтенант Мирошниченко проверил, нет ли у нас спичек и курева, потому что на посту курить запрещается. Мы вставили в автоматы магазины, сели в кузов. Машина выехала из-за штакетника, миновала тихий военный городок, кинулась в поле по светлomu от луны шоссе.

Каждый раз, когда я еду на пост, я делаю как-то строгим. Мне кажется, что я был в глубоком тылу, а сейчас приближаюсь к первой линии наших окопов. Машина съедет в кусты, мы выпрыгнем из кузова и поползем, цепляясь подбородками за сухую траву. Нащупав окоп, мы нырнем в него головой вниз, на дно, и, пряча в рукаве шинели окурки, затаившись разик-другой. Лейтенант Мирошниченко громко крикнет: «В атаку вперед!» И мы побежим.

Машина остановилась. Мы ловко спрыгнули. В ар-

мии я научился красиво прыгивать из кузова. Когда я выпрыгиваю, мне кажется, что на меня смотрит Нина. Это та девушка, с которой мы шли по площади Маяковского.

Через пять минут я стоял на вышке. Один. Получалось так: вот светлое поле, вот темное небо, вот вышка, вот мой автомат. И все. Ну, конечно, кроме длинного, наполовину в земле сарая. Это мой пост. Пост номер семь. «ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ».

4

...3 а ночь наш батальон сделал бросок на левый фланг «противника». Кухня догнала нас только к шести часам утра. Подъем сыгнали в семь. Я был уже на ногах и полностью одет, потому что моя очередь топить «буржуйку» оказалась последней, за час до подъема.

Услышав трубу, я вышел из палатки и зажмурился. Кругом сверкал снег. Я достал черные очки. Перед учениями каждому из нас лейтенант Мирошниченко выдал очки. Кухня стояла в десяти шагах от нашей палатки. Повар Василий Федорович, старшина-сверхсрочник, стоял на подставке. Валенки его были в снегу. Он был, как дед-мороз, в своем белом маскировочном халате и белых от снега валенках. Дед-мороз нагнулся над волшебным мешком с подарками. Хорошо, что это не дед-мороз, а Василий Федорович. Хорошо, что он нагнулся не над мешком с подарками, а над большим котлом с кашей. Может, даже с гречневой!

Хлеб резал тот парнишка, с которым мы играли в шашки, рядовой Новожилов. У Димки в правой руке был зажат кухонный нож. Левоу рукой он ставил буханку «на попа», одним ударом рассекал ее вдоль, потом обе половины еще поперек. Буханка на четверых.

Мне не досталось хлеба. Не только мне. Вообще не хватило одной буханки, и четыре человека: я, Димка и еще двое — остались без хлеба.

Подойти утром к кухне и остаться без хлеба...

— Товарищ лейтенант, нам хлеба не хватило!

Лейтенант Мирошниченко сам пошел доставать буханку. Он вернулся с пустыми руками. В продуктовой машине не осталось ничего. Димка и те двое тоже надели очки. Меня подозвал Мирошниченко: в трех километрах по дороге — батальонная машина с продуктами. На лыжах это минут двадцать. Лыжи готовы?

Взял я свой вещмешок, надел лыжи, и вскоре у меня в мешке лежали три буханки, и я ехал обратно. Но тут-то все и началось.

За моей спиной вспыхнула ракета. Я не сразу понял, что это ракета, а когда обернулся, она догорела на моих глазах, я не успел даже заметить, какого она цвета. Я пошел дальше. А это, оказалось, был сигнал к наступлению. И вот что получилось. У меня был хлеб, целых три буханки, но не было ни нашей кухни, ни транспортеров, ни Мирошниченко.

Мимо меня, раскидывая снег, шли танки. Их обгоняли тягачи с прицепленными зенитками, минометами, гаубицами. Скрипели рессоры грузовики. Пролетали кибитками маленькие «газики». И прямо по целине, зарываясь по нос в снег, засыпая меня снежным туманом, неслись легкие тягачи с солдатами.

Я стоял один на обочине, а мимо несло железно.

Однажды я оказался в узком промежутке между железнодорожными линиями. Справа налево и слева направо неслись два товарняка. Тогда было не так страшно. Я знал, что они скоро проедут.



Железо несло и несло. Мне показалось, что началась война. Все на полном серьезе. Воюет техника. Не зная упрека и страха, в бой кинулась сталь. Хочешь уцелеть — заройся в снег, в мерзлую землю, в пласт первого века. Или взлети вверх, куда не дотянется атомный гриб. Или спрячься в свой вещмешок.

Я растерянно озирался, но когда сообразил, чем это может кончиться, принял решение. Кончиться это могло тем, что свою роту я найду только после учений, в казарме.

Выбрав момент, я бросился наперерез тягачу с прицепленным минометом, и, когда тягач и миномет проехали, я, чуть не обломав концы лыж, ухватился руками за круглую минометную плиту. Ветер свистнул в ушах, рот открылся от струи встречного воздуха, лыжи подпрыгивали, если попадались крупные комья снега, — было жутко и здорово.

Мелькали стволы сосен, летел в лицо черный снег, но я уже ничего не мог сделать, отцепиться даже не мог, потому что скорость была страшная. Пусть будет что будет.

Вдруг тягач сделал крутой поворот, плита сделала поворот еще круче. Не удержав ее в руках, я отлетел в сторону.

Я сначала спросил самого себя: где что болит? Ничего нигде не болело. Я встал на ноги. Отряхнул лицо, достал снег из ушей, протер глаза. Передо мной стоял высокий парень.

— Ты кто? — спросил парень.

— Из первого батальона.

— А по шее хочешь?

Короче говоря, он заметил и догадался, что я уцепился за плиту, и нарочно сделал крутой поворот. Я залез в тягач, ребята потеснились, дали мне место. Я знал позывной своей роты, и радист связался с Мирошниченко. Мирошниченко спросил: «Ты цел?»

Через часа два я был в своей роте, в своем взводе, в своем отделении. Тем двоим, которые остались без хлеба, я дал по буханке, а с Димкой мы разделили буханку пополам. В термосе для меня оставили кофе.

Как только вернулся в роту, я пошел доложить Мирошниченко, что прибыл. Так положено по уста-

ву. Мирошниченко сидел в старой землянке. Там было темно, но тепло. Мирошниченко представил меня одному старшему лейтенанту. Я-то сразу и не разглядел его. Старший лейтенант был тоже в спецпошиве. На груди у него и сбоку висели два фотоаппарата. Это был корреспондент газеты части.

— Я давно хотел познакомиться с вами, — сказал старший лейтенант. — Нам понравилось, как вы пишете. Ваша корреспонденция из эшелона была признана лучшим материалом номера... Вот вам блокнот и карандаш. (Я сказал, что у меня есть шариковая ручка.)

— Тем лучше, — улыбнулся он. — Попробуйте написать что-нибудь об учениях. (Я сказал, что мог бы написать о том, как я ездил за хлебом.) Он опять улыбнулся: — На-

пишите. Пишите прямо сейчас. — Он сунул руку в карман, вытащил китайский фонарик. Проверил, горит ли. (Я подумал: как на фронте.) — Берите, — сказал старший лейтенант. — Я зайду в штаб батальона. Полчаса вам хватит?

Я пожал плечами.

Старший лейтенант ушел. Мирошниченко спал, не сняв наушников. Я раскрыл блокнот, достал шариковую ручку. Нажал на кончик — выскочило перо.

...Я стоял на обочине. Мимо несло железо. Летел в лицо черный снег. Я достал снег из ушей. («По шее хочешь?») На душе стало легко, я рассмеялся. Водитель свирепого тягача — мой сверстник, может быть, даже москвич и живет у Никитских ворот, а может — в какой-нибудь Вологде. Он поступил, как обыкновенный шустрый кирюха. Крутой поворотик — и я отлетел. А я стоял на обочине и боялся: раздавят и не заметят.

Я перекурил и стал ждать старшего лейтенанта. Он пришел, забрал четыре странички, сказал: «Я сейчас тороплюсь, прочту в машине, заходи в редакцию».

5

Вышка, автомат, тишина...
Прошел час. Мелко-мелко дрожат звезды. Небо чистое, без облаков, и луна крупная, желтая, неподвижная.

Если стоять не шелохнувшись, кажется, что тебя нет. Звезды, луна, капитанский мостик. На море штиль. Все спят. Мама помыла посуду, погрела ноги и спит. Сестренка расчесала волосы, завела будильник на восемь утра, спит. Нина посмотрела «Голубой огонек», прослушала погоду на завтра (в плаще идти в институт или в одном платье), спит. Парень в красивых очках, который извинился перед девушками — не громко и четко, но все равно извинился, — спит. На площади Маяковского пусто, лишь пробежит мышью такси. Все спят, потому что ночью нужно спать, чтобы завтра идти работать, или учиться, или просто так, например, в бассейн возле метро Кропоткинская. А сейчас спят.

Я вот не знаю, поймете ли вы меня. Получается так: все спят, я стою на вышке, у меня в руках автомат. Понимаете?

Легкий гусеничный тягач вынырнул из оврага, отфыркиваясь от снега и на дороге остановился. За ним—другой и еще. Всего десять. Тягачи выткнулись по дороге, заглушили моторы. Для нас, солдат,—перекур. А вообще мы поджидали другие тягачи, получился небольшой разрыв.

На вечернем сером снегу чернели стволы деревьев. Между стволами висела и валялась старая колючая проволока. Мы вылезли из тягачей размяться. Но никто не кричал и не бегал. Странной была тишина. Серый снег, черные стволы, ржавая проволока. Что это?

Мирошниченко негромко сказал:

— В сорок втором здесь шли бои.

Вот в чем дело! Ребята посерьезнели. Здесь стучали пулеметные очереди. Может быть, здесь погиб мой отец. Он пропал без вести.

Димка крикнул:

— Дзот!

Мы посмотрели, куда он показывал. Снежный небольшой холм, пониже — черная узкая щель. Мирошниченко пошел первым, потом Димка, за ним я, за мной остальные. Мы рукавицами обвалили снег. Показались толстые бревна. Расчистили щель. Мирошниченко сказал:

— Где-то должна быть дверь.

Двое ребят из нашего взвода сбежали к тягачу за лопатами. Мы откинули снег от дзота и нашли дверь. Дверь была низкая и сколочена из мелких бревен. Мирошниченко сильно дернул, дверь отвалилась. Он, Димка и я зашли внутрь. Я зажег спичку. Черный настил был слегка запорошен снегом. Сквозь щель проходил серый свет. Мы втроем прильнули к щели. Из дзота был виден овраг, из которого мы выехали на дорогу, придавленные снегом кусты, за кустами вставал лес.

...От леса отделилась цепь фигур в серых, мышиного цвета шинелях. Пригибаясь к кустам, делая короткие перебежки, они приближались. Они приблизились на расстояние прицельного выстрела и повалились гнить в снег, срезанные пулеметной очередью...

...Димка прошептал:

— Смотрите — «буржуйка»!

В углу валялась помятая печка. Дверца была оторвана. Димка поднял «буржуйку», прислонил в угол.

...Димка сидел в майке, подшивал к гимнастерке подворотничок. Лейтенант Мирошниченко на ровном спленном чурбаке писал письмо. Я сидел на корточках перед печкой, и пламя отражалось красными пятнами на моих голенищах. «Бьется в тесной печурке огонь...»

В дзоте стало тесно. Мирошниченко, Димка и я вылезли. Перед дзотом стояли ребята из второго и третьего взводов.

Вот где принимать присягу! «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным.

...Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины—Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

Если же я нарушу эту мою торжественную при-

сягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение...».

Комбат сказал:

— По машинам!

Лейтенант Мирошниченко громко скомандовал:

— По машинам!

Взметнув белую пыль, колонна двинулась дальше!

7

— Пост номер семь — сдал!

— Пост номер семь — принял! Под охраной состоит: овощехранилище, замок, печатный вышка.

Мирошниченко сказал: «В машину!» Это он мне. Потому что прошло два часа, меня сменили. Потом в машину залезет Димка, у него пост номер восемь. Мы поедем в «караулку», накуримся и завалимся спать.

Подождал Димка:

— Привет!

Я тоже сказал:

— Привет!

Удивительно: мы расстались с ним два часа назад, а обрадовались друг другу, как будто не виделись лет пять.

Мирошниченко сел в кабину, водитель завел мотор. Машина пронеслась через поле по голубоватому от луны шоссе, по тихому военному городку, у штакетника остановилась.

Мы выпрыгнули из кузова.

Возле грибка маячил часовой. Мы разрядили автоматы, зашли в «караулку». Автоматы поставили в пирамиду, магазины убрали в подсумки. Димка зашел в комнату начальника караула, к Мирошниченко, вынес сигареты свои и мои. Мы закурили.

До армии я курил болгарские сигареты. Сейчас курю «Приму». Они крепче.

В редакции газеты (я зашел туда после учений) на подоконнике сушился целый блок «Примы». Потом я узнал, что все: и редактор подполковник Филиппов, и тот старший лейтенант, с которым я познакомился на учениях, и еще один капитан-фотокорреспондент — все курили «Приму». Они покупали блок, просушивали на подоконнике, потому что хуже всего — это влажные сигареты, и брали по пачке.

Вторую заметку мою тоже напечатали. Ту газету я увидел еще на учениях. Газета нашей части — это небольшой листок. Подписываться на нее не нужно. Почтальон приносит в роту целую пачку газет — на каждого. Потому что каждый солдат должен знать, что делается в части, в которой он служит.

Подполковник Филиппов сказал:

— Ваши корреспонденции читаются с интересом. У вас нет еще опыта, вы сбивчивы и неровны. Но это пройдет. Хотите стать журналистом?

Я пожал плечами. Я не знал, кем я хочу быть. А в институт поступал, потому что он был через две остановки от нашего дома и там был красивый сквер. Между лекциями студенты сидели на скамейках, курили, ходили по аллеям. Осенью в этом сквере тоже красиво. Экзамены не трудные.

Хочу ли я быть газетчиком? Не знаю. А пока я принес другую заметку. То есть еще одну корреспонденцию. О том, как наш тягач вынырнул из оврага и на дороге остановился. Серый снег, черные стволы, проволока. Старый дзот.

Подполковник Филиппов прочел. Когда он читал, брови его сошлись у переносицы и потухла сигарета. Потому что он ни разу не затыкался.



— Посиди...

Он ушел в другую комнату, где сидели старший лейтенант и капитан-фотокорреспондент. Потом крикнул:

— Иди сюда!

Моя корреспонденция пошла в номер. На другой день я прочел ее в газете.

8

О том, что лейтенанта Мирошниченко повысили в звании, из солдат сначала никто не знал. Вечером он ушел лейтенантом, а утром пришел старшим лейтенантом. Мы все его поздравили. Мы по настоящему были рады, потому что крепко сдружались с ним за два года.

А потом меня поздравил сам старший лейтенант Мирошниченко. Он вызвал меня в канцелярию и сказал, что в штаб батальона пришел приказ командира части. Меня по рекомендации газеты направляют на сборы военных корреспондентов.

— Придется вам ехать в Москву. — Так и сказал. Я опустил голову и грустно ответил:

— Да, придется — приказ, ничего не поделаешь. Мы оба рассмеялись, и он пожелал мне быстрой дороги.

В Москве нас собралось много. Разместились мы в какой-то московской части. Есть же счастливики — в Москве служат!

В Москву мы приехали ночью, и я не решился звонить сразу домой — побоялся. Утром нас построили и повезли на автобусах в Дом офицеров.

Сначала там выступали солдаты и работники из

Политического управления, а потом один старый военный газетчик рассказал, как приходилось работать на фронте. Иногда получалось так, что в живых оставался один человек. Он был и редактором, и корреспондентом, и фотографом. А газета должна была выйти. И газета выходила.

Вдруг кто-то скомандовал:

— Встать! Смирно!

По залу неторопливо шел Маршал Советского Союза, министр обороны СССР.

Он говорил не очень громко, и в зале было так тихо, что я слышал, как звенели хрустальные подвески большой люстры.

Мы все вместе фотографировались. Эти фотографии я увидел дня через два в газете «Красная звезда», а еще позже — в журнале «Советский воин».

Но я на фотографии получился плохо. Да к тому же и оказался далеко от центра. Так что меня, в общем, и незаметно. Если вы встретите эти фотографии, — я слева, в конце, где почти все сливается, но разглядеть можно.

Мама сказала:

— Ничего подобного, ты очень хорошо получился. Поправился и раздался в плечах.

Это когда я отпросился в увольнение на два часа. Мы сидели втроем и молчали. Мама все время пыталась не плакать. Сестренка ругала ее, потому что ты, сказала она, испортишь встречу.

Вдруг в дверь стали бешено звонить. Я подумал: патруль. Сестренка сказала: «Нина». Я привстал со стула. Сестренка открыла дверь. В комнату ворвалась Нина. Она ни с кем не поздоровалась, а повисла у меня на шее и завизжала. Мама заплакала и засмеялась — всё вместе.

Нина провожала меня к казарме. Мы шли по Тверскому бульвару, а в лицо летел тополиный пух.

На автобусах нас привезли на Ярославский вокзал. Мы ехали в пассажирском поезде. Я вспомнил, как мама и сестренка искали меня глазами и как я крикнул (но кто кого слышал тогда на Ярославском вокзале!), и мне сделалось не по себе.

Один военкор (мы подружились с ним в первый день) хлопнул меня по плечу: служить-то осталось год! Я немножко повеселел, вспомнил Димку, старшего лейтенанта Мирошниченко, подполковника Филиппова, ребят из нашего взвода — и мне стало лучше. Ну и приехал я в часть.

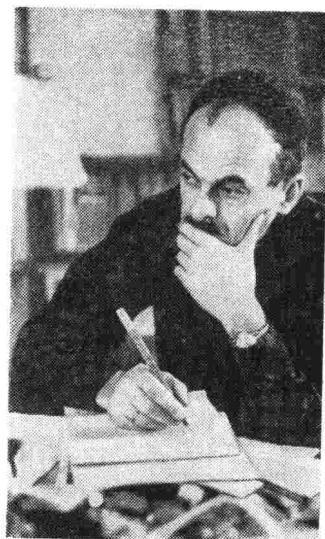
9

Вот и все. Рассказ мой подошел к концу. Сейчас мы с Димкой докурим и заведемся спать. Потому что нам скоро снова на пост.

Всего хорошего.



Булат
Окуджава



Путешествие по ночной Варшаве в дрожках

Варшава, я тебя люблю легко, печально и навеки.
Хоть в арсенале слов, наверно, слова есть тоньше
и верней,
но та, что с левой стороны, святая мышца
в человеке,
как бьется, как она тоскует!.. И ничего
не сделать с ней.

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Отбушевал
в Варшаве полдень.
Она пропитана любовью и муками обоженная,
как веточка в Лазенках, та, которую я нынче
поднял,
как Зигмунда поклон неловкий, как пани странная
одна.

Забытый богом и людьми, спит офицер
в конфедератке.
Над ним шумят леса чужие, чужая плещется река.
Пройдут недолгие века — напишут школьники
в тетрадке
все то, что нам не позволяет писать дрожащая
рука.

Невыносимо, как в раю, добро просеивать сквозь
сито,
слова процеживать сквозь зубы, сквозь
недоверие — любовь...
Фортуны верткую свою воспитываю жить
открыто,
надежду — не терять надежды, доверие —
проснуться вновь.

Извозчик, зажигай фонарь на старомодных
крыльях дрожек.
Неправда, будто бы он прожит, наш главный
полдень на земле!

Варшава, мальчики твои
прически модные ерошат,
но тянется одна сплошная раздумья складка
на челе.

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Я еду Краковским
Предместьем,
я захожу во мрак кавярни, где пани странная
поет,
где Мак Червоный вновь цветет уже иной любви
предвестьем...
Я еду Краковским Предместьем.
Трясутся дрожки.
Ночь плывет.

Времена

Нынче матери все, словно заново, всех своих
милых детей полюбили.
Раньше тоже любили, но больше их хлебом
корили, сильнее лупили.
Нынче, как сухари, и любовь, и восторг,
и тревогу, и преданность копят...
То ли это инстинкт, то ли слабость души, то ли
сам исторический опыт!
Или в воздухе нашем само по себе разливается
что-то такое,
что прибавило им суетливой любви и лишило
отныне покоя!
Или, ждая отказавшись, теперь за собой
оставляют последнее слово
и неистово жаждут прощать, возносить
и творить чудеса за кого-то другого!
Что бы ни было там, как бы ни было там
и чему бы нас жизнь ни учила,
в нашем мире цена на любовь да на ласку опять
высоко подскочила.
И когда худосочные их сыновья лгут, преследуют
кошек, наводняют базары,
матерям-то не каины видятся — авели,
не дедалы — икары!
И мерещится им сквозь сумбур сумасбродств
дочерей современных, сквозь гнев и капризы
то печаль Пенелопы, то рука Жанны д'Арк, то
задумчивый лик Монны Лизы.
И слезами полны их глаза, и высоко
прекрасные вскинуты брови...
Так что я и представить себе не могу ничего,
кроме этой любви!

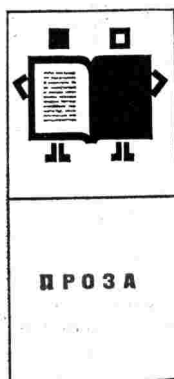
Цирк

Цирк не парк, куда вы входите грустить
и отдыхать.
В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать.
И, под куполом, под куполом, под куполом
скользя,
ни о чем таком сомнительном раздумывать
нельзя.

Все костюмы наши праздничные — смех и суета,
все улыбки наши пряничные

не стоят ни черта
перед красными султанами на конских головах,
перед лицами, таящими надежду, а не страх.

О надежда, ты крылатое такое существо!
Как прекрасно твое древнее святое волшебство:
даже если вдруг потеряна, как будто не была,
как прекрасно ты распахиваешь два своих крыла
над манежем и над ярмаркою праздничных
одежд,
над тревогой завсегдатаев, над ужасом невежд,
похороненная заживо, являешься опять
тем, кто жаждет не высиживать, а падать
и взлетать.



Игорь Минутко

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДВОР

Рисунки Б. Жutowского.

ПОВЕСТЬ

16

Надежда Никитична Зубкова оказалась неразговорчивой, хмурой женщиной. Она стояла посредине двора, захламленного дырявыми ведрами и тазами, щепками, ворохами каких-то тряпок — крупная, сильная, в засученной по локоть грязной кофте, и хмуро смотрела на нас.

— Все я вам уж обсказала. Добавить нечего. — Голос у нее был хриплый, простуженный.

— Вот для товарища следователя повторите, — сказал Фролов.

— Повторите. Где я вам времени наберусь для рассказов. У меня поросенок вон с каких пор не кормленный. — Она вытерла руки о большой тугий живот, недовольно помолчала. — Ну, пошла я утром к реке козу привязывать. Трава там сочная.

— Во сколько пошли? — спросил я.

— На часы не глядела. Может, семь, а может, боле. Подождала, когда дождь поутих, и пошла. Ну, колышек забиваю. Как раз напротив яблонь тех. Ну, и вижу: оба они там, Мишка и Васька. Стоят друг против дружки. Руками размахивают, долдонят чего-то.

— О чем они говорили?

— Да разве слышно? Далеко ведь. Только голова — гу-гу, гу-гу. И все.

— Не дрались?

— Да нет, не дрались. — Надежда Никитична подумала. — Вроде только Мишка в грудь Ваську толкнул.

— А Морковин на это что?

— Не видела. Домой пошла. Что мне на их глядеть? Петухов, что ль, молодых не знаю. Как они на месте топчутся. Да и дождь сыпал меленький.

— Значит, чем ссора кончилась, вы не видели?

— Я же вам говорю — домой пошла.

— А выстрелы вы слышали?

— Как же, конечно, слышала. Соседи, считайте. Через пять дворов.

— Много времени прошло с тех пор, как вы от козы ушли?

Надежда Никитична что-то заволновалась.

— Нет... Совсем мало. Постойте. Ну, пришла. В сенцы вот ведро с водой внесла. Хотела курам ячменя бросить. И здесь... Да, в самый раз... Он и стрелял.

— Кто он?

— Откуда ж я знаю, кто. Вы следователь, вы и узнавайте.

— Так сколько же прошло времени?

— Мало. Минут пять. Может, чуть боле. Вот и все, что видела. Поросянок у меня не кормленный. Вы уж не обессудьте.

И она пошла в сени.

— Суровая женщина, — сказал Фролов. — Вот так. Что же, Петр Александрович, еще один подозреваемый?

— Выходит.

— Надо брать Морковина.

— Какого? — спросил я и начал злиться.

— Старшего.

— Почему именно старшего?

— Надо же действовать. Возьмем старшего, посмотрим, как поведет себя Василий. Подозреваемый берется в несколько часов. А вы...

— Явно подозреваемый, — перебил я его. — Завтра. Никуда от нас Морковин-старший не денется. Если, конечно, он убийца.

— Тогда взять обоих. — Фролов передернул пле-

Окончание. Начало см. в № 1 за 1968 год.

чами. Привычка у него такая, что ли? — И перекрестный допрос.

— Все-таки давайте завтра, — сказал я, с трудом сдерживая раздражение.

— Вы ведете расследование, вы и решайте. Только мне непонятно, почему завтра?

— Вы с квартирой устроились? — спросил я.

— Устроился, — недовольно сказал Фролов.

— Идите отдыхайте. Встретимся утром в правлении. И пусть участкового подменит этот, молодой. Скажите: со двора Морковиных глаз не спускать.

Мы отчужденно попрощались.

Я и сам не знал, почему завтра. Я чего-то ждал. Чутье? Интуиция? У меня было ощущение, что еще сегодня что-то прояснится.

17

Бабка Матрена все еще суежилась у летней плиты во дворе.

— Ходят, ездют, — ворчала она. — Никакого порядка. Просто спокойя нет. Когда на стол подавать? Вы-то как? Сейчас вечерять будете?

Есть не хотелось.

— Нет, нет, спасибо. Я Ивана Матвеевича подожду.

Я прошел в горницу. Свежо пахло вымытыми полами; мирно тикали ходики; лампадка слабо горела в божнице перед иконой. Было здесь старое, с потертыми подлокотниками кресло, и я сел в него. Почувствовалась усталость.

«Морковин-старший или Морковин-младший? — подумал я. — Еще не хватает только кого-то третьего».

Вошла бабушка Матрена. Села на лавку, расправила юбку и аккуратно сложила руки на коленях.

— А Василий-то Морковин, меньшой, с бабой своей в город подался, домой, — сказала бабушка Матрена. — От греха подале.

Меня прямо выбросило из кресла.

«И этот болван участковый не сказал. Только за Сычом следят».

— Когда?

— Да уж часа два, должно. Петька Охотин самовсвал в город гнал и прихватил их. Да вы чего это?

— Ничего, ничего. — Я опять опустился в кресло.

«Если он — далеко не уйдет. Уехал... Может, совпадение? Уехал. Позвонить, чтобы встретили? Арестовали... Нет, нельзя же все выстраивать только на подозрениях, на догадках. Ссорился с Михаилом у яблонь... Ну и что? Мало ли люди ссорятся. Уехал? Что здесь криминального? Не понравилось, с родителями повздорил. Да, Нина... Что у них было? И какие отношения у Михаила и Василия? Скорей бы Иван Матвеевич приехал».

— Все ездют, ездют, — ворчала бабушка Матрена.

— Хороший у вас председатель? — спросил я, чтобы отвлечься от своих путаных дум.

— Правильный мужчина, — сказала бабушка Матрена. — С народом, верно, крут бывает. Дык разве ж с нашими лиходеями можно по-людски? Обленились при тодышних председателях. Да и то, какие председатели были? Одно прозвание. Етот в свою сторону, другой — в свою. Считаю, все мужики, какие есть в деревне, председателями перебивались. И чего учудили? Изделили про меж себя уговор — кого по очередке в председатели ставить. Поставят мужика — он себе избу за колхозные средства сколотит. Или там корову приобретет. Ну, на собрании яво скидают, не справился, мол, и другого в председатели, кого очередь приспела. Тот, понятно, свою выгоду блюдет. И спешит, конечно — до собрания

надо поспеть. Так я вам скажу, до Гущина одна растощиха в колхозе была. Бедовали. Коров в иную зиму соломою с крыш кормили. Задашь ей, разнесчастной, етой гнилой соломы, только что кипятком обдашь, а сама слезами горячими заливаешься.

— А сейчас как живете? — спросил я.

— Ну! Жизнь покультурнела.

— И давно у вас Иван Матвеевич председательствует?

— Да уж шестой год, дай бог ему здоровьечка.

Бабушка Матрена еще чего-то говорила, но я уже плохо слышал. В моем сознании четко стучали ходики: «тан-тан, тан-тан...» Я засыпал. Видно, сказались напряжение и усталость. «Кто-то из Морковиных убил», — подумал я в полубытьи.

Разбудил меня Иван Матвеевич. Он был возбужден, шумно дышал, быстро двигался по комнате, занимал ее почти всю.

— Просыпайтесь, Петя, — сказал он. — Поужинаем. А потом бабушка Матрена постелит нам на сеновале. Хорошо! На звезды смотреть будем.

Меня немного знобило со сна.

Ходики показывали полдесятого. За окном было темно, и казалось, на близком плетне палисадника примостилась яркая звезда.

Мы сели ужинать. Иван Матвеевич рассказывал:

— Начало доброе. Во второй бригаде ячмень убрали. По тридцать центнеров с гектара. Представляет? Правда, это лучшие поля. Но все равно. По нашим-то местам. — Он разгрыз огурец, внимательно посмотрел на меня. — А как у вас? Как съездили?

— Иван Матвеевич, скажите, какие отношения были у Михаила с Василием Морковиным? — Вопрос прозвучал почему-то торжественно.

Гущин насторожился.

— Да, действительно, вам будет интересно знать. Ведь как получилось? Нина, жена Михаила, раньше была невестой Василия. Вроде уж свадьба намечалась. И как раз Миша из армии пришел. Парень он был видный... — Иван Матвеевич вздохнул. — Уж не знаю, как там у них вышло. Только отбил он Нину у Василия. Увел. А Василий, знаете, тихий такой, незаметный. Переживал сильно. Потому и в город уехал. Потому и женился без разбора. Дура ему, по-моему, попалась непроходимая.

— А где Василий работает в городе? — спросил я.

— На оружейном заводе, кажется. — Иван Матвеевич вроде сам удивился, сказав это. — Постойте! Вы думаете... — Он замахал руками. — Что вы! Тихоня. Робкий, как заяц. Нет! Уж в это я поверить не могу.

— Надежда Никитична Зубкова видела, как утром Василий ссорился с Михаилом у яблонь, — сказал я. — И он с женой вдруг взял и уехал. Почему?

— Уехал? — На лице Гущина появилась растерянность.

— Да. От вас, Иван Матвеевич, позвонить в Ефанов можно?

— Конечно, конечно. Это я сейчас устрою. — Он поднял трубку. — Вам куда?

— Дежурному прокуратуры. Два — семнадцать.

— Люба, ты? — спросил в самую мембрану Иван Матвеевич. — С Ефановом соедини. И поскорей. Что? Два — семнадцать. — Он положил трубку. — Минут через десять дадут.

Помолчали.

— Что же, арестуют его там? Василия?

— Рано арестовывать. Подозревать — это слишком мало для ареста. И вы говорите, что не похоже.

— Не похоже! — убежденно сказал Иван Матвеевич.

«Скорее бы дали Ефанов, — подумал я. — Примешь решение — и легче. Правда, размазался, растекся».

— Да! — вспомнил я. — Что это за дед такой у вас в церкви?

Гущин усмехнулся.

— Познакомились? Кладовщик наш. Сквода. Фамилия у него такая — Сквода. Тоже тип. Бывший церковный староста. Лавку свою имел до революции. Всякие там свечи, иконки, кресты нателные. Ведь в Воронке ярмарка собиралась. На площади, вокруг церкви. И что удивительно! Верит наш Сквода, что старые времена вернуться.

— Неужели? До сих пор?

— До сих пор. Говорят, даже кой-какие товары в погребе хранит. А так тихий, работающий. И честный. Не подкапашься. Набожный. Любой разговор на бога переведет. Но враг. Скрытный, злобный.

— Он-то не опасен, — сказал я. — Какая за ним сила?

Иван Матвеевич помолчал, задумался. Потом сказал:

— Не тот враг опасен, который силен, а тот, который знает твои слабости. — Опять помолчал. — Что-то долго не дают!

И как раз зазвонил телефон. В прокуратуре дежурил Воеводин.

— Шердку Холмсу привет! — послышался в трубке его ехидный голос.

Я сухо, стараясь бесстрастно, попросил его связаться с областной прокуратурой: пусть возьмет подписку о невыезде с Морковина Василия Григорьевича, а также надо узнать, кем он работает на оружейном заводе и делают ли там револьверы. И сразу — позвонить сюда.

— Будет сделано, Шерлок Холмск! — все с той же ехидцей сказала трубка далеким голосом Воеводина. — Что-то, сэр, нет от вас ободряющих рапортов.

Я промолчал, положил трубку.

— Да, дела, — вздохнул Гущин.

— Теперь остается только ждать, — сказал я. — До утра. Если остановиться на Василии.

Иван Матвеевич опять замахал руками.

— Но я не могу остановиться на Василии, — продолжал я. — Есть еще Морковин-старший. Сыч. И поэтому будем разбираться дальше. Понимаете, Иван Матвеевич, мне надо не только найти убийцу. Мне надо определить мотив убийства. Без этого и уголовное дело я не могу возбудить. Вот Михаил. Очень он меня интересует. Расскажите о нем еще. Поподробней.

Иван Матвеевич нахмурился.

— Да, Михаил... Вам трудно даже понять, какая это потеря для меня, для колхоза. Не можем мы без молодежи, на них вся надежда. Новые люди растут. Удержать их — вот проблема. В город тянутся. Ну, вы понимаете. Город есть город. Не нам чета. После уборки клуб им заложу. И одно обязательно надо знать об этих парнях и девушках. Они деревенские, они здесь выросли. И любят они, понимаете, землю, наш простор. Часто сами не понимают, что любят. А любовь эта — великая сила. И она новая у них, не собственническая. Что бы там ни говорили, наши это ребята, в советское время выросли. Только очень важно, чтобы они чувствовали себя хозяевами на своей земле. Настоящими. Без этого чувства нет крестьянина, нет колхозника. Чего там, было время, когда исконное мужицкое чувство — хозяйское отношение к земле — ногами топтали, в дурака превратили землепашца. Слава

богу, сейчас все меняется к лучшему. Так вот, Михаил Брынин. Крестьянский парень, истинный. А ведь тоже после армии не вернулся бы, куда-нибудь на завод бы пристроился. Сейчас думаю: лучше б пристроился... Я ему письма писал. Я всем моим парням письма пишу, каких в армию проводили. Крестьянские вы, мол, ребята, вспомните наши края. И обещаю. Все им обещаю. Золотые горы. Обманываю? В данный момент — да. Но ведь перспективу надо видеть. Не знаю, сколько писем Михаилу написал. Много. По ночам приходится. Днем-то когда? Сначала не отвечал. Потом первое письмо получил, второе. Миша в танковых войсках служил. Одно его письмецо я сохранил. Сейчас покажу.

Иван Матвеевич выдвинул из-под кровати все тот же деревянный чемодан, стал рыться в нем.

«Михаил убит из револьвера...»

— Запропало куда-то. Ага. Вот. Читайте.

Письмо было в потертом конверте. На листе, выванном из ученической тетради, было написано знакомым торопливым почерком:

«Добрый день, веселый час, Иван Матвеевич!

Спасибо за письмо и заботу. А сегодня мне приснился сон. Вижу, как по полю, что за Змеевой балкой, ведет трактор «Беларусь» Ванька Зубков, пашет. А я за ним бегу, и нету никакой мочи догнать. Прямо дух из меня выходит. А земля так и пахнет, так и шибает в нос. И над головой жаворонок тренькает. Я весь аж в поту, а догнать вот никак не могу, и все. И такая меня обида берет, такая, можно сказать, жалость к себе! Проснулся и, честное слово, подушка мокрая. Сон рассказал старшине Воробейченко. Я вам о нем писал. Только про подушку ни слова. На смех подымет. Старшина Воробейченко сказал, что это зов земли. Так что я, Иван Матвеевич, решил твердо: вернусь домой. Только вы уж, как обещали, дайте мне тот трактор, что скоро получите — «Т-38». Это же теперь моя мирная профессия. Всем привет: и родным и односельчанам.

Остаюсь ваш Михаил Брынин».

— Вы обратили внимание, — сказал Иван Матвеевич, — зов земли.

В это время забарабанили в окно, и женский голос звал просительно:

— Иван Матвеевич!

— Вот, пожалуйста! И ночью покоя нет. — Он вышел из горницы.

«Значит, надо искать этот проклятый револьвер».

— Иван Матвеевич, — говорил за окном женский голос. — Опять Демьян в драку. Пришел пьяной... — Женщина заплакала и дальше говорила сквозь слезы: — Пришел пьяной, меня — в живот, за Машей погнался...

— Так, так, — хмуро говорил Иван Матвеевич.

«Если Василий, — мог на заводе достать. Интересно, делают там револьверы или нет?»

— Потом из избы выгнал. И все матюком. Так матюжил — на всю деревню. Стыд-то какой, Иван Матвеевич...

«А если Сыч?»

— Что же делать, Матвеевич? Уж я к тебе, как к отцу.

— Вот что, Ольга. Переночуй у Дарьи, а завтра составим акт и передадим в милицию. Хватит, понимаешь, церемониться. Дождешься — топором череп расколосит.

— Да я, Матвеевич...

«Значит, с Отечественной он вернулся без револьвера...»

— Будешь утром заступаться, плюну, Ольга, так и знай. Сами расхлебывайте.

— Да вот истинный крест, Матвейч! Слова в его защиту, изверга, не скажу.

«Но ведь он участвовал в гражданской войне! Может быть...»

— Ну, а дети-то где?

— К золовке отвела. Спят.

— Правильно. Иди, Ольга. Завтра разберемся.

— Спокойной ночи, Иван Матвейч! Дай тебе бог здоровья.

Хлопнула дверь, вошел Гущин, устало опустился на лавку.

— Беда с ними. Он задумался. — Что же дальше будем делать, Петя?

— Василия оставим до утра, — возбужденно сказал я. — Остановимся на вашей версии — Сыч убил Михаила...

— Он. Больше некому. Чтоб Василий — никогда не поверю.

— Итак, убил Сыч. Как установила экспертиза, — из револьвера. Значит, у Морковина есть револьвер. Где он его взял? С войны вернулся без револьвера. Здесь достал, купил? Не исключено. Но есть еще один вариант. Вы говорили, что Морковин был в Красной Армии, участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. Мог он в то время достать револьвер?

— Мог, — сказал Гущин, с любопытством глядя на меня.

— Скажите, есть кто-нибудь...

— Есть! — перебил меня Иван Матвеевич. — Правда, не в нашем колхозе, в «Богатыре». В деревне Архангельские выселки. Зуев Пантелей Федорович. Серьезный старик. Парторг их старейший, народный такой, знаете, от земли. Как же, знакомы. У него дома, правда, не был. Все больше по работе, в райкоме. — Иван Матвеевич* как-то хитро, даже, пожалуй, зло усмехнулся. — Баталии мы с ним там ведем. Так вот. Вместе они с Морковиным в Кронштадте участвовали.

— Надо ехать, Иван Матвеевич!

— Сейчас и поедем. И я с вами.

— Вам отдохнуть...

— Ерунда! — Глаза Ивана Матвеевича молодо блестя. — Мне тоже, знаете, любопытно. Никогда об этом с Пантелеем не разговаривали.

Шофер председательского «газика» Павел уже спал, но проснулся сразу, молча, зевая, пошел к машине. Видно, он привык к подобным поездкам.

Скоро мы уже ехали. Было без четверти одиннадцать. Ночь была темная, со звездами. Только заря над самым краем земли никак не могла погаснуть, светилась узкой бледной полоской. Ночной холодок пробивался в кабину; бросало на ухабах.

Мы с Иваном Матвеевичем мотались на заднем сиденье. В темноте я не видел его лица.

— А Зуев что за человек? — спросил я. — Расскажите поподробней.

Иван Матвеевич не ответил.

— Заснул, — сказал Павел. — Вы уж не будите. Умаялся. Как он только выдерживает? С пяти утра до ночи. Каждый день. И за пять лет ни разу отпуск не брал.

— Сколько километров до Архангельских выселок? — спросил я.

— Да тридцать-то будет, — сказал Павел. — Нам бы Митькин брод проскочить. А дальше дорога хорошая.

Митькин брод надо было взять с ходу. Речку мы проскочили — только два веера шумной воды разлетелись в стороны. И застряли на крутом берегу. «Газик» забуксовал в мокрой скрипучей гальке и, надрывно урча, сполз вниз, к самой воде.

Павел рванул на себя тормоз — машина стала.

— Привет! — мрачно сказал Павел. — Перекур с дремотой. — Он открыл дверцу, и слышно было, как тихо лопочет вода и где-то, казалось, вверху, в небе, пофыркивает трактор — то громче, то тише. — Ага! — Павел выпрыгнул из «газика». — Яшка-помазок еще не ушел со своей таратайкой. Он у Тихого Яра силос трамбуется. Я мигом. Он нас и вытащит.

Павел пошел в темноту; из-под его тяжелых ног сыпались камушки; потом шаги стихли.

Я выбрался из машины, поднялся на крутой берег, сел на его травянистый край, влажный от росы. Летел над землей тихий, легкий ветер. Где-то далеко ухал филин. Глаза привыкли, и теперь я видел темную реку внизу, крутой спуск к воде, покрытый белой, лунной какой-то галькой. Там, внизу, замер наш «газик», в котором спит Иван Матвеевич. Так и не проснулся...

Я лег на спину, и огромное небо надо мной было в редких звездах. «Почему я здесь? Почему...» — усмехнулся я. И все-таки это «почему» осталось. Внизу все лопотала вода. А невидимый трактор замолчал.

«За пять лет ни разу не брал отпуска, — вдруг подумал я о Иване Матвеевиче. — Чудак».

Послышались шаги, огонек сигареты описал дугу и упал в траву. Подошел Павел, сел рядом со мной.

— Троса у него нет, — сказал он. — Побежал в деревню. Достанет. Для Матвейча постарается.

— Любят у вас председателя? — спросил я.

— Да, любят, — сказал Павел. И в голосе его прозвучало странное раздражение. Похоже, своим вопросом я его разозлил.

— Значит, любят? — не унимался я.

— Знаете, кто его не любит? — повернулся ко мне Павел. — Сам он себя не любит. Разве можно так работать? На износ. Кому он что докажет? Да и в райкоме ему путевки постоянно предлагают: поезжай, отдохни. Да разве ему что втолкуешь? «Вот кончится посевная, вот проведем косовицу, вот уберем свеклу». Так года и мелькают. Только и был раз в санатории, по первому году. После этого... Ну, как его? Инфаркта.

— У него был инфаркт?

— Прямо в поле упал. Довели мужички. Да вы представить себе не можете, что здесь, в нашем «Гиганте», было до него. Всякие жулики да шаромыжники и царствовали. Вот он с ними и схлестнулся — кого под суд, кого штрафом, кого за грудки. Матвейч, вы не думайте, добрый, добрый, это когда все по-хорошему, по-людски, а если не по его, против колхоза, — пощады не жди. Только ведь и мужики наши не из дерева трухлявого, шутики шутовать не любят. Их здесь компания собралась, маленькая, а всех в кулаке держали. Верховодили Никулины из Хомяков, отец, Семен Евдокимыч, и четыре брата. Глава семейства числился сторожем на току. Сторожем... Все мы знали: зерно ворует, что колхозное, что его. Свиной откармливали — штук по шесть. А попробуй скажи! Председатели у нас были — так, одно название. Любили у Никулиных самогоночки пропустить. С устатку. И в других дерев-

нях у них друзья, ну, все больше бригадиры, начальство местное. А еще у четырех братьев-то кулачищи пудовые. Да и финку в ход пустить могли. Словом, хозяева, да и только. Вот к ним Матвейч и приступил. Сначала уговорами — не помогает. Потом штрафами. Насупились, а все свое. Тогда он Никулина-старшего с работы, приказом. Стал Матвейч письма получать: мол, уезжай подобру-поздорову. Пока цел. Без подписей, конечно. Председатель наш и бровью не ведет. Только они не пугали, нет. Как-то раз ночью, под Новый год, подожгли правление, а Матвейч тогда там жил, на своем диване этом визгливом. Дверь бревном подперли, а окошки маленькие. Народ спас. Сразу всей деревней сбежались, потушили. Ну, следствие, конечно. Только неловко вышло: не нашли виновных. А одно подозрение — не вам мне объяснять. Опять — анонимки. А тут Матвейч за них круто взялся. Сказал на правлении: «До первого случая. Я им покажу, мать их...» И что же вы думаете? Старшего брата Никулиных звали у нас Астасхой. Раз напился — это ему не впервой — и в клуб, на танцы. Ну, известное дело — хулиганить: девчат лапать, радиолу перевернул, к комсомольцам — с дракой. Побежали к Матвейчу, он послал за участковым, за Захарычем. Астасху связали — и в сарай, под замок. «Судить будем», — сказал Матвейч. Астасха в сарае шумит: «Отсиджу пятнадцать суток — посчитаюсь с председателем». Только все по-другому обернулось. Все грехи собрал Матвейч, что за Астасхой числились, свидетелей пригласили. Астасха думал: молчать будут. А народ-то уж за Матвейчем силу почуял. На суде языки развязались. Астасха туда, сюда, и по роже видать — ничего не понимает, что происходит. И приговор — гром с ясного неба: три года. Все! Поднял он после этого Никулиных: других братьев на работу поставил, да такую, где результаты нужны. Не выдержали, в город сбежали, да там и сгинули, Иван вроде за кражу сел, Федька куда-то на север завербовался. Остались Семен Евдокимович да меньшой. То глава семейства гоголем по деревне ходил. Чего там, старики перед ним шапку ломали. А теперь сник, все больше в избе сидит, и свиньи во дворе перевелись. То в шуточку говорил, траву они у него жрут, с нее тела нагуливают. Перестали, видно, траву жрать. Вот так дело было. Остальные дружки-субутильники Никулиных попричихли. А как что — Матвейч с ними не церемонится. Крут. Даже, скажу вам, очень крут. Иногда, по моему, перебирает. Впрочем, не знаю... Есть люди, с которыми по-доброму нельзя. Не доходит — и все. Не перевелись они у нас еще. Попричихли, выжидают. Только не дождутся.

— А что с младшим братом Никулиных? — спросил я. — Тоже уехал?

— Нет! — в голосе Павла послышалась радость. — Сейчас вы его увидите. Это и есть Яшка-помазок. Ведь Матвейч какой? Умеет людей угадывать, задевает струнку и за нее всего вытянет. Так и с Яшкой. Ему тогда семнадцать было, сейчас уж в армии отслужил. Вот Матвейч и заметил, к технике парня тянет, предложил на курсы трактористов. Помню, при мне разговор в правлении был. У Яшки глаза на лоб. «Мне, — говорит, — такое доверие... Ведь я...» Матвейч смеется: «Тебе, тебе». Многих он так зацепил: кого поставит на работу, где нравится, кому избу шифером покроет, молодых — на учебу. Только с условием: домой возвращаться. Правда, не все возвращаются... И вдовам он много помогает, солдатам. Ведь Матвейч всю войну прошел, сам их мужей в братские могилы закапывал. Да... Вот люди и поворачиваются к нему. А много ли им надо? Чуть внимания да заботы. И чтоб это не от должности

шло, а от сердца. Вот я... Что б без Матвейча я представлял? Вернулся из армии — и никак не определяюсь. Дружки вроде все в городах осели, а меня туда не очень тянет. И тут Матвейч. Взял в шоферы. Потом говорит: «Вижу, Паша, машину ты любишь. Поступай в автодорожный». Сейчас на третьем курсе. Дом помог отстроить. Да я за него!.. Только ведь ничего слушать не хочет.

Павел замолчал.

Где-то далеко, невидимо, затарахтел трактор.

— Вроде Яшка, — сказал Павел. Закурил, помрачнел. — Вот и получилось... Ведь у него и раньше сердце болело. Как раз год попредседательствовал. Правда, пошли дела круто. Но какой ценой... С поля — в больницу, без сознания. Райком из области врача вызвал, знаменитость какую-то. Собрались и наши и он. Совещаются. До нас слухи: на волоске висит. Но ничего, обошлось. Стал поправляться наш Матвейч. Вы спрашиваете, любят ли его люди? Так, в каждый день, не видно... Что вышло? Как начал он поправляться, — пошли к нему люди — и знакомые, и незнакомые, и кому помогал, и кого за грудки тряс. И пионеры и учителя. Несут всяк свое: и молоко, и яички, куренка там, цветы. А одна бабка, смех один, бутылку самогонки из-под полы вынула. Больничное начальство с ног сбилось: по сорок — пятьдесят человек в день. Не знала такого мечнянская больница. Моя сестренка, Галка, медсестрой там. Рассказывала. Пришел дед Прохор из Веслянки, он с печи-то еле слезит. Матвейч помог ему пенсию выхлопотать. Медку дедан принес нашему председателю, банку на тумбочку ставил и уронил — наморщился, пять километров протопал, да и руки дрожат от старости. Разбилась банка. Галка говорит: отвернулся Матвейч к стенке и губы кусает, а в глазах — счастье со слезами пополам. Судите сами о любви. Поправился. Врачи говорят: все, отработался, домашний режим, никаких волнений. Никаких волнений... Прямо из больницы в правление пришел. Правда, скоро мы его в санаторий отправили. Считайте, насильно. Вернулся, поздоровел вроде. С тех пор и крутится. Вон он, весь его отдых! — Павел сокрушенно кивнул в сторону «газика».

— Чудак... — невольно сказал я.

— Во-во! — Павел восторженно и заговорил зло, с ожесточением: — Поставили колхозом ему дом, чтоб семьей жил, с удобствами. А в самый раз новый зоотехник приехал. Матвейч дом — ему. Как же! Городской человек, ему у нас непривычно. Кто после этого председатель? Чудак, конечно. От санатория пятый год отказывается — чудак! Что говорить, — со склада берет для бабки Матрены — все по накладным, потом из зарплаты вычитают. И снова — чудак! Или привожу я его в область на совещания всякие. С дружками старыми встречается, с которыми вместе партийную школу кончал. Бывает, обедаем вместе — меня Матвейч всегда рядом за стол сажает. И вижу я: не понимают они его, тоже чудачком считают. Как же! Он там в каком-то колхозе. А у них чины, кабинеты, секретарши, как куклолки. Вот, мол, чего достигли! Нет, не понимают они его. Точно вам говорю. А ведь он счастлив! Я вам не могу объяснить, какое оно, это его счастье. Только особое, мы все и не знаем, неведомо оно нам.

Из темноты прыгнули фары, рассеянные конусы света устремились вверх, в небо, а потом легли на пыльную дорогу. Гул трактора нарастал, скоро его горячее черное тело стало различимо на дороге. Павел пошел навстречу, я — за ним.

Яшка Никулин был широкоплечий, немного угрюмый парень в замасленной ковбойке.

— Вот трос, — сказал он Павлу. — Цепляй.

— Что, застряли? — сонно спросил внизу Иван Матвеевич.

Он уже вылез из «газика» и медленно поднимался к нам.

— Мы, Иван Матвеевич, мигом, — засуетился Яшка-помазок. И даже в неясном ночном полусвете я увидел, вернее, почувствовал, как оживилось, подобрело его лицо. — Паша, тяни сильнее!

— А, это ты, Яков, — сказал председатель тоже обрадованно. — Ну, как дела?

— Да все в норме, Иван Матвеевич. Крышу вот снял. Соломенную. Шифер кладу, только не хватит. Можга, подсобите?

— Что ж, работник ты стоящий. Приходи завтра в правление. Потолкуем.

— Вот спасибо-то!

— Ты погоди «спасибо», — немного недовольно сказал Иван Матвеевич.

Скоро «газик» вытащили. Яшка-помазок отозвал в сторону председателя, и они о чем-то поговорили. И опять громко сказал Яшка:

— Вот спасибо-то! Вот спасибо!

Наконец поехали дальше.

Иван Матвеевич сказал задумчиво:

— Ничего парень получается. — Усмехнулся. — Скажи, пожалуйста, жениться наш Яков надумал.

— Небось, на Соньке Боярковой? — оживился Павел.

— А то на ком же! Что ж, девка она славная. — Председатель вздохнул. — Вот так она, жизнь, и идет: одних — в землю, и вдовы с детишками остаются, у других свадьбы: все сначала считайте, от нулевого цикла.

— Иван Матвеевич, — спросил я. — Вот мы говорили. Когда колхоз образовывался, вы были секретарем комсомольской ячейки. Ну, а потом, все время здесь?

— Где же мне еще быть! — Похоже, он был обижен моим вопросом. Помолчал. И вдруг заговорил быстро, взволнованно: — Эх, юность моя комсомольская! Как бы это вам поточнее сказать, Петя? Понимаете, это, наверно, очень важно для юности: когда ее стремления, состояние духа, что ли, полностью совмещаются с возможностями жизни. Только делай! Как это по-церковному? Когда проповедь совпадает с деянием. Не знаю, как с другими. Со мной было именно так. Ну, отшумели мужицкие страсти — начали мы строить в деревне социализм. Собрания, дискуссии. Митинг на первой колхозной борозде. Потом — первый коллективный урожай. Какой праздник был! Вы представить не можете! Хор создали, «Интернационал» грянули... Если бы вы видели, Петя, лица мужиков в тот момент! Комсомольцы мои с ног сбились. А я и про сон забыл. Зато люди к нам повернулись, поверили, увидели преимущества артельного хозяйства. И это было не только их счастьем, но и нашим. Моим, личным. Разумеется, и ошибались и зарывались, не туда тянули. Всяко было. Ведь впервые в мире. Удивительное это ощущение: ты — первый, ты — первопроходец... — Он задумался. — Сейчас просто диву даюсь: как это нас на все хватало: и ликбез, и с попом дискутируем, и агитбригада, и работаем, конечно.

«Как сейчас вас хватает?» — подумал я.

— Да, именно так, — жестко сказал Иван Матвеевич. — Только когда духовные стремления юности совпадают с возможностями в деятельности, — только тогда она отдает себя обществу. Бескомпромиссно и полностью. И счастливо, непобедимо то общество, которое для своей молодежи может создать такую питательную среду — духовную и материальную.

Видно, это были его заветные мысли.

— А что было потом? — спросил я.

— Со мной?

— Да.

— Нужно было учить деревенских ребят, учителей не хватало, — пошел в Ефановское педучилище, окончил его, учительствовал. А тут — война. Что о ней говорить! Не найти никаких слов. Не придумали их еще люди. Вот войну — придумали... Отсюда, от нашей земли, прошел до Праги. Все видел, научился ничему не удивляться. А вернулся — одно удивление принес с собой: как это я живой? Целый? Стою — господи боже мой! — посреди тихого поля. И рожью пахнет. И жаворонок надо мной... Вот тогда первый раз сердце сдавило. Да так, что и вздохнуть невозможно.

Иван Матвеевич замолчал.

И нельзя было нарушать это молчание.

19

Покачивало на ухабах. Я почему-то не мог сосредоточиться. Думал то о Морковине, то об Иване Матвеевиче, потом — без всякой связи — промелькнул наш московский двор, вернее, большой мусорный ящик в его углу с нелепым словом на крышке: «Хрюк», — написанным черной краской. Я задремал, как-то сразу провалился в черный сон. И был он полон неясной тревоги и ожидания бед; во сне я хотел что-то вспомнить, очень важное, и не мог.

Я открыл глаза. Глухо билось сердце, лоб был мокрый.

«Газик» стоял, и свет фар упирался в бревна, на которых сидели парни и девушки, жмурясь и закрываясь руками. Пиликала гармошка.

— Так где? — услышал я голос Павла.

— Я же говорю, — ответили ему. — Вон за колодец поверните — и вторая изба. С крылечком.

Стали объяснять несколько голосов.

— Бок отлежал, — сонно сказал рядом Иван Матвеевич.

Сев за руль, Павел, сказал: «Так», — и мы поехали.

За «газиком» бежали несколько собак и яростно лаяли.

Долго стучали в дверь. Было свежо, перила крыльца повлажнили от росы. Пахло сеном и яблоками.

— Кто? — спросил недовольный сонный голос.

— Открывай, Пантелей, гости к тебе, — сказал Иван Матвеевич.

— Вот те на! — удивленно воскликнули за дверью.

Звякнула щеколда. В дверях стоял крупный мужчина в белой нательной рубашке.

— Удивил, Иван Матвеевич, — сказал он. — Ночью пожаловал. Не ожидал такой чести. Да вы в избу приходите. — Мужчина циркнул спичкой.

Осветились сени, слабо и зыбко. Где-то наверху завоились куры, стали испуганно спрашивать, что случилось, и петух им что-то ответил успокаивающее. В углу сбились кучей темные овцы, замерли, вытянули шеи, повернув к нам головы, щупали ноздрями воздух, и в их тусклых глазах трепетал одинаковый огонек. Спичка погасла — и все исчезло.

Спотыкаясь о порог, мы вошли в избу. Павел остался спать в «газике».

В избе было тепло, даже душно, пахло укропом и чесноком.

— Сейчас лампу засвечу, — сказал в темноте мужчина. — Электричества у нас нету. Авария какая-то на

станции. Ребята с утра копаются, да, видно, серьезно там заклинило.

Керосиновая лампа осветила низкую комнату. Уже привычное: русская печь, лавки, стол, выскобленный ножом. Между окнами был большой портрет Буденного. На столе грязная посуда, хлеб, огурцы. Крынка молока с точками мушек на розовой поверхности сливок.

Пантелей Федорович Зуев оказался крепким, плечистым стариком; лицо у него было дубленое, морщинистое; под густыми, клочковатыми бровями сидели зоркие лукавые глаза.

— За беспорядок извиняйте. Старуха два дня как в больницу свез. Животом мается, — сказал он, рассматривая нас. — Может, самоварчик вздуть?

— Постой с самоварчиком, — сказал Иван Матвеевич. — По делу мы к тебе.

— Ты разве без дела приедешь! — Пантелей Федорович хмыкнул. — Может, телят, что в Воробушках скупил, обратно привез?

— Да постой ты! — недовольно перебил его Гущин, быстро взглянув на меня. — Вот со следователем я к тебе.

— Вы нас извините, что ночью, — сказал я.

— Какой! Я все одно собирался пойти сторожку на токах проверить, само собой. Спать они у нас горазды. — Он стал настороженным, сел на лавку, смотрел зорко: то на меня, то на Ивана Матвеевича. — Что случилось, товарищи?

Все объяснил ему Гущин, только про револьвер ничего не сказал. Я его вовремя остановил.

Пантелей Федорович заволновался.

— Гришка, однополчанин мой революционный!.. Убил человека? Трудно поверить... Уж сколько лет мы с ним не виделись... Прямо вы меня обухом по голове. Да он... Вот подавление Кронштадтского мятежа... Отличился там Григорий Морковин, героизм, можно сказать, проявил. Потом перед всем строем благодарность ему, само собой... И вдруг человека кончил из-за яблок. — Он крепко потер лоб большой рукой.

И я невольно вздрогнул: очень была похожа эта тяжелая крестьянская рука на руку Григория Морковина.

— Прошу вас, Пантелей Федорович, — сказал я, — расскажите, как все было, за что ему благодарность. И поподробней, пожалуйста.

— Рассказать, конечно, можно. С чего все началось? В первую мировую забрали нас с Гришкой Морковиным в солдаты. Война с германцами, само собой. Мы с ним одноклассники — с тыща восьмисот девяносто восьмого года. До армии незнакомы были — из разных деревень. Пока обучение, суд да дело, осень подошла, зима — вот она. Мы под Петроградом. В казармах, никуда нас не пускают. Так, слухами живем: революция сотворилась, царя скинули, Временное правительство. Все лето — канитель: на фронт собирались отправить. И — никак. Не заладилось у начальства что-то. Осень, октябрь, значит, к концу идет. Снежком, помню, притрусилось. И враз — известие: большевики власть захватили, Ленин, само собой. К нам в казарму агитатора большевистского привезли. Лохматый, щеки к зубам прилипли, тощий, в чем жизнь держится. А говорит начал — мы рты до ушей. Про пролетариев, значит, потом декреты Ленина разъясняет. И как услышали декрет о земле, то есть землю, само собой, крестьянам, а почти все мы там были деревенские, да безлошадные, да безземельные, — тут содом поднялся: крики, шапки вверх, цалуемся, а агитатора качать. Летает под потолок. Как из него, интеллигента, душу не вытряхнули, удивляюсь. Отпустили, сердешного, и кто-то как гаркнет: «Ребята! Штыки в зем-

лю! По домам!» Ан нет! Агитатор к нам с обращением от большевистского правительства: «Рано, товарищи, штыки в землю. Пригодятся они нам. Для защиты завоеваний революции. Потому как свергнутые классы не примирятся, войну раздуют. И всякие там капиталисты иностранные. Записывайтесь в Красную гвардию». Стали записываться ребята. И я тоже. Были мы, Зуевы, в наших Архангельских деревнях совсем безземельные. С мякины на воду. А здесь — земля крестьянам, свобода, мир. Записался. Смотрю, и Гришка подпись ставит. И ровно не он передо мной — вспыхнул весь. То все молчком, хмурый и весь в комок сжатый — все думал о чем-то. И заметил я: хитрый. Махрой приторговывал, менял чего-то у солдат. А деньги прятал, все для себя в обрез, чтоб там купить чего — ни-ни. А тут расцвел: дергается весь, глаза блестят. Шепчет мне: «Слышь, землю дают большевики! Наша теперь земляца. Да я за их!.. Кому хошь глотку перекушу. Слышь, Пантелей, лошадь куплю. А может, и две. Имеется у меня, имеется...» — И аж дрожит весь.

Потом, сами знаете, война началась. Юденич на Петроград прет. Мотало нас повсюду. Гришка здорово дрался. Отчаянный был — страсть! Молодость, конечно. Что нам тогда было? По девятнадцати годов. Пуль, глупые, не боялись, само собой. Еще, правда, спешил он очень домой. Все говорил: «Скорой бы контру раздавить». И вот интересно! Везде таскал с собой Гришка Декрет о земле. Листовочку такую маленькую. В кармане у него, можно сказать, под сердцем. Как привал какой, тишина — он вынет, читает, губами шлепает. И улыбается.

Год прошел, второй. Гражданская война по России гудит. Мы все в Петрограде. Проверенные революционные части. На охране сердца революции. Это наш комиссар так говорил. Везде вроде война поухля. Двадцать первый год настал. По домам скоро, думаем. Гришка совсем извелся. Худой, щеки ввалились, по ночам не спит, все ворочается, вздыхает. И как раз, уж к весне дело, март, — Кронштадтский мятеж. Нас — туда, само собой. Комиссар перед строем речь: «Контра, товарищи, делает последнюю ставку — свергнуть Советское правительство в Петрограде. Хотят вернуть проклятые враги заводы капиталистам, землю — помещикам, хотят красную Россию залить рабоче-крестьянской кровью. Это последняя попытка злого врага. Исканют его силы. Это наш последний, решительный бой...» Гришка меня в бок толкает: «Слышь, последний!» — и дергается весь от нетерпения.

Как развернулось? На штурм пошли. Бежим с матросиками по льду Финского залива, а он раскачивается. Тонкий. По нам из фортов пулеметы садят. Ладно. Самые события уже в городе. К ночи мы туда ворвались. Заняли одну улицу, другую. И вот, помню, в дом заскочили, в подъезды. А напротив из окон такая стрельба — спасу нет. Из винтовок. И один пулемет. Бьет без удержу. Столпились мы, не знаем, что делать. Гришка, я, еще товарищи. Командира нашего убило. «Высунь нос, — говорит кто-то в темноте, — сразу душа в рай». А Гришка мне шепчет: «Слышь, письмо получил. Мать отписала. Братья не вернулись. Одна маманя на земле мается. Своя земляца, а не пошшупать. Эх... — Так он тяжело вздохнул. — К севу бы в деревню поспеть». «Поспеешь», — говорю ему, а сам думаю: «Как дальше-то быть? Вон контрики из пулемета шпарят — не продыхнуть».

И как раз в подъезд к нам матрос заскочил, бушлат на нем, маузер в руке громадный. «Братки, — говорит. — Штаб ихний там. Списки. Нельзя выпускать. Через черный ход утекуют. Кто пойдет, а? Братки?»

Решился я: «Пойду»,— говорю. За мной другие. «Я! Я!» И Гришка вызвался. «Тогда— давай!»— распахнул матрос дверь.— Ура-а!» И побежал к дому напротив. Мы за ним: «Ура-а!» И вот любопытно— страху никакого. Даже пулемета вроде не слышу. Только падают рядом товарищи наши. И винтовки по мостовой гремят, из рук катятся. Добежали до дома трое: матрос, Гришка и я. Из других подъездов побоялись. Дом угловой. Арка высокая во двор ведет. «Пулемет у них на втором этаже,— шепчет матрос,— третий подъезд. Видно, и штаб там. Пошли через черный ход». Пробежали под аркой, потом по двору. Не двор, а гроб узкий. Отсчитали третий подъезд. По лестнице карабкаемся. Темень— глаз выколи. «Вот он, второй этаж»,— говорит матрос. А дверь заперта. Навалились.

Дале, поверите, помню как-то смутно, ровно из тумана выплывает. И все кусками, кусками встает перед глазами, а промеж них— темно.

Вот дверь хрястнула. Нас прямо внесло. Коридор вроде длинный. И в конце— слабая лампочка. Ровно светляк. Потом тень мелькнула. Выстрелы. Чувствую: жаром в плечо меня— толк. Что-то еще было. Не знаю...

Только Гришка меня уже в какую-то дверь заталкивает. Взял за пояс и задом— в дверь. И вот когда она, дверь, закрывалась, увидел я: крадется по коридору матрос, как-то в коленях изогнулся. Смотрю, с боков на него— тени. Дверь как раз Гришка закрыл. Дышит мне в самое ухо. А за дверью— возня. «Врешь! Врешь!»— хрипло так. Это матрос наш. Эх, видно, парень был... У меня сердце под глоткой трепещет, само собой. Чего там! Страшно было. Подумал: «Пропали». Смолкло там. И вдруг голос, звонкий, совсем, считайте, мальчишеский: «Я! Дайте я!» Тихо. Ну, просто жутко тихо. Потом— выстрел! Второй... И тяжелое на пол опрокинулось. Убили матроса. А я в черноту провалился.

Очнулся— топот по коридору. И голоса: «Сколько их было?» «Один, ручаюсь». «Нет, двое». Бас такой хриплый: «Только без паники, господа. Верейский! (Очень даже я запомнил эту фамилию. На всю жизнь.) Возьмите двоих. Охраняйте черный ход». «Есть!»— тот же голос мальчишеский. И вроде радость в нем. А бас одобрительно: «Вы молодцом, Верейский!»

Опять меня куда-то в черноту понесло. Как поплыл. И показалось мне: музыку слышу. Веселую такую. Ну, плясовой мотив. Не то «барыня», не то «яблочко». Потом— звон в ушах. Шевельнулся— в левом плече жжет, сил нет. Из темноты голос Гришки: «Жив?» Я: «Жив. В плечо угодило». И вдруг совсем рядом, за стеной, начинает бить пулемет ихний. Аж захлебывается. Гришка шепчет: «Чего делать, Пантелей?» Я ему: «Обнаружат они нас, кончат». «Идти надо?»— спрашивает. «Надо»,— говорю. «Эх!— Это он с отчаянием:— Все один конец. Не мы их, так они нас». И к двери. Я ему: «Осторожно, Гриша». Помолчал он и так томительно: «Пантелей...» «Ну?»— спрашиваю. «Ежели чего... Ты мамане помоги землю вспахать. На пару дней к нам приезжай». «Помогу»,— говорю, а всего меня трясет, само собой. Гришка помолчал и опять: «Еще... слышь? Сарай у нас с северу завалился. Пособи. Ежели чего со мной... Ладно?» «Ладно, Гриша...» Это я ему. А сам себе думаю: «На неминуемую смерть идет».

Тихо он вышел с винтовкой наизготовку. Дверь прикрыл. Шаги. Потом— ни звука. И слышу: в соседнюю дверь стучит. Закрыта она, что ли, изнутри была? Чудно! Пулемет, можно сказать, надрывается. А я его стук слышу. И в ответ бас этот: «Кто?» «Я»,— тихо так Гришка. «Вы, Верейский?» Он сызно-

ву: «Я!» Побойчее. Тоже ведь голос-то был, считайте, мальчишеский. По двадцать третьему нам пошло. Дверь щелкнула. Выстрел! Грохот, возня. И ничем я ему помочь не могу. Пулемет замолчал. И враз за окном: «Ура-а-а!» Наши... И опять потащило меня в темень.

Пришел в себя— тихо. Свеча горит. А рядом Гришка на стуле, кровь по лицу размазал. Весь такой праздничный. «Взяли,— говорит,— штаб. А я троих положил. Одному в живот пулю вогнал. В упор. Так и закрутился. Другого прикладом грохнул, ну, а с третьим мы за грудки». Здесь Гришку затрясло, рвать начало. Стравил и говорит: «Задавил» я его. Аж язык вылез...» И отвернулся к стенке.

Ранило меня несильно. Только чуть кость задело. С неделю руку на привязи потаскал, и все. Затянулось, само собой.

Так Гришка проявил героизм. А потом, дней пятнадцать прошло... Помню, утречко такое яркое, солнышко. И морозец легкий. Выстроили наш отряд на набережной. За спиной Нева мелкой льдинкой трется. Оркестр сбоку, солнце на трубах играет. Командиры стоят кучкой, человек пять, в кожанках, торжественные. И наш, новый, вместо убитого, Федоров, команду подает: «Отряд! Смирно!» Вытянулись мы. Вышел из командиров седой такой, в плечах могучий: «Григорий Морковин! Три шага вперед!» Гришка— три шага. Лихо так, круто. И говорит седой зычно, кругом слышать: «За проявленное героизм, за мужество и отвагу красноармейцу Григорию Морковину выносятся благодарности от командования!» Мы: «Ура-а!» А командир дальше: «И подарок примите, товарищ Морковин, от меня лично. Вы какой номер сапог носите?» «Не знаю»,— Григорий робко так. «Ничего, подойдут.— Командиру сверток передали. Развернул он его, а там сапоги хромовые, блестят все.— Примите, боец Морковин,— говорит.— Носите на здоровье». Гришка как гаркнет: «Служу пролетарской революции!» Командир немного смутился, да здесь оркестр подоспел— грянул во всю мощь «Интернационал»: «Вставай, проклятьем заклейменный!» Мы подхватили: «Весь мир голодных и рабов...» Гришка в строй вернулся, шепчет мне: «В деревню в сапогах заявлюсь». А хромовые сапоги по тем временам, знаете...

...Фитиль давно чадил в лампе, а мы и не заметили. Чуть посветтели окошки. Разочарование наполнило меня. Но я не хотел сдаваться.

— Пантелей Федорович, а вы не помните, в то время у Морковина револьвера не было?— спросил я.

— Как же, был!— И Пантелей Федорович вскопчил с лавки.— Погодите... Того парня— из револьвера?

— Да...— У меня вдруг прервался голос.

— Был у него револьвер. В том доме и взял. У убитого офицера. Как же я пропустил! Все мне показывал. «На память»,— говорит. Старый такой наган, с барабаном. И на ручке, очень даже хорошо помню, гравировка, две буквы, такие кудравенькие. Вроде «Г. П.» или «И. П.». Что вторая «П», точно помню. Именной был. Неужели Гришка... Представить не могу.

— Завтра, Пантелей Федорович,— сказал я,— придется вам приехать в Воронку. Для очной ставки. Часа в два. Машину пришлем.

— Понятно,— сказал Пантелей Федорович.— Раз надо...

— А домой вы вернулись вместе с Морковиным?— спросил я.

— Нет. В том же двадцать первом и разбежались наши дорожки. Он— домой. А я... В пески угодил.



Борьба с басмачами. По своему желанию, само собой. Предложили — я поехал. Как вам объяснить? Полная перемена тогда во всей моей жизни произошла. С хорошими людьми сдружился, с большевиками. До этого так жил, своими думками. Разве сам разберешься! Перевернулась, считайте, вся Россия вверх дном. Как свою дорожку найти? И вот посчастливилось: к настоящим людям притулился. Прочитали мне мозги, растолковали, что к чему. Книжки давали. Ленина, Свердлова. Тогда и в партию вступил. Домой вернулся в двадцать четвертом. С пулей басмаческой под лопаткой. И сейчас там катается. И вот с тех пор дома, на родной земле, само собой. Только что в войну отлучался. Колхоз строили, с кулаками пришлось... Всего было. После войны... Трудно мужику иной раз партийным быть... А я, считайте, секретарь партийный в Архангельских

выселках, в «Богатыре», еще с довоенных годов. Ну как, скажите, яблоньку каждую налогом облаживать? Или кукурузу у нас сеять чуть не на полпосевной площади? Когда не родит она и почву истощает... Обкладывали, сеяли... Зажмешь сердце в кулак и идешь линию проводить. Все было: и сады рубили и коров полуживых на вожжах из навоза поднимали... и баб да детишек силком на работу, и за шестеренку разнесчастную по вагону пшеницы отваливали... Знал я, нутром чуял: все беды переждем. Верили, что придут новые времена. Так, Иван Матвеев, верили?

— Так, — сказал Иван Матвеевич, и в голосе его прозвучало волнение.

— И дождались. — Пантелей Федорович помолчал и вдруг хмуро посмотрел на Гущина. — А с телятами ты, Иван, нехорошо поступил, не по-соседски.

Рад, что кошель потолще? Влепить бы тебе выговор за несознательность, само собой.

— Ладно, ладно! — Иван Матвеевич поднялся с лавки. — О телятах — в другой раз.

— Ишь, сразу в кусты. — Зуев уже без злости подмигнул мне. — Хитрее мужика не знаю.

Мы вышли на крыльцо и окунулись в предутреннюю влажную свежесть.

— Значит, за вами, Пантелей Федорович, придет машина, — сказал я. — Около двух.

— Буду ждать. А о телятах мы еще потолкуем, Иван Матвеевич. В райкоме.

— Ладно, ладно! — недовольно бурчал Гушин.

Павел крепко спал. Еле его добудились.

Было десять минут четвертого. Небо так и не погасло. Теперь розовый свет красил восток, и отчетливо был виден далекий край земли; почему-то думалось, что там, на этой четкой полоске земли, холодно и одиноко. Утро было на востоке, а мы ехали через ночь. Павел включил фары; в прыгающем желтом веере метались серые ночные бабочки; их налетело очень много. Но все-таки уже светало: из окна были видны поля, тихие, застывшие; над ними бродили прозрачные полосы тумана. Ветра совсем не было. На западе громоздились тучи, неясные, расплывчатые, похожие на полотна абстракционистов.

— С озимыми уложились в срок, — сказал Иван Матвеевич. — А вот яровые... Прямо беда! Погода не благоприятствует.

— Как в прошлое лето, — сказал Павел и переключил скорость.

— Иван Матвеевич, — спросил я, — что это за разговор у вас был о телятах?

Гушин усмехнулся.

— Понимаете, Петя, пока что наша жизнь устроена так, что нет одинаковых условий для всех колхозов. Помимо того, что мы получаем от государства, мы сами должны маху не дать. Кто смел, тот и съел. Возьмите поголовье скота. Медленно растет, по директивам не получается. Вот и решаем проблему на стороне. Как? У населения скупаем. Платим чуть побольше государственных закупочных цен. У своих я уже все скупил. Приходится к соседям заглядывать. Вот недавно в их деревне, в Воробышках, трех телочек купили. Порода швиц, загляденье. Ночью пришлось. Не поощряется это начальством. Теперь, конечно, в райкоме буча будет. Пантелей поднимет. А кто виноват, если у меня кой-какие накопления появились, а «Богатырь» еле-еле концы с концами сводит? Я его понимаю, Пантелея, — обидно, и за свой колхоз он болеет. Но, как говорится, своя рубашка ближе к телу. — Сильно качнуло, Иван Матвеевич ударился головой о потолок. — Паша, осторожней. А так уважаю я Пантелея, даже люблю. Мне б такого партийного секретаря. Мужик, крестьянин до мозга костей и все правильно понимает, по-нашему. А вы б посмотрели, как он косит, как за рулем трактора сидит! В страду его дома не ждите. На полях от зари до зари. На таких, как Пантелей Зуев, колхозный строй держится.

«И на таких, как вы», — подумал я. И спросил:

— Вы, Иван Матвеевич, местный?

— Да. Отец мой потомственный мужик. Видно, главное свое мне передал. Вообще-то — я вам уже говорил, я учитель. В Ефанове педучилище кончил. Учителем в деревнях. Войну прошел. Потом — областная партийная школа. В пятьдесят девятом сюда — в председатели. Ну и разбитое корыто я получил! Вспомнить страшно.

— Не жалеете? — спросил я.

— О чем? — Он быстро повернулся ко мне.

— Что вы здесь председателем. Наверно, можно было в городе остаться?

Гушин хохотнул. Павел с удивлением посмотрел на меня.

— Смешной вы, Петя. Я же деревенский! Мужик. Паша, ну-ка, останови. Давайте выйдем, — сказал он мне.

Мы вышли. Было прохладно; поднимался ветерок, он пах свежестью, землей, спелой рожью. Все было в росе, тускло сверкало. Бескрайние поля были кругом под высоким, бескрайним небом. Дышалось легко, полной грудью. Я не люблю громких слов. Но все-таки именно так: жизнь казалась прекрасной.

— Понимаете, Петя, — заговорил Иван Матвеевич, — вот все это мое: поля, простор, ветер. Это у меня в крови. Моя земля. Земля моих отцов. Торжественно, но очень точно. Здесь под каждым метром кости наших предков. Здесь проходили татары. Ведь совсем рядом Куликово поле, вы знаете?

— Слышал.

— Было бы время — съездили. И сколько кругом лилось русской крови! Во все века. И в Отечественную тоже.

— Здесь немцы были? — спросил я.

— На этом месте, где мы с вами стоим, не были. А вот за тем взгорком деревня Дыбовка. В сорок втором спалили ее немцы дотла. Там война и остановилась. А какие кругом бои были, Петя, сколько наших ребят полегло!.. Но неистребимо русское село. Растет народ. — Он посмотрел на меня влажными глазами. — Эх, работать надо! И что здесь можно сделать! Поглядите, сколько земли! Без края. Одно слово — Россия! И сделаем. Только бы не мешали. И людей мало, рабочих рук не хватает. Просто полный зарез. Сейчас зарез, а зимой не знаю, куда парней поставить, к какому делу приткнуть. Тоже проблема. — Он хитро подмигнул мне. — Заговорил я вас, Петя. Ладно, поехали.

Я, кажется, задремал. Впереди уже маячила церковь Воронки. Я даже не заметил, как мы проехали Митькин брод.

Из полусна вывел меня вопрос Ивана Матвеевича:

— Морковина расстреляют?

— Почему именно Морковина?

— Да разве теперь вам не ясно?

— Как вы думаете, — сказал я, — мог Василий, зная о револьвере, взять его и...

— Чтобы Вася убил! — ахнул Павел. — Да он курицу зарубить боится.

— Вы сами, Петя, сказали: остановимся на Сыче.

— До утра, до звонка из прокуратуры, — сказал я, и непонятная тревога, беспокойство, не знаю... дурное предчувствие, что ли, охватили меня. — Если Морковин-старший... В Уголовном кодексе РСФСР есть сто третья статья. Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. До десяти лет. Есть другая статья, сто вторая. Там несколько пунктов. Отягчающие обстоятельства. Заключение до пятнадцати лет или расстрел.

— Повесить его, гада, нужно, — сказал Павел. — Такого парня... Он крутнул головой. — И публично, при всем народе.

— А вы, Петя, за какую статью? — как-то нервно спросил Иван Матвеевич.

— Сначала я должен установить и задержать убийцу, а уже потом думать о статье.

И здесь мое путаное, тяжелое душевное состояние вылилось в конкретные мысли. Сыч убил Михаила. И теперь ушел. Пока я тянул резину, ушел, скрылся. Ночью. Сразу наступило облегчение: раз ушел,

значит, он убийца, все проясняется. А далеко он не уйдет, задержат.

Ушел, скрылся...

Я сказал об этом Ивану Матвеевичу. Гуцин усмехнулся.

— Сыч ушел? Исключено. Вы поймите: для него нет страны, дорог, поездов. У него отмерли участки мозга, которые могли бы воспринимать окружающий мир. Есть только его двенадцатый двор: шестьдесят соток, сад, изба, корова, Марья. Да, вам это трудно представить. Паша! Давай проедем мимо Морковиных, задами.

Мы его увидели издали. За своим огородом, под самым плетнем он выкашивал узкую полоску побуревшей травы.

Согнутая фигура, мерный шаг. Взмахи косой — один за другим. Рассчитанно, неторопливо. Никого кругом. Тишина. Только голос косы:

— Зык! Зык! Зык!

Мы проехали мимо. Сыч не оглянулся. Все тот же мерный шаг, взмахи косой.

— Скажите ему: «Завтра тебя расстреляют». Сегодня он будет весь день косить, чтобы его скотина была сыта. У Гуцина было расстроенное, усталое лицо. — Вам, Петя, надо поспать. Еще рано.

— А вы?

— Где-нибудь днем приткнусь. Сейчас на Звягинские поля поедем. Там ребята ночью косили. Да и наряды распределять скоро.

Спать совсем не хотелось. Но как только я лег на сеновале — бабка Матрена постелила там лоскутное одеяло и положила подушку без наволочки, пеструю, как курочка Ряба из сказки, — мгновенно липкий сладкий сон завладел мною.

20

Разбудил меня Фролов. Он был встревожен.

— Прибыл шеф. Похоже, разгневан. Просил разыскать вас.

«Только этого не хватало», — подумал я и посмотрел на часы. Полдевятого. Уже жаркое солнце било в глаза.

И, окончательно проснувшись, я понял, что весь наполнен непонятной тоской. Липкой, тяжелой.

— Из областной прокуратуры не звонили? — спросил я.

— Нет. — Фролов с любопытством посмотрел на меня. — Дали санкцию на арест Василия Морковина?

— На подписку о невыезде.

— Зря. Ведь сбегал. А в отпуск приехал. Мотив довольно веский. Я склонен подозревать младшего, а не старика, который копается себе в огороде.

«В этом есть логика», — подумал я.

— Вы говорили с шефом?

— Не успел. Перекинулись двумя словами. Очень недоволен медлительностью. Я вам советовал, Петр Александрович: взять обоих, перекрестный допрос. Еще было время...

— Я веду дело? — резко спросил я.

— Ну, вы. — Фролов удивленно посмотрел на меня.

— И предоставьте решать мне! — закричал я. — В советах не нуждаюсь! «Заткнись, кретин», — запоздало одернул я себя.

Фролов не ответил. Лицо его стало обиженным и насмешливым.

Около правления колхоза стояла знакомая синяя «Волга». Рядом быстро шагал взад и вперед Николай

Борисович. Большой, тяжелый, в парусиновом костюме. Увидел нас, остановился. Мы подошли.

— Здравствуйте, Николай Борисович, — сказал я.

— Здравствуйте, Петр Александрович. — Он протянул мне руку («Петр Александрович», — удивился я), открыл дверцу машины. — Садитесь.

Я сел.

Николай Борисович тяжело плюхнулся за руль, включил мотор. Поехали. Молчали. Я видел красную, напряженную шею своего шефа и понимал, что он злится. Все равно. Безразличие охватило меня: «Черт с ним».

— Напрасно вы, Николай Борисович, утренние часы портите, — сказал я, впадая в привычный иронический тон. — Половили бы рыбку.

Он не ответил. Выехали за деревню, остановились в тени придорожных кустов.

— Выйдем, — сказал Николай Борисович.

Вышли.

— Сядем.

Сели на пыльную траву.

— Ты что, враг себе? — тихо спросил он.

— В чем дело, Николай Борисович?

— Ты выявил убийцу?

— У меня есть... — Я хотел сказать «подозреваемый» и сказал: «...подозреваемый».

— «Подозреваемый»! — повторил Николай Борисович, скрывая раздражение («Сказал ему Фролов о Василии или нет?»). — И чего ты с ним церемонию развел?

— Мне еще не все ясно.

— Петя... — И я увидел, как он волнуется. Он даже вспотел. — Я желаю тебе только добра («Почему он так усиленно желает мне добра?» — впервые подумал я). Я еще вчера утром знал суть дела. Это — легкое дело. Я специально послал тебя на него. Чтобы начало твоего самостоятельного пути было эффективным. Согласись, это очень важно.

«Ну и дайте мне мое первое дело довести до конца самому. Я хочу во всем разобраться. Сам. Понятно? Сам! Нет, уважаемый Николай Борисович, я не буду посвящать вас в логику своего расследования... А в чем заключается моя логика? Я хочу понять... Да, это для меня даже важнее. Не только кто убил, но почему? Почему?»

Я лег на спину. Трещали кузнечики. Над нами легкими кругами плавал ястреб. В ушах возник звон. Издалека доносился голос Николая Борисовича:

— Пойми, крупный ты корабль. Дальнее тебе предстоит плавание. (В последнее время он часто говорил мне это.) Морковина надо было взять через несколько часов. Собрать самые элементарные сведения, взять и прижать к стенке. Раскололся бы. Как миленький. И улики бы нашлись. А что получается? Вторые сутки идут. («Фролов не сказал ему о Василии Морковине».) Вот что. Давай вместе, сейчас возьмем Морковина... — В голосе его не было уверенности. Что его смущало? — Я сам допрошу его. Ты увидишь, как это делается.

— А если я сомневаюсь? — Я сел, и наши взгляды встретились; в глазах Николая Борисовича трепетал лихорадочный огонек.

— В чем сомневаешься?

— В том, что Михаила убил Морковин-старший.

— Старший? Да, мне говорил Воеводин. («Ну, еще бы! Какую радость я ему доставил. Представляю: «Новенький вроде запутался».) Зачем тебе понадобится его сын? Постой! Ты подозреваешь Василия Морковина? У тебя есть для этого причины?

— Нет, — солгал я. — Он мне нужен как свидетель.

— А что убийца этот старик — сомневаешься? — В голосе Николая Борисовича было нетерпение.

— Да! На полпроцента, но сомневаюсь. («Какие-то idiotские полпроцента», — подумал я.) Тоска сгустилась. Она была огромна. В сто раз больше моих сил противостоять ей.

— Тебе нездоровится? — спросил вдруг он.

— Мне отлично!

Николай Борисович заговорил медленно, спокойно, и металл был в его голосе.

— Если даже ты сомневаешься на десять процентов, на двадцать! Все равно Морковин должен быть арестован.

— Почему? — Кровь жарким потоком хлынула к лицу.

— Потому что, раз совершено преступление, правосудие должно найти преступника и осудить его.

— А если человек невиновен? — Черт! Я еле говорил. Сжало горло. Это у меня и раньше случалось. На нервной почве.

— Морковин невиновен? — раздраженно спросил он.

— Ладно. Допустим, что виновен... Ну, а если нет... Если нет! — заорал я.

Николай Борисович продолжал все так же спокойно и тихо. Наверно, для него было очень важно заставить меня думать, как он.

— Подожди. Ответь мне сначала на вопрос... — Он подыскивал слова. — Отвлекись... Представь — перед тобой дилемма: интересы Морковина и интересы общества. Чьи интересы ты выбираешь?

— Морковина! — быстро сказал я.

— Ты допускаешь грубую ошибку. — Николай Борисович внимательно, с надеждой (или мне показалось, что с надеждой?) смотрел на меня. — Пойми! Морковин — единица, крошечная мошка. А общество — миллионы.

— Но общество состоит из таких единиц! — закричал я. — Юрист всегда имеет дело с конкретным человеком, с конкретной судьбой. И отвечает за эту судьбу!

— Все это абстрактный буржуазный гуманизм, — жестко сказал он. — Не забывай, никогда не забывай: ты служишь классу. Пойми, Петя, пойми! Мы одна из тех инстанций, которая создает социальный климат страны. Это принципиально важно! — Николай Борисович вытер платком мокрое лицо. — В этом климате может совершиться преступление. Или не может. Это во многом зависит от нас. Убит человек... Ты смотришь: кто убитый, по каким мотивам... Ты вникаешь в суть — запомни! — с классовых позиций. Ты ищешь убийцу. Он должен быть найден! И это прежде всего важно не для убитого — что ему? И даже не для убийцы. А это главное для тех, кто рядом. Конечно, конечно... В его голосе промелькнули неуверенные нотки. — Бывают ошибки. Трагические ошибки... Но... Зажми сердце в кулак! Будь выше эмоций. Ты служишь идее! Ты выбрал себе тяжкий крест... За него не говорят спасибо... — Взгляд Николая Борисовича блуждал по моему лицу, и у меня было такое впечатление, что он меня не видит. — Помни: в любом случае акт наказания должен состояться.

— Но почему? Почему?

— Потому что в крайнем случае пострадает один человек, а выиграет все общество. Люди, находящиеся в зале суда...

...Когда я учился в шестом классе, у нас физику преподавал некий Корней Степанович Лященко, длинный, худой, язвительный, с ртом, набитым стальными зубами. У него была привычка: снимать с руки золотые часы и класть их перед собой на стол или на край первой парты, которая была вплотную придвинута к столу. Корней Степанович отличался редкой пунктуальностью, и его уроки были четко

рассчитаны по минутам. Он подходил к столу, брал часы, рассматривал их, говорил: «Ну-те-ка! А теперь перейдем к повторению». И клал часы на место. Еще он был завучем.

Однажды кончился урок физики, а следующим была ботаника. Но после звонка в класс опять вошел Корней Степанович. Не вошел — влетел. Его как-то всего скривило.

— Кто взял мои часы? — тихо спросил он.

Класс загудел: у нас не было воров.

— Кто украл мои часы? — закричал Корней Степанович.

— Нам не нужны ваши часы, — сказал кто-то.

— Райзмин! Выйди из-за парты.

Геша Райзмин сидел за первой партой. Это был тихий худой мальчик, сын сапожника, который работал на углу у нашей школы в своей коричневой будке.

— Ты украл часы? — вкрадчиво спросил Корней Степанович.

— Нет, я не брал, — сказал Геша.

— Выверни карманы.

Геша вывернул пустые карманы. Его большие глаза медленно наполнялись слезами.

— Дай портфель! — закричал Корней Степанович.

Он перерыл портфель; часов там, конечно, не было. Тогда он полез в парту и вынул оттуда свои золотые часы.

— Ну? — радостно сказал Корней Степанович. — Что скажешь?

— Не знаю... — прошептал Геша. — Я не брал.

— Вор! — взвыл Корней Степанович, и из его стального рта полетели слюны. — Вор! — Он замахнулся на Гешу и еле сдержался. — Из школы вылетит мерзавец! В два счета!

— Я не брал, не брал!... — в ужасе шептал Геша, и по его худым щекам ползли слезы.

— Да они, наверно, упали в дырку для чернильницы! — обрадованно закричал кто-то. — Смотрите, там же нет чернильницы!

Класс облегченно вздохнул.

— А-а! Вот что! Вы все заодно! — закричал уже визгливо Корней Степанович. — Воры! Шайку организовали. А ты! Ты!... — Он тряс перед носом Гешу длинным пальцем. — Ты у меня заплатишься! — Он вошел в раж и уже не мог остановиться. — Ворюга!

— Не брал... не брал... — И вдруг Геша бросился из класса.

— Ребята, за ним! — крикнул наш староста Вова Березин.

С дикими криками мы вырвались из класса — все тридцать шесть человек. Мы так никогда не кричали. В эти вопли мы вложили весь свой гнев и всю свою растерянность. Я запомнил, что Корней Степанович стоял, как столб, раскинув руки, и на его ненавистном лице был испуг.

Мы нашли Гешу в будке отца. Он уткнулся ему в плечо и сквозь рыдания повторял:

— Папа... не брал... Честное пионерское... не брал... Клянусь жизнью мамы... не брал...

— Я верю тебе, сынок, я тебе верю, — говорил его отец, мужчина с курчавой головой и черными от масел руками. Вид у него был потрясенный: он не знал, что делать.

Гешу Райзмину исключили из школы. И тогда наш класс взбунтовался: мы сначала срывали уроки Корнея Степановича, писали ему гадости на доске, а до этого была у него идеальная дисциплина. Потом мы стали срывать все уроки, даже у любимых учителей. Мы хулиганили на переменах. Наш бунт перекинулся в другие классы, которым, наверно, было просто приятно брать с нас пример. Вернули в класс

Гешу Райзмина, вынужден был уйти в другую школу Корней Степанович. Но до конца покой не восстановился в нашем маленьком обществе из тридцати семи человек. Мы ожесточились, мы стали хуже учиться и больше ссорились между собой, мы окончательно перестали верить в непогрешимость взрослых и в справедливость их мира. И эти чувства росли вместе с нами.

— ...люди, которые прочитают в газетах о том, что преступление не осталось безнаказанным, поймут: любое нарушение правопорядка не остается без последствий, от возмездия за содеянное увильнуть невозможно. И это в целом воспитывает массы в духе уважения перед законом!

Николай Борисович выжидающе смотрел на меня. — И пусть пострадает невинный человек, да? — закричал я, проглатывая нервный комок. — Это неважно?

Он заговорил мягко, даже с сожалением и с явным чувством превосходства:

— Я понимаю тебя, Петя. Благородно, идеально... Молодость, еще не соединенная с практикой нашего жестокого века. Странно... Откуда? Почему? В вашем поколении отсутствует классовый корень. Пойми, это должно быть постоянным состоянием твоего духа: благо общества — превыше всего! Для этого требуется государственная мудрость, классовое чутье. — И он ринулся, как в атаку: — Что же, пусть пострадает невинный, если это нужно для блага общества!

— С того момента... — зашептал я, давась комком в горле, — с того момента, как будет арестован невинный человек... Если это не случайная ошибка, не недоразумение... Как бы вы ни объясняли! Интересам общества, классовым чутьем, высокой политической... С того момента будут открыты двери самым грубым силам, низменным инстинктам, всем проявлениям зла. Беззаконие станет законом!

«И так уже было», — подумал я.

И он понял, что я подумал...

— Оставим этот спор, — устало сказал Николай Борисович; на лице его несколько мгновений были напряжение, усталость, разочарование. Потом оно стало спокойным, даже безразличным. — Мы никогда не пойдем друг друга.

И я увидел: Николай Борисович Змейкин потерял ко мне всякий интерес.

— Вернемся к твоему делу, — вяло сказал он. — Что ты намерен делать?

— Мне нужно выяснить некоторые детали.

— Какие же? — Он усмехнулся. — Если не секрет.

— Мне не совсем ясны мотивы убийства.

На лице Николая Борисовича появилось легкое оживление.

— Тебе придется согласиться со мной, — сказал он, но без всякого энтузиазма. — Разве не собственность сделала Морковина убийцей, закрыла от него весь мир? Человек-собственник — это человек-зверь. Потом зависть. К молодости, к успеху, к материальному благополучию, достигнутому легче, веселее, без дикого напряжения.

Он был прав. Если остановиться на Морковине-старшем. Он прав. И это злило меня, выводило из равновесия.

— Ладно, — остановил себя Николай Борисович. — И так?

— Мне надо несколько часов на исследование, — сказал я.

— Но зачем?

«Ни о револьвере, ни о Василии я ничего не скажу. Пока это мое».

— Надо кое-что выяснить, — упрямо повторил я. —

Часа в три убийца будет арестован, и он во всем признается.

Николай Борисович восторженно.

— Признается? Такие люди, как этот Сыч, не признаются. Он будет все отрицать.

«Он и отрицает», — подумал я.

— Он признается! — сказал я.

«Если Морковин-старший — убийца», — подумал я.

Николай Борисович пожал плечами.

— Хорошо, поступай как знаешь.

И он пошел к машине. Я больше не существовал для него.

Хлопнула дверца. «Волга» уехала.

Я смотрел на шлейф пыли, который вырастал на дороге.

«Он хотел повториться во мне, — думал я. — Ему надо оправдать свою жизнь. Для кого? Для себя? Наверно... Ему скоро шестьдесят лет».

Я шел к деревне. Небо на глазах заволакивало серой мглой. Солнце было похоже на круглый желтый фонарь. Торопливо, испуганно трещал невидимый хор кузнечиков. Пахло полынью.

Да, и, несмотря ни на что, он все-таки прав. Морковина-старшего погубила частная собственность: его двенадцатый двор.

Двенадцатый двор...

И я поймал себя на мысли, что готов примириться с тем, что Михаила убил Сыч. Будто отпали все сомнения. Нет, нет! Это я допускаю только теоретически.

Хорошо. Пусть так. Михаила убил Сыч (теоретически). Причины... Частная собственность? То, что лежит внутри его психологии? Да. И все-таки не только это. Есть еще и другие причины, внешние. Среда, в которой проявляются внутренние причины, спрятанные в психологии человека.

И я остановился, будто налетел на невидимую преграду.

Он даже не подозревает, как прав! «Мы одна из инстанций, создающая социальный климат страны... В нем может или не может совершиться преступление...»

Уже не было тоски, которая охватила меня утром. Я спешил действовать. Действовать — значит постигать.

И на этой пыльной дороге, под пасмурным небом меня начала тревожить мысль, которая и раньше часто не давала мне покоя. Насилие всегда порождает ответное насилие. Пролитая кровь ведет к новому кровопролитию. Неужели это порочный круг? Как прорвать его? Как найти формулу борьбы со злом, которая была бы не кругом, а прямой, восходящей вверх, к звездам?..

У правления колхоза меня ждали оба участковых и Фролов.

— Морковин у себя в огороде, полет с Марьей картошку, — сказал Захарыч. Он был трезв и хмур. Похоже, не выспался.

Фролов выжидающе смотрел на меня.

— Из областной прокуратуры не звонили?

— Нет.

— Чего они там тянут? — Я опять начинал злиться. — Вызовите милицейскую машину. Для ареста. — Результат легкой бани? — с ехидцей спросил Фролов.

— Как придет машина, поезжайте с ней в деревню Архангельские выселки, привезите Зуева. Секретарь парторганизации там. Он предупрежден. До двух надо быть здесь.

Фролов с любопытством посмотрел на меня, но ничего не спросил.

Было четверть одиннадцатого. Редкие капли дождя ставили черные точки на пыльной дороге.

«Итак, Михаила убил Морковин-старший. Предположим, что это доказано. Почему?»

21

Во дворе Брыниных мать Михаила стирала белье. Вороха пены вздымались в длинном корыте. Мелькали красные руки. Рядом на расстеленном одеяле тихо играли Володя и Клава.

Звали мать Михаила Елизаветой Ивановной. Лицо ее было по-прежнему заплаканным и опухшим, только появилась в нем, не подберу точного слова, деловитость, что ли.

Елизавета Ивановна отвела меня на терраску. Сели.

— Сынок, — спросила она, — а на деток нам теперя пенсию али какую способию давать будут?

— Будут, — сказал я.

Ее лицо посветлело.

— Скажите, Елизавета Ивановна, — спросил я, — из-за чего все-таки ссорились ваш сын и Морковин?

— Да как сказать... Не любили они друг дружку. Только, скажу тебе, сынок, Миша-то наш, он ведь ангел был... — И по ее щекам покатились слезы. — Сколько раз к Сычу, выродку ентому, сам с дружбой подходил.

— С дружбой? А вы можете привести какой-нибудь пример?

— Вот помню на свадьбе Миши и Ниночки... Летом было, в июле. Столы под яблоньками поставили. Гостей — человек пятьдесят, добрая кумпанья. Угощение, сынок, было дай бог всякому. Боровка мы закололи, Миша мясо на базар в город свез, да я с книжки сняла. Для родного-то дитя разве жалко? И студень на столах, и сало, и котлетки, а яблоки у нас моченые, ну крепенькие, аж хрумят. Капустка там, огурчки. Кваску я наварила, ядреный. А на стол его прямо со льду, с холоду. Ведь мы как в погребе лед держим? С зимы на речке нарубим — и в погреб, сверху газеты и землей присыпим. Он там и соблюдает холод до новой зимы, твердый, каляный. Что ваш холодильник. Да... Мясо, конечно, горячее, паровое, курицы. Из города кой-чего Миша привез. А вина — хошь обпейся. Грех на душу приняла — самогоночки наварила. Все дешевле — рупь литра выходит. Только по такому случаю и сварила, ей-богу. А потом — ни-ни. Вот тебе крест.

Утром сели, а к обеду уже — веселье. Мишенька с Ниной во главе, конечно, стола. Миша в черном костюме. И галстучек. А Нину в белое платье обрядили. Ровно вишенка в цвету. Одно слово — молодые... И за что ж нам такое наказание? Чем мы бога прогневали?.. Нина вина — ни капельки. А Миша принял самую малость — и все. Нельзя. Правило блюдут. Сидят, ровно голубки. Только друг на дружку — глазками. Ну, гости: «Горько! Горько!» Поцелуются тихо так. Смотреть дорого. Кто ж думал-то!.. За одним концом у нас старики. Они послабже, уж завеселели, кой-кто, чего греха таить, губы растряпал, расслынявился. Песню играть стали — «Ревела буря, дождь шумел». Мужики деловые об своем: уборка, машины, скотина. Слышу — и про баб. Ну, мужики, они и есть мужики.

А рядом с молодыми посадила я парней да девок, подружек Нининых. Сидят, ровно тебе цветки на лугу. Тута, сынок, своя жизнь: и смех, и байки. Хведька — шофер, сосед наш, вижу, Тоньку обхаживает, то есть руки его блудливые все до ее да до

ее. А она так незаметно руки скидает, и сама — в краску. Хведька, знамо дело, котишша, так и глядит, иде урвать. Другие подружки — всяк свое. Одну завидки берут, другую в грусть-тоску кинуло, третья так, веселая — и все. А гармонист наш, Андрейка, совсем пьяной. Голову свою кудлатую на струмент положил, считай, спит. Ан нет! Играет чего-то. Он гармонист первейший. Как иде свадьба — его кличут. Ну, играем свадьбу. Все хорошо идет, как у людей: песни, разговоры, шум такой праздничный. Кушают хорошо. И никакого там скандалу али фулиганства. Я, конечно, промеж столов шатаюсь: кому подать, кому налить. Всяк выпить тянет.

Помню, побегла в избу за хлебом. Вертаюсь — тихо за столами. Слышать даже, как улей пчелами гудит. Он у нас один и есть. Вон под яблонькой приутился. Не по себе мне издалось. Все головы в одну сторону повернуты. Гляжу, Сыч у своо плетня стоит. Руки на перекладину положил, большие, темные. И глазами по столам водит. Такие, сынок, тяжелые глаза, прямо ночь в них с молнией. Встретилась я с ыми и прямо согнулася. Ровно пришиб, ирод. И вся свадьба под его взглядами сникла. Что делать? Думаю: «Ну чего они злобу таят? Праздник у нас такой. Можно сказать, раз в жизни». Я к Мише: «Замирись. Пригласи к столу. Как светло-то будет!» «Верно, мама». Это Мишенька мой. Ангелом он был. Вся сердца — для людей... Ох... На кого же ты нас оставил, сы-ночек!..

Подошел Миша к плетню. Его мне со спины видать, а Сыча — в лицо. Темное такое лицо, ровно туча. «Послушай, Григорий Иванович, — тихо так Миша, с душой. — Ведь соседи мы. Долго волками жить? Раз так с Ниной... Ну, что случилось, давай забудем. Что не так было — извиняй. А я к тебе злобы не имею. Вот свадьба у меня. Иди к столу, гостем будешь. Выпей чарку, поздравь нас. Будем по-соседски жить, по-хорошему». Гляжу, дрогнуло у Сыча в лице, будто солнышко на его брызнуло. И в глазах потеплело. «А мой Васятка в город подался, — тихо так Сыч. — Там счастье шукает».

Ведь всяко бывает промеж людьми. Из чего у нас с Сычом, считайте, война пошла? Ой, точно люди говорят: сердцу не прикажешь. Поначалу была вроде у Васьки Морковина любовь с нашей Ниной. Ну, встренутся, на улицу вместе, в клуб там. Вроде к свадьбе дело шло. А тут мой Мишенька с армии вернулся... Ой, горюшко мое!.. Увидел Нинку и обмер. А она от него глаз не отведет. Так и стряслось. Вроде перешел Ваське дорогу. Так ведь не нарочно! Не то что удумал: «Дай перейду». А любовь их обоих зажгла, в омут свой огненный потянула. Дальше что? Васька, конечно, в горе впал и в злобу. Извелся. Да разве мы не понимаем? Только как помочь? Ну, жить надо. Стал на других девок смотреть. И как раз в то лето Надежду взял, и уехали они в город. Да... «Идем, идем!» — Мишенька торопит. Это на свадьбе-то, у плетня. И уже сделал Сыч первый шаг к калитке.

И как раз — надо же! — пятитонка к нашей избе подкатила, вон к воротам. А в кузове сервант новенький так и играет на солнце. И комсомольцы наши, дружки Мишины, Ванька Грунев, Жарок, кричат: «Примай, молодые, подарочек от колхоза! Прямо из райунивермага везем!» Оказывается, наш председатель средств отрядил. Миша-то — первый комбайнер в колхозе. Председатель у нас, сынок, очень правильный мужчина, с линией. До людей она, линия его, идет. Все в ладоши хлопать, смех. Андрейка проснулся, туш на гармошке вдарил. Мишу кличут сервант сгружать.

Про Сыча забыли. А глянула я — только спина Сы-

чова. Идет к своей избе и прямо по грядкам, по грядкам... Так и не пошел к столу, за миром. ...Ирод он! Ирод! Ты, сынок, не сумлевайся: Сыч — повинник. Он Мишу мово...

Елизавета Ивановна плакала, вытирая слезы рукавом.

— И больше Михаил не звал Морковина к столу, на свадьбу? — спросил я.

— Какой звать! Ведь Сыч чего удумал? Вызвал из стола Хведьку-шофера. Не сам вызвал — Марью прислал. Вызвал и подрядил в Ефанов ехать. Подхватился себе сервант покупать.

— Интересно! И купил?

— Знамо, купил.

— А поподробней не расскажете, как дело-то было?

— Да вроде не знаю доподлинно, — сказала Елизавета Ивановна. — Вы лучше Хведьку-шофера спросите. Он дома. Я видала, бензовоз его у избы стоит. За три двора от нас.

Мы вышли вместе. Володи и Клавы на одеяле не было.

— Ой, господи! — всплеснула руками Елизавета Ивановна. — Должно, опять в малинник убегли. Вы уж извиняйте! — И она пошла в сад.

Было двадцать минут двенадцатого. Дождь не собрался, но небо все в тучах. Срывался шальной ветер и вдруг сразу затихал. В этой короткой тишине было, казалось, предупреждение.

В переулке появились люди: парни, девушки, старухи. Они стояли кучками, что-то обсуждали, смотрели на меня. Когда я проходил мимо, разговоры умолкали. Я услышал, как мужской голос сказал у меня за спиной:

— «Раковая шейка» приехала и куда-то подалась.

«Значит, пришла машина, и Фролов поехал за Зуевым», — подумал я.

В глубине переулочка около свежих бревен, сваленных как попало, стоял пыльный, грязный бензовоз.

ный, у избы на приколе стоял. Вот как сейчас бензовозка, чтоб ей, вонючке, неладно было.

Стали Сыч с Марьей собираться. Смотрю, Сыч в сарай зашел, долго там канителится. Потом появляется на свет с двумя здоровыми замками. По пуду! Потеха! Один на сарай вешает. И руки у него мандражат. Второй замок — на дверь избы. Попробовал еще, хорошо ли закрылся. К тому ж головой качает. И лицо такое — в расстройстве. Потом, смотрю, к собачьей будке подошел, по коленке стучит. Вылез кобель, здоровый, лохматый. Сыч его на кольцо по проволоке пустил. Поперек двора. Кобель бегать туда-сюда и на мою машину рыкать. Лютый был — не подходи. Вижу, Сыч посветил, говорит тихо так, вроде даже ласково: «Так, собака, так их, голодранцев, собака...» У него тот кобель без имени был. Да сколько собак у Морковиных перебивало — все без имени.

Дальше. Сели они с Марьей в кабину. Поехали. Поначалу Сыч все назад оглядывался, на свой двор. И трясет его, да и только. Молчали всю дорогу. Хоть бы вот слово.

Приехали в Ефанов. Подкатываю их сиятельство к райунивермагу на Красной площади. Как раз после обеденного перерыва вышло. Машины стоят, жара. Бензином прет. Ох уж мне этот аромат! Я еще запомнил — потеха! Столбик с дощечкой: «Стоянка гужтранспорта запрещена». А к столбику-то лошадка привязана. Лохматенькая, шустрая и сено жует. Уже своих рыжих котят шарам навалила.

Дальше. Вошли они в универмаг. Я за ими. Любопытство берет. Хороший в Ефанове универмаг, новый. Идет Сыч со своей Марьей вдоль прилавков. Вид кругом! Посуда блестящая, детские игрушки, всякая там галантерея, костюмы да платья на плечиках висят, ткани всевозможнейшие — все рулонами, рулонами, телевизоры, приемники. Пластинка на радиоле крутится, веселую музыку играет. Я на Сыча: как он все это дело воспринимает? Ведь, считайте, лет двадцать, а то и больше нигде не был, магазинов нынешних не видел. И вот чудно: никакого удивления. Тускло так в глазах, ровно ничего не видит. А Марья, смотрю, очнулась, интерес появился в глазах, даже щеки румянятся начали. Взяла она Сыча за рукав и робко так: «Гриша, можа, ситчика мне на платье посмотрим? Эвон выбор какой». Сыч только на нее глянул, ну, как придавил. И смолкла Марья, увяла враз.

К ним продавщица подходит, девчонка. В халатике синеньком, волосы белые и целым кулем на голове, а глаза — в пол-лица. Рисовать они их так научились. Кинула она на меня своими громадными глазами — в груди так и затрепыхалось. «Вам, товарищи, чего?» — спрашивает. «Сырвант», — говорит Сыч. «Мебель у нас в последней секции. Идемте». И пошла впереди. Смотрю — походочка! Одной ногой пишет, другой зачеркивает. Я к ей: «Между прочим, у меня своя машина. После работы могу вас до дому с ветерком доставить». Она не остановилась даже: «Из-под ногтей грязь вычисти, кавалер!» И дальше идет. Отшила. Потом в парке я ее на танцах видел с офицером каким-то кривоногим. Вот зараза! «Грязь вычисти!»

Дальше. Подошли к мебели. Столы, шкафы всякие, тумбочки. И сервант. Один стоит. Ровно конь всроной середь заморенных кобыл. «Последний остался». — Это продавщица. Нет, какая подлючка, а? «Грязь вычисти!» Повкаливала б с мое за баранкой, я б посмотрел на ее ручки. Ладно. Сыч и Марья стали сервант обсматривать: щупают, ящики отодвигают, заглядывают, по доскам стучат, прочность то есть пробуют. Сыч ногтем лак колукает. Потеха!

22

«Хведька-шофер» оказался высоким, ладным парнем. На нем ловко сидели спортивные брюки в обтяжку и пестрая ковбойка; движения его были легки и уверенны, бесшабашность, ухарство чувствовались в нем и полное доверие собой и своей жизнью.

Он вышел из избы, что-то дожевывая на ходу. Мы устроились на бревнах, остро пахнущих смолой. Стали подходить парни. Здоровались, с любопытством смотрели на меня.

— Рассказать, конечно, можно, — начал Федор. — Потеха! В чем любопытство? Ведь Сыч от своего двора ни разу не отходил дальше шоссе. Когда старуху на базар провожал. Вот сколько мы его знаем, все здесь, при своем хозяйстве. Даже в магазин за табаком в Мечнянку жену посылает. Она у него старуха ходовитая. А чтоб сам — нет. Все боится, что обкрадут. Так вот. Вызвала меня его Марья. А мне от Тоньки отлупить неохота, вроде уже обмякла, идет на сближение. Потеха! Однако думаю: «Бизнес есть бизнес». Пошел к ним во двор. Подряжает Сыч в Ефанов ехать. «Зачем?» — спрашиваю. «Сырвант купить», — говорит. А самого, вижу, трясет. Начали рядиться: он — пять рублей, я — пятнадцать. Спорим — дым коромыслом. Сговорились на десятке. Тоже, думаю, деньги, на дороге не валяются. Я тогда на самосвале работал. И он у меня свобод-

Толпу собрали. Продавщица, вижу, с насмешкой на них глядит. Наконец Сыч спрашивает: «Сколь?» «Вот написано: восемьдесят пять», — отвечает. Сыч совсем темный с лица стал. «Они напишут», — шепчет. — Подешевле никак, да? Продавщица ехидно так: «Вы что, дядя, на базаре?» Вот стерва! «Грязь вычисти!» Сыч за пазуху полез, долго рылся. Узелок достал, деньги отсчитывает. Уж он считал, считал, пересчитывал, пересчитывал. Мне и то тошно стало. Заплатил. Потасили мы сервант в машину. Меня такое зло что-то взяло — и на Сыча и на сервант. Но главное — на эту продавщицу. Фитюлька ведь, соплей перешибешь, а тоже себе с гонором. Смотрю: у машины пацаны. «Еще мотор, — думаю, — раскурочат». Шуганул их, а одному такого пенделя отвесил — закувыркался.

Погрузили сервант в кузов. Сыч все стонет: «Тихо, не дергай! Легонько!» «Легонько», чтоб его черт взял! «На кой тебе этот сервант сдался? — спрашиваю. — Что ты в него ставить будешь?» А Марья как заголосит! Я даже испугался. Сыч молча в кузов полез. Перевалился через борт, говорит: «Поехали. У меня гуси не кормлены». «Чтоб они у тебя все попередохли!» — думаю. Не знаю с чего, только такая злость во мне клокотала! Ко всему свету.

Погнал я на всю железку. Марья слезы утирает. Смотрю в зеркальце: Сыч сервант, как бабу, обхватил. Если толчок, весь он кривится, ровно больно ему, прямо себя под сервант подкладывает. Потехал! А я нарочно — по ухабам, по ухабам!

Приехали. Сыч из кузова сиганул. Откуда прыть взялась. Смотрю, побежал замки щупать. Потом кобеля в будку загнал, доской прикрыл. В сад сбежал. Только тогда стали мы сервант сгружать. В избу потасили. А за плетнем, у Брыниных, свадьба шумит, никто и не смотрит в нашу сторону. Еле через дверь сервант этот проклятый продрали, во вторую половину внесли. Поставили. Смотрю: лавки темные по стенам, кровать старая, комод. Ему, наверно, лет сто — весь облезлый и в дырках от жучка. Сервант здесь, будто принц какой. И совсем он не к месту. Ладно. Мое дело — сторона. Дал мне Сыч красненькую. Неохотно так. И я пошел. Через двор шел, в окно заглянул: сидят они оба возле своего серванта, замерли, головы поопускали, не смотрят друг на дружку... Опять тоска меня проняла. Да такая! Весь свет не мил. Отогнал машину к своей избе, вот так же, как эту несчастную бензовозку, поставил. И снова на Мишкину свадьбу. Дружок он мне был... Напился как-то сразу. Вот и все. Вся история с сервантом.

Мы помолчали.

Я спросил:

— А было так, чтобы Михаил несправедливо обижал Морковина?

— Нет! — решительно сказал Федор. — Не было такого.

— Если только из-за коровы, — сказал парень в кургузой кепочке.

— Что из-за коровы?

— Да тут мы одну идею проворачивали, — заговорил тот же парень. — Коров в колхоз сдать. Кто хочет, конечно. Добровольно. А молоко прямо с фермы. От пуза. По пять копеек за литр, если брать по два литра на едока, и по семь — сколь хошь. Иван Матвеевич предложил. Для облегчения хозяйкам. А за коров, само собой, колхоз платит по государственной цене.

— И многие сдали коров? — спросил я.

— Не очень. Но кой-кто сдал. Вот Брынины.

— Я сдал, — сказал Федор.

— А что с Морковиным вышло?

— Три дня как было. Миша надумал к Сычу пойти агитировать. — Парень в кепочке был словоохотливый и собрался рассказывать.

Я посмотрел на часы. Семь минут второго.

— Ладно, — сказал я. — Сам узнаю у Сыча. Спасибо.

Я пошел ко двору Морковиных. Народ в переулочке все прибывал.

Появились девушки, женщины. Мне показалось (наверняка показалось!), празднично одетые. Был уже здесь мужчина в тельняшке и бриджах, из которых вываливался живот, со своим велосипедом.

Все были возбуждены. Все чего-то ждали.

23

У калитки Морковиных стояли оба милиционера — Захарыч, опять, кажется, в легком хмеле, и молодой.

«Видно, Фролов распорядился, — подумал я. — Зачем?»

Молодого милиционера все называли Семенычем. Было Семенычу лет двадцать; лицо молодое, сытое, с круглыми щеками, довольное. Сейчас на нем не было страха, как вчера, когда он охранял труп Мишаила, а были значительность и суровость. И заметно было, что Семенычу приятно стоять на посту, на виду у всей деревни. Когда я подошел, он браво вытянулся, даже, кажется, щелкнул каблучками и доложил громко, чтобы слышали все:

— Никаких происшествий, товарищ следователь! Оба, то есть преступник...

— Какой преступник? — резко перебил я.

— Ну... То есть Сыч... — И Семеныч вдруг начал буйно, по-юношески краснеть. — И жена его Марья на огороде.

— Картошку полют! — рявкнул Захарыч и тоже вытянулся, выставив живот.

— Хорошо, — сказал я. — Ждите меня здесь.

Я прошел через двор, через густой зеленый сад — в огород. Да, Морковин и Марья окучивали картошку. Он в одном конце огорода, Марья в другом. Мерно поднимались и опускались тяпки, переворачивая влажную землю.

Они медленно двигались навстречу друг другу. И опять я почувствовал всю нелепость и противоречивость ситуации. Если он убил, чего ждать, на что надеяться?

Морковин увидел меня, разогнулся, вытер рукавом пот с лица. Медленно поднимались и опускались тяжелые веки. Ни страха, ни удивления на лице. Одно безразличие. И покорность судьбе. Или нет. Наверно, только сейчас я придумал эту покорность. Одно безразличие. Какое-то тупое безразличие ко всему.

Я подошел.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здравствуйте.

— Мне нужно, гражданин Морковин, задать вам несколько вопросов.

При слове «гражданин» тень набежала на его лицо и сейчас же исчезла.

— Задавайте. Только вот работа у меня. Опять вроде дождь собирается. — Он посмотрел на серое, низкое небо. — Позднее лето в нынешнем году, позднее.

— Скажите, часто обижал вас Михаил Брынин? Лицо Морковина оживилось.
— Эта точно, — сказал он, глядя на меня. И опять в его глазах я увидел отсутствие. — Мишка так и глядел, чтобы мне чаво издать.

— А что у вас с коровой вышло? — спросил я.

— Во! С коровой! — В глазах его заблестел сухой огонь. — Одна издевательства была, вот что!

— Вы расскажите поподробней.

— Три дня как было. Вечор, уж солнце за землю опрокинулось, сидим мы с Марьей во дворе. Я улей лажу, Марья мне помогает. Рой у нас ушел. С какой напасти? Ума не приложу. А мед ноне на базаре в цене. Работаем. Тихо, мирно. Я досточку смолянью обтесываю. Вдруг по калитке как забарабанят! Потом — тихо. Подумал, так хто. Можя, ребяташки балуют. Только сызнову стук. Громше. А я уж щеколду на ночь закрыл. Подошел. «Хто?» — спрашиваю. «Свои!» Узнал Мишкин голос. И так холодно в нутрях образовалось. «Чаво тебе?» — спрашиваю. «Открывай. По-соседски», — он, Мишка. Ну, открыл. Вваливается он. А за им — дружки яво: Жарок, Хведька, Иван Замойнов. Вижу, выпимши все. Так мне мутно стало. Мишка на лавку сел. «Все трудисься, Григорий Ив́анов, — говорит. — Бог в помощь». «Спасибо», — это Марья моя. Тихо так. «Штой-то кобеля твоего не видать, — говорит. А сам дружкам — морг! — Здоровый у тебя кобель был. Что телюке. Я-то знаю. Он, небось, кобеля отравил. Голодранец... Ладно. Я мирно так: «Чаво тебе, Миша?» Он издала начал: «Так вот какие дела, Григорий Ив́анов, — говорит. — Колхоз наш богатый стал. Сам знаешь. — И откеда мне знать про богатству ихнюю? — Все можем из колхоза получать, — он дал. — А личные хозяйства у людей много времени берут. Особливо у женщин. Так, Марья Петровна? Моя Марья помалкивает. Мишка опять дружкам — морг и говорит: «Решили мы, Григорий Ив́анов, вот что: предложим всем коров в колхозное стадо сдать, а молоко — прямо с фермы. Сколь душа потребует. По дешевке. За коров колхоз деньги вы платит. Мило-весело. — По двору стал ходить. Ровно доклад читает али лекцию. — Но народ-то у нас разный, — продолжает. — Несознательные ест. Пример надо добрый показать, Григорий Ив́анов. Я свою корову сдам, Федя сдает. А из старшего поколения, может, ты? Понимаешь, какая агитация выйдет? Вроде бы единоличник, а — пожалуйста!» Тут дружки, яво ржать начали. Изголяются. И такая на меня злость нашла! Себя ровно потерял, вот что. Я нервный, с фронта ишо. Помню, кричать начал: «Инвалида войны в рану бьешь! Эта вам не коллективизация! Штоб раскулачивать!» И за топор схватились. Для отстрастки, конечно. Смотрю, ржать перестали. Страх на их лег. А я остановиться не имею силов, все кричу: «Не искушайте! Идите отсель! Всех кончу!» Эта я, ясное дело, не сурьезно, для испугу. Вижу, Мишка с лица схлынул, к калитке пьтятся. «Я только предлагаю, — лопочет, кобель треклятый. — Ведь добровольно». Ушли. Захлопнул я калитку, а меня трясушка бьет. Ровно падучая. Разве эта не издевательства, скажите? Полная издевательства, вот что.

У него намок рот, лицо порозовело от возбуждения.

— А почему вы в колхозе не работаете? — спросил я.

— Я инвалид Отечественной войны, — поспешно сказал Морковин. — Нетрудоспособный. Справку имею. — Он помолчал и вдруг сказал зло: — Да и работать у них... Сторожом звали. Охота была! За полкила ржи грачей гонять. Дураки-то перевелись.

— Еще вопрос. — Он насторожился. — Вы коллективизацию здесь, в Воронке, помните?

— Как не помнить... — Морковин помрачнел, нахмурился.

Я смотрел в его далекие глаза.

— Вы убили Никиту Метяхова? — резко спросил я.

В глазах затрепетали огоньки. Глаза стали живыми и жаркими.

— Не. Мужики яво тогда достали. Они и кончили. Не поспел я. Не поспел... А поспел бы — не промахнулся!..

Он весь дергался. Мне стало не по себе.

— И последний вопрос. Из середняков Воронки вы первым в колхоз вступили. Почему?

— «Из середняков», — со злостью повторил он. Задумался. И вдруг заговорил быстро, спеша, брызгаясь слюной: — Да хто ж думал-то, что всурьез? Что надолго? Иде это видно, чтоб от мужика землю — в общий котел? — Он вдруг начал грозить мне пальцем: — Все одно... Все одно... Погодите... Ишо нарежете мужикам землю! Никуда не денетесь!.. Я не доживу, так дети... внуки...

Он был страшен.

«Верит, что так будет», — с холодком в груди подумал я.

Морковин успокоился как-то сразу, обмяк. Отсутствие в тусклых глазах, расслабленное, старческое тело; только пот в морщинах дряблой кожи.

И я сказал в упор:

— Вы убили Михаила Брынина.

Ничто не дрогнуло в его лице. Он прямо смотрел на меня. Тусклые, далекие глаза.

— Сызнову обвинилровка, — вяло сказал он. — Не убивал.

— Чистосердечное признание смягчит приговор суда, — сказал я.

— Не убивал...

24

— Ии! Ты яму без веры, товариш, — услышал я старый, надтреснутый голос.

Я оглянулся. У плетня стоял сухой старик с длинным лицом и клочковатой сивой бородой. Я сразу понял. Это был другой сосед Морковиных, по вторую сторону их двора. Дед Матвей. Матвей Метяхов. Младший брат Никиты Метяхова... Я вспомнил его — вчера он был в толпе у яблонь и ехидно смотрел на меня. Откровенно ехидно.

Сейчас в лице деда Матвея ехидства не было, а было плохо скрытое злорадство.

— Такой человек! — продолжал дед Матвей. — За одно яблоко с червёй глотку перервет.

— Вы что-нибудь знаете об убийстве Михаила? — спросил я.

— А как же! Знаю.

— Расскажите.

— С огромным удовольствием. — Дед Матвей оживился. — Значить, так. В одна тыща девятьсот пятьдесят пятом году, в самый раз перед яблочным спасом, поехал я в лес за строевой березой. Лошадку у председателя выпросил. Сказал, навоз вывезти. А сам — у лес. Дело давнее, чаво там, у государства березу красть поехал. Подался в Рапайскую засеку. Двадцать верст, считай. Места там дальние, глухие. Приехал. Тишина кругом, ажно звонь в ушах. Только птахи бога славят. А во мне страх: кабы лесников не сустренуть. Выбрал полянку, лошадь разнуздал. Молоденький меренок попался, веселый. Пусть, думаю себе, травы ест. Кругом березки, белые, быдко в молоко их окунули, длинные, вверх тянутся, к

небесам. И солнышко в листьях играет. Вынул топор, жало ногтем определил — вострый. Замахнулся на первую березку — боязно: шум по лесу пойдет. Для подъема душевных сил с богом поговорил, пошоптался: смилуйся, мол, прости грех, оборони. Полегчало. Вдарил раз — эхо покатилося, круглая, как шар. «А, — думаю, — была не была!» И начал рубить. Березка затрепыхалась — и наземь. Ветки обрубил, ствол одним концом на телегу. Гляжу, меренок мой мирно так траву щиплет. Прислушался — тихо. Со всем страх отпустил. Я за вторую березу, за третью... В азарт, можно сказать, вошел. Совсем мне повеселело.

— Зачем вы все это рассказываете? — спросил я тут.

— Ты обожди, дорогой товариш. — Дед Матвей весь сморщился — был очень недоволен, что я его перебил. — Уж боле полтелеги накидал. Помню, намахнулся на новую березку, сзаду голос: «Притомился, небось, дед Матвей. Отдохни». Меня лихорадка в один момент проняла. Обертаюсь: два лесника на лошадях, Гаврилка и Семенка, молодые ребята, леший их раздери! «Пропал», — думаю. И со страху в лес побег, в чащобу. А они вслед — хохотом. Конешна, куда от лошади казенной да от телеги убежишь? Вернулся. Повели они меня в сельсовет. Там, говорят, акт составим. Плетемся мы. Впереди Гаврилка на лошади и в пристежку Семенкину кобылу ведет, за им телега с березками, на их Семенка сидит, меренка понукает и меня матюжит: мать твою так и разздал, тюрьма тебе теперь, туды тебя да растуды. Я сзаду шагаю. И такая на душе смятения. «Пропал», — думаю. — Срок дадут. Да ишо с конфискацией всей имуществы». И здесь надумал: «Усе беритя», — говорю Семенке, — только отдай уздечку». Семенка, вижу, удивился: плечами подернул. Однако молчит. Я сызнову: «Слышитя? Уздечку отдай!» «Да на кой тебе уздечка?» — сердито так Семенка спрашивает. Я свое: «Отдай и усе. Моя она, не казенная». Соврал я, конешна. А куда деваться? Своя шкура дороже всего. Семенка плюнул, остановил меренку, отвязал уздечку, мне кинул. «Уздечка-то, — говорит, — слова доброго не стоит». То верно. Не уздечка была, так, одна прозвания. Сел он на березы, поехал дале. Не оглядается. Знает: куда я денусь? А я в сторону, у лес. Дуб, сурезный с виду, облюбовал. Стоит он середь молодняка, старый, густой, темный. Начал я вокруг яво ходить и усе вверх глядю. Слышу, телега остановилась. Семенка кричит: «Ты чаво?» Я тоже криком: «Известно чаво! Повешусь — и усе». И начал уздечку вроде к большому суку прилаживать. Слышу, Гаврилка к телеге подъехал. Шушукуются. «Он такой», — говорит Гаврилка, — повесится, чего доброго. Человек ведь. И нас не поблагодарят...» Голос у него весь наскрозь тревожный. Я вообще зазорный, все кругом мой характер знают. Только вешаться не хотел. «Больно шее, небось», — думаю. — И опять же дышать нечем». «Эй, дед Матвей! — кричит Семенка. — Хрен с тобой. Забирай телегу и проваливай». Подошел я к телеге, вроде недовольный: помирить собрался, а помешали. Вижу, они с лица белые, испужались. «Забирай», — говорит Семенка, — так тебя и разздал, в бога и в богородицу. А в другорядь поймает, сами повесим». «Не стражай, — говорю, — ишь распустились!» Плюнули они и ускакали. А я до дому поехал. Богу, верно, молитву воздал. Еду, тихо так у лесу, солнышко в листьях играет, птахи песни звенят. Хорошо, вольготно.

Я снова не выдержал.

— И все-таки не понимаю, — говорю, — зачем вы все это рассказываете?

— Как зачем! — Дед Матвей всплеснул руками. — Так ведь березы порубить да привезти подряжал меня вот он, Гришка. Я за яво, дорогой товариш, жизнью, можно сказать, рисковал. Чуть не повесился, чуть жизнь не порешил. А он...

— Что он? — устало спросил я.

— Обманул, вот что! Посулил пять мер картошки, а дал чатыре! Всегда на чем-нибудь надуть норовит. До этого момента Морковин стоял спокойно, облокотясь на тяпку. Теперь лицо его задвигалось, чаще стали подниматься и опускаться бескровные веки.

— Врешь! — возбужденно сказал он совершенно неожиданно. — Не было окончательно такого уговора, чтоб пять мер.

— Был! Был! — Дед Матвей даже присел от злости. — Пять мер был уговор. А ты чатыре, да ишо неполные!

— Врешь, полные! — крикнул Морковин.

— Неполные! — крикнул дед Матвей и чуть не перевалился через плетень.

— А ты какую березу привез? — Глаза Морковина сухо заблестели. — Жидкая, кривая. И уговор был: двадцать пять лесин. А ты — двадцать две.

— Двадцать три! — крикнул дед Матвей.

— Двадцать две! — крикнул Морковин.

— Э! Погоди! — Дед Матвей затряс длинным крючковатым пальцем. — А помнишь, в одна тыща девятьсот шестьдесят первом году, как раз под покров, твоя Марья у моей старухи мучицы два кила взяла. Ты отдал?

— Проходимка твоя старуха! — прошипел Сыч.

— Ты погодь в кусты! «Проходимка». Ета у твоей бабы живот к спине прирос. Ты скажи: отдал муку?

— А ты у меня с вишен ягоды рвешь! — вдруг злорадно сказал Сыч. — С веток, что за твой плетень лезут.

— А ты у меня с сарая две доски украл? Украл! — уже сорвавшимся голосом кричал дед Матвей.

— А ты у меня в позапрошлом году रुपь брал. Так отдал сколь? Шестьдесят три копейки!

— Восемьдесят три копейки! — Дед Матвей начал быстренько бегать вдоль плетня.

— Шестьдесят три... — яростно прошептал Сыч.

— И-и! — Дед Матвей задохнулся. — Бесстыжие твои глаза. Сказано — Сыч. Только свою хозяйству и знаешь. А я всю жизнь в колхозе.

— В колхозе! Захорогодил! — Теперь Морковин показывал на деда Матвея тоже корявым пальцем. — Справки у тебя нету, вот и в колхозе. Боишься, участок отрежут. Сам-то он, — Сыч быстро, лихорадочно взглянул на меня, — из кулаков!

— А он... А он, дорогой товариш, ишо у город от нас бегал. Деньгу, небось, длинную там зашибать.

— Я твои рубли не считаю! — Из темного рта Сыча летели слюни. — И ты к мене в карман не лезь!

— Фашист ты безродный! — Дед Матвей ожесточенно махнул рукой и пошел в глубь своего огорода.

— Пойдите! — сказал я ему вслед. — Так что же вы можете сказать об убийстве?

Он остановился, повернулся ко мне.

— Об убийстве-то? — В лице деда Матвея появилось удивление. — А ничего. Я в самый раз у себя на саду был, в шалашике дрямал. Когда этот случай в соседстве приключился. — Он подумал и вдруг добавил зло: — А Мишка все одно дерьмом был.

Дед Матвей уходил от нас, и даже в его согнутой спине я видел ненависть.

Так...

Морковин стоял, опять облокотившись на тяпку, тупо, безучастно смотрел на меня. В морщинах его лба мерцал пот.

Без двадцати пяти два.

По листьям картошки начал стучать редкий дождь.

25

— Так это правда (я хотел сказать: «гражданин Морковин», — но не сказал), что вы в город уходили?

— То правда, — сказал Морковин, глядя в землю.

— А почему?

— Какая тогда жизнь в деревне была... Бедовали.

Пришел с войны — у соседей избы позаколотены, у моей крыша провалилась, забор весь разломанный, Марья с двумя детишками на тюре да на картохе, корову по поставкам забрали. Из мужиков, считай, одна треть вернулась. И те — кто без руки, кто без ноги, у кого осколок в грудях. Однако начали у колхозе работать. Только какая работа? В первый год сто грамм ржи на трудовень, во второй вовсе ничего. Ход сена клок, хох вилы в бок. Что с приусадебного участка возьмем, то и ладно. Опять же, участок... Налогами яво задавили — все обклали: и корову, и каждую овечку, каждую яблоньку, уж курей-несушек считать стали. Не продыхнешь. Дык разве эта жизнь? Стал народ в город уходить. Ну, и мы с Марьей обрешили: она здесь с детишками, а я на завод какой, буду деньги слать. Был у нас сродственник в Дреvesке, братан Марьи. Прописал: устрой, приезжай. От дома с узелком пошел — хуже, чем на войну: сердце сжалось и не отпускает... За сто пятьдесят верст от дому. Легко ли?

— И как же вам в городе жилось?

— Да как жилось... Не ко двору я в городе ва-шем, вот что. Устроился на машиностроительный завод: жатки, плуги навесные. Для колхозов, для нас. Завод был уже на окраине города. Едешь, едешь, бывало, на трамвае. Бока мнут. И откоснуться некуда. Суета. Последняя остановка. Уж лес, вот он, рядышком. Смотрю на деревья, и такая тоска возьмет, темно на душе. А народ кругом веселый, шумной, газетами шуршат, здоровкаются друг с дружкой.

Слесарем работал, на сборке. Никак не мог я к этому шуму в цеху привыкнуть. Ну хош ты что. Машины кругом, лязг, сутолока. Такой ты махонький. Не ладилось у меня. Без привычки. А мастер молодой, оголтелый. «Деревня! — кричит. — Бестолочь!» У меня от крику ишо хуже — ключ из рук валится. Дни до зарплаты считал. Так и жил от полочки до полочки, вот что.

Кормился в заводской столовой. Верно, ничаво харч, с понятием. Каклетки там с макаронами возмешь, борщ, весь аж красный от свеклы, компот из сухой фруктов. И не шибко дорого. Только тяжко мне было у них столоваться. Молодые все на смех поднимают. Ну, корочкой тарелку оботрешь после второго, али крошки в щепоть со стола — им все смех. Мало видели, без понятия — не знают цены хлебушку. Вот так сидишь за столом, а кругом смех, галдеж, спешат все... Очень хорошо моя Марья баранину с черной кашей делает. Вынет чугунок из печи — в избе враз духовито издается.

Жил в общежитии етом. Восемь коек в комнате, стол посередке, тумбочка каждому. Восемь человек

вместе, а всяк сам по себе. Четверо у нас совсем молоденьких ребят было, тоже из деревни. С работы придут, поспят — и шаст в город, де ночи. Али козла забивают, только треск идет по комнате. Николай Сидоренко, етот, верно, сурьезный парень — все с книжками, бубнит себе под нос, в институт, что ли, готовился. Другой Николай, Соколов, тот женатый, с заботой на лице. Придет яво Клашка — на койку сядут, шепчутся, милуются украдкой. Ишо Павел Тихонович был. Минаков. Тот в годах, угрюмый такой, заросший, все, бывало, на койке лежит, руки за голову и глаза в потолок. Молчаливый. А выпьет, веселость на яво найдет — враз за гитару. Все одну песню играл: «Из колымского белого ада шел я в зону в морозном дыму». Проникновенная такая песня, со слезой. Ну, я восьмой. Приду с работы, сяду на койку и не знаю, что дале делать. Дома сычас к скотине бы, али сушь с яблонек посрезал. Сижу так, никому до меня дела нету. И вся моя жизнь у нас издеш, в Воронке, перед глазами проходит. То мамашу вижу, то братьев своих непутевых. Иде их кости гниют?.. Опять же Марью, детишек представляю. Дочка-то у нас, Лиза, в шесть лет от тифа померла. А то сад мой привидится, и вот чую, ровно вишневым цветом пахнет. И тоска завладевает мною. Спасу нет.

Стал в город уезжать. На трамвай сяду — и в центр. Все воздух свежий. И разнообразия всякая. Только и там чужой я — и все. По улице иду — толпа, шум, тесно. Огонь стоит разноцветный в окнах магазинов, а кино — так там вокруг картинок живые лампочки бегают. Красиво, конечно. Однако у нас, когда солнце в тумане над речкой взойдет и чибисы на мокром лугу кричат, разве сравнишь? Ну, иду. Кругом все больше молодые парни, девки. Чую, на меня с удивлением глядят, и в спину — смех. И вроде сторонятся, ровно я чумной. Опять же машины ети. Очень я их опасался. Стою, бывало, на углу, а они — одна за другой, одна за другой. Случалось, милиционер подойдет: «Ты что, инвалид?»

И вот в одночасье обнаружил я в заулочке, недалеко от общежития, закусную, домик такой. «Зеленый шум» яво мужики прозвали. Первый раз зашел папирос взять. Смотрю: народу пропасть, ровно сходка какая. Все мужчины рабочего виду. За столиками шумят, кто у бочек пивных пристроился. Накурено — аж сизо. И споры кругом идуть. Кой-кто уже пьяной. А за буфетом баба красная, ловкая, только локотки мелькают. Полиной ее звали. Так она быстро все: сто грамм льет, горячую колбасу с противня на тарелку кидает, пиво в кружках у нее шипит, сдачу отсчитывает да ишо на какого мужика шумит, кто без очереди. И все к ей: Полина да Полина. С уважением, по-свойски. На дворе дождь был со снегом — зима ложилась. Холодно, сыро. А в «Зеленом шуме» тепло, народ веселый, разговорчивый. Как на праздник попал. Я не особо пьющий был. Если токо кумпания какая. Однако взял сто граммов, пива кружку, закуски там, уж не помню. Выпил у бочки, закусуваю. Со мной мужчина заговорил, очень представительный, в шляпе, только что пуговиц на пальте не было. «Ты, — говорит, — фронтовик, и я фронтовик. Давай за победу над проклятым фашистом. Эта от яво вся наша жисть наперекосок пошла». Взяли по сто граммов, выпили. Он, в шляпе, заплакал. «Жена, — говорит, — от меня ушла. Стерва». И излил мне свою душу. А я ему — свою. Полегчало на сердце, отпустило. Вроде, думаю, ничего себе, проживу. Другие живут, и я проживу. И стал я с того дня в етот «Зеленый шум» каждый вечер ходить. Выпьешь — и легче, тоски нет. С каким челове-

ком поговоришь. Знакомые появились. Привык выпивать, вот что.

Раз выпиваю у окошка. Зима уж на дворе, снег. Думки так е, с тревогой. Марья отписала — с дровами худо, топить нечем. Вдруг кто-то меня по плечу: «Морковин! Гришка!» Глянул — мужчина жиденький, низкорослый, и куртка на нем кожаная, бензином пахнет. А нос короткий и раздувается. «Не узнал? — кричит. — Проща я, Бейков! Ну? — И уж всему народу объявляет: — Из одной деревни мы. Земляки!» Теперь и я признал яво. Точно, Проща Бейков. Сусед. Вон последняя изба их, Бейковых, по улице. Сычас одна бабка там осталась, с печи не слазит. Ну, выпили за встречу. Разговоры пошли. Я свое все обсказал. Почему из деревни уйтить пришлось. А Проща мне: «Чудак человек! Инвалид Отечественной войны, да? Справку имеешь?» «Имею», — говорю. «Ну! — Он весь аж дернулся. — В колхозе ты можешь не работать, понял? Нетрудоспособный. А участок не отберут. Не имеют прав. И с налогами тебе льготы. Законам знать надо! Займись своим хозяйством. На рынок производи. Ныне рынок — ого-го! — денежный. Ну?» Я задумался. А он, Проща, за плечо трясет: «Я у тебя посредником буду. В автоколонне я, понял? Шофер. Знаю кой-кого. Прямо сюда привозить на рынок. А?» «Подумать, — говорю, — надо».

— И вы, конечно, согласились? — спросил я, почувствовав непонятное раздражение. — Вернулись и хозяйство свое завели?

Тень улыбки появилась в медленных глазах Морковина.

— Да нет. Через год это случилось. Весной как раз вышло. С нашего цеху бригаду за город послали — глядеть, как новый навесной плуг работает. Уж не знаю, почему меня в эту бригаду поставили. Правда, к тому сроку я ничаво, приспособился, норму даже перевыполнял. К Первому маю премию дали, вот что. Ну, поехали. Близко от города — с поля дома видать. А май был жаркий, дружный. Смотрю: на лозинках, что по краю поля, пух зеленый. Жаворонки в небесах заливаются, и от их голосов у меня в сердце — прямо жар. Травой молодой тянет. Да... Привесили плуг к трактору. Пошел, борозду подымает. Народ за трактором, споры. А я пристал, землю в горсть взял. Жирная, влаги в самый раз, букашка махонькая, вижу, шевелится. «Сеять, — думаю себе, — в самый раз». Понюхал землицу-то. И такой дух родимый, деревенский. Туман перед глазами поплыл. И привиделась мне рожь буйная, полегшая, после грозы вроде. Поле даже признал — за Дунькиным оврачком. «Все, — думаю, — нету больше моих сил, сердца разорвется». На другой день в отдел кадров, за расчетом. Так и возвратился.

— И зажили своим хозяйством, — сказал я.

— Точно, зажил. Все верно Проща насоветовал. Наладился я с ним. Пошло дело. И все по закону. Я — все по закону. Маленькая хозяйства, однако ж своя. Уже землицу обласкаю — в пух она у меня. А им, голодранцам, — завидка. — И он ожесточенно погрозил улице кулаком.

— А что, Михаил Брынин сразу стал мешать вам вести это самое хозяйство? — Я впал в какой-то насмешливо-иронический тон и никак не мог побороть его.

— Какой! — Морковин вдруг задумался, потемнел. — Он в те года пацанком был... шустрым... В сад, правда, лазил. Ну, просекаешь яво прут, и вся война. Ета, когда он из армии пришел, началось. В

первый день, ишо до дому не подоспел, мы с им схлестнулись. Аккурат у этих яблонек.

Я посмотрел на яблони за плетнем. В зеленых ветках шумел легкий ветер. Три мирные дерева, уже, видно, старые, с шершавой корой...

— Из-за чего же вы схлестнулись? — спросил я.

26

-Пять лет вроде тому, как было. Опять же май на дворе, поздний, правда. И так сильно яблони цвели — стволы не видать, будто облака на землю опустились. А эти три, белый налив, дык особенно. И не упомяну, чтоб на моем веку так яблони в цвету были. По утрам все ходил глядеть: не приведи бог, думаю, заморозки. Ничего, обходилось.

Раз утром пошел — под одной яблоней пацаны. В кучку сбились. И самые, видать, непоседа палкой по стволу бьет. Так, без мысли, должно, а лепестки с нее полплы. Я на их с криком: «Вы что тут? Цвет мене струхать!» Пацаны в бега, только пятки босые зашлепали. Я им вслед для порядка: «Глядите у меня! Кобеля спущу!» Они к реке сбегли и отседа: «Сыч! Сыч! Чтоб ты сдох! Жадога!» Обидно, конечно. Ладно, несмышлениши. Стал яблони глядеть. Просто сердце радуется: такой цвет могутный. Пчела в ем гудет, работает. Вдруг сзади голос насмешливый: «За что ж ты их пугаешь, дядя Гриша?» Оборачаюсь — Мишка Брынин. Здоровый стал, в плечах дюжий, гимнастерка со значками всяческими на ем и рюкзаки, вижу, тяжелый. Должно, смекаю, гостинец привез. Улыбается так, зубы белые кажет. Я: «Никак Мишка?» «Да, вроде я, — говорит с усмешечкою. — Сусед твой». Как-то мутно мне настало. «С армии, значить?» — Ета я, чтоб разговор поддержать. «Из армии. — И так сердито: — Что же ты ребят, дядя Гриша, обижаешь? Яблони не твои, колхозные». «Мои! — говорю. — Рассердился. — Я за ыми хожу». Да и то. Ежели б не я, чиво с них останется? А он свое: «Нет, колхозные. Значит, для всех. И вообще, — говорит, — Григорий Ив́анов, писала мне мама: свои порядки наводишь. Возле сарая забор перенес, нашей землицы прихватил. Пользуйся, — говорит, — не жалко. Только нехорошо ведь, не по соседски. Смотри, ссориться будем». Так откровенно на меня глянул. И прямо молния промеж нас скользнула, вот что. «Землицы прихватил!» Там всего-то три метра если будет, то ладно. Им она ни к чему. Так, лопух рос. А я морквы насадил. Тут Мишка до себя веточку яблони нагнул, нюхает. Потом взял и отломил ее, веточку. Сызнову на меня — откровенным взглядом. И пошел к своей избе. Смотрел я в яво спину широченную, и прямо лихорадка бить начала. «Принесло, — думаю, — на мою голову. Голодранец!..» Так оно и вышло.

— Что вышло? — спросил я.

— Все вышло, — сказал Морковин и стал смотреть в землю.

Марья дополола свой рядок картошки и сейчас, устало облокотясь на тяпку, стояла подле нас, сухая, молчаливая, настороженная. Настороженными были ее глаза, в которые, казалось, налилась мутная вода и не могла вытечь. А все остальное в ней — усталость: согнутая спина, левая рука со слабо сжатым кулаком, опущенная бессильно, седые, мокрые от пота волосы из-под платка. Я понял, чем она сходна с мужем, чем повторяет его. Глазами. Такие же медленные, отрешенные. И рядом с настороженностью

сейчас такое же безразличие ко всему на свете стоит в них.

Морковин востепенел.

— Ты, Марья, ишо подбей, иде подкапывали, а я боровку корм задам.

И мне показалось, что он выжидающе, просительно посмотрел на меня. Я промолчал. Морковин тяжело зашагал к своему двору.

Дождевые капли чаще стучали по листьям картошки. Слышно было, как люди переговариваются в переулке.

Без пяти два.

Мы стояли с Марьей друг против друга и молчали.

27

— Скажите, — спросил я, — это правда, что Михаил часто обижал вашего мужа?

— А то не правда, что ли? — У нее был слабый, простуженный голос. — Проходу Грише не давал.

— Вы можете рассказать какой-нибудь случай?

— Да много их, случаев, было. Вот с сеном хотя бы, еще раньше, в июне, в первую косьбу. Гриша обкосил тут недалеко ржаное поле. А как же? Скотину кормить надо. Травы там вольные, всем хватит. Правда, председатель разрешения не написал. А что делать? Не дал, так пусть наша Пеструха зимой подохнет? Просушили сено, во двор стаскали. На тележке. Духовитая сена, с клевером да люцерной. Вечером стали на чердак сараюшки укладывать. Гриша наверху там, я вилами подаю. Работаем. Хорошо. Думаю: «С кормом Пеструха, молочко будет». Вдруг — стук в калитку. Посмотрели мы друг на дружку. Чуж — беда. Так к нам никто не ходит. Только пенсию Грише почтальонка принесет — и все. Опять стук, громше. Гриша мне рукой: открой, мол. Отперла. Пожалуйста, входят: Мишка, за им дружки его. Мишка сразу мово мужика в надрагаж взял. «Ну, Григорий Иванович, — спрашивает, — что скажешь?» Об чем разговор? Гриша молчит. Мишка по двору походил и в крик: «Опять воровством занимаешься? Накосил сена у ржаного поля и думаешь, никто не видел?» «Дык все одно, — Гриша в ответ, — так травы стоят». Здесь Жарок — он за Мишкой кутенком бегал — с ухмылкой. «Не так, — говорит. — Совсем они не для тебя стоят, травы. Для колхозников, понял? Кто в колхозе работает, тому от председателя разрешение на кос. А тебе кто разрешал?» Снова Мишка. «Вот что, Григорий Иванович, — говорит. — Последний раз тебя предупреждаем: еще на воровстве попадешься — составим акт, и дело прямо в суд. Понял? И никакие справки не помогут. А сейчас... Ребята, — говорит, — выносите сено. На Мечнянскую ферму отвезем». У меня прямо сердце опустилось. А они только ждали приказа. Сену охапками — и в заулоч. Там у них уже подвода стояла. Все обрешили, лиходейники. Гриша с чердака слез и, вижу, не в себе он — с лица схлынул и в трясучке. Промеж их вертится, сену вырывает и шепчет так страшно, со слюной: «Да вы что, а? Да как же, а? Скотину без корма? Дык незаконно! Вы что же, а?» Мишка на чердак влез, отсюда сену скидает. Гриша все бегаёт по двору, то к одному, то к другому. И уж говорить не может. Я отвела его в сторонку, от греха. За руку держу. И от Гриши ко мне трясучка передается. Унесли всю сену. Захват у них получился. Слышно, как поехали по деревне — смех да шутки. А Гриша все по двору блукает, губы шевелятся. Потом, смот-

рую, в сад сбежал, кобеля привел. Лютый тоды у нас кобель был. Ой, думаю, беда! Спустит на их. Ан нет, не решился. Привязал его у будки — кобель на дыбы, в рык. И давай Гриша его ногами бить. Уж так бил, так бил, страх господний. Еле я оттащила. Три дни потом кобель подняться не мог, на боку лежал. Разве же можно так человека доводить?

По впалым щекам Марьи катились слезы.

У меня глухо, часто билось сердце.

— А как вы жили... живете со своим мужем? — спросил я.

— Как... Обыкновенно. Мы работаем. Всю жизнь, сынок, работаем... — И Марья заплакала навзрыд. — Никому не мешаем, а нам — все.

— Кто ж еще вам мешает?

— Все! Все! — ожесточенно повторила она, вытирая лицо рукавом кофты. — Огород весной копаем, и спину не разогнешь, переверни-ка лопатами шестьдесят соток. А дружки Мишкины нарочно мимо нас на тракторах шлendaют — вот, мол, у нас какая техника. Картохи до шоссе на тележке везем, а отсюда я на базар с попутной машиной... Только пока до шоссе-ки-то доберешься — за деревней взгорки длинные, никаких сил нет. Старые мы уже. А впергонку машины от правления. На работу народ едет. И нет чтоб пособить — один смех в спину: «Сыч с Сычихой надрываются! Гляди, кишка вылезет!» И так везде — смех, смех. И сторонятся. Ровно мы прокаженные. А теперь еще в семействе разногласия...

— А что в семействе?

— Что... — Она перестала плакать, и на ее лице были дремучая тоска и безысходность. — Думали, Вася подрастет, наследник, хозяйству на руки примет... — Она снова заплакала. — Опять же все через Мишку. Женился бы Вася на Нине — другая у нас жизнь была. Да Мишка дорогу перешел. Надежду Вася взял — от тоски, от горя своего, не думавши. И в город с ей. От позору... Нашел себе пару... Чтоб она подавилась, ведьмачка. Уехали... Ладно. Хоть бы помогал... Куда! Совсем его Надежда ночами перешопала — уж не родители мы ему. А теперь — вы...

Она вдруг завывала, страшно, длинно.

Я отвернулся.

Около забора стоял Фролов и делал мне руками какие-то знаки. Да, пора кончать. Финита ля комедия. Комедия окончена. И вдруг с острой силой я ощутил непонятное, внезапное чувство вины в чем-то.

Я прошел через огород, через сад и двор. Меня провожал плач Марьи. Дверь сарая была открыта. Там, в темноте, аппетитно похрюкивал поросенок и слышался монотонный, мне показалось, добрый голос Морковина.

Как он может так?

На что он надеется?

О чем он думает?

Что происходит в его сознании?

«Если он убил...» — остановил я себя.

28

У калитки так же строго стояли участковые — Захарыч и Семеныч. Нетерпеливо прохаживался Фролов. Улица была полна народа.

— Все готово, — сказал Фролов. — Привез Зуева. Он мне рассказал по дороге. Дела... Будем брать?

— Да, — сказал я и повернулся к милиционерам. — Минут через пять приведите в правление Морковина.

— Слушаюсь,— сказал Захарыч, и на лице его появилась растерянность.

— Есть! — радостно крикнул Семеныч; лицо его пылало азартом.

Было двадцать две минуты третьего.

Мы с Фроловым пошли к правлению. На почти-тельном расстоянии за нами двинулась толпа, возбужденно, но тихо разговаривая.

У правления стояла синяя милицейская машина с красной полосой по глухому корпусу, и от этой машины, от толпы, которая двигалась сзади, от низкого серого неба... Не знаю, может быть, и еще по каким-то причинам мне стало не по себе.

В одной из комнат правления (она была пуста, видно, все ушли на улицу) быстро шагал Пантелей Федорович Зуев. Он был в военном кителе, в начищенных сапогах, очень официальный, строгий и, чувствовалось, до предела взволнованный.

— Здравствуйте. — Он подошел ко мне. — Что от меня требуется?

Я пожал его крепкую, твердую руку и сказал:

— Мы пройдем в кабинет Гущина. Туда его приведут. А вы, пожалуйста, оставайтесь здесь. Когда будет нужно, мы вас вызовем.

— Понимаю, понимаю...

Мы с Фроловым вошли в председательский кабинет. Здесь еще не рассеялся утренний мажорный дым. На столе лежали три початка кукурузы в бледно-зеленых листьях, стоял новый белый телефон, такой же, как в комнате бабки Матрены. И сейчас я больше ничего не могу вспомнить.

Мы сели на стулья. Я вынул из папки бланк допроса, подал его Фролову.

— Вас не затруднит? Вести запись?

— Конечно! Давайте. — Он взял бланк.

Молчали. Было тягостно и неловко.

И вдруг требовательно, с перерывами зазвонил телефон. Я схватил трубку. Последние часа два я не думал о Василии Морковине. Забыл о нем.

— Слушает следователь Морев! — Я не узнал своего голоса.

— Говорит дежурный областной прокуратуры старший лейтенант Вдовенко. — Голос был молодой, четкий, бесстрастный. — С Василия Григорьевича Морковина взята подписка о невыезде. Он работает на сборке охотничьих ружей. На заводе револьверы изготавливаются. Но серийного производства нет. Только по заказам.

— Охотничьи ружья и револьверы собираются в одном цеху?

— Нет, в разных, в противоположных частях завода.

— Морковин мог каким-нибудь образом достать револьвер?

— Не знаю... — В голосе послышалась неуверенность. — Думаю, что нет. Их делают совсем мало. Каждый на строгом учете.

— Как вел себя Морковин, давая подписку о невыезде?

— Не знаю, я при этом не присутствовал.

— Хорошо... Спасибо.

— Что вас еще интересует? Какая нужна помощь?

— Благодарю. Ничего не нужно.

— Желаю успеха.

Я положил трубку.

— Ну как? — спросил Фролов.

— Ничего определенного.

Сейчас приведут Морковина. Сыча. Через минуту. Через две...

За дверью послышались шаги, голоса, легкая возня.

— Давай, давай,— сказал Захарыч. — Раз уж так...

Первым вошел Семеныч. На его молодом круглом лице были решительность и готовность к действию. За ним шагнул Морковин — ровный, вроде даже рассерженный; только чаще поднимались и опускались бескровные веки. Протиснулся Захарыч, потный, толстый, виноватый.

— Доставили,— сказал он, ни на кого не глядя.

И тут Морковин закричал:

— Не имеете прав! Только от дел отрывают! — Он размахивал руками, в тусклых глазах вспыхнул свет. — Я жалиться буду! Зазря человека винуют!

— Подождите за дверью,— сказал я милиционерам.

Захарыч и Семеныч вышли — первый поспешно, второй с явным разочарованием.

Мы остались втроем. Морковин смотрел то на меня, то на Фролова. Что-то новое появилось в его лице. Не знаю... Тень сомнения, что ли? Тревоги?

— Гражданин Морковин,— сказал я,— вы убили Михаила Брынина...

— Не убивал,— быстро перебил меня он и посмотрел на Фролова, писавшего протокол допроса. Видно, это встревожило его.

— ...убили из револьвера, который вы взяли у убитого офицера во время подавления Кронштадтского мятежа. Там еще на рукоятке гравировка есть, две буквы.

Его отбросило к стенке. Мгновенно лицо покрылось потом.

— Не убивал... — прошептал Морковин.

— Пантелей Федорович, зайдите! — крикнул я.

Вошел Зуев и остановился в двери — большой, напряженный; он все расстегивал и застегивал верхнюю пуговицу кителя.

Было тихо. Скрипело перо по бумаге.

Они смотрели друг на друга. В лице Морковина медленно происходила страшная перемена — оно теряло человеческие черты. Даже не могу сейчас объяснить, в чем это проявилось. Но я видел — видел! — перед собой лицо не человека, а зверя. Задрогавшего, яростного зверя. Старого зверя.

— Пантелей... — прошептал Морковин. — Пантелей...

— Неужто правда, Григорий? — Голос Зуева был полон недоумения, тоски, растерянности. — Неужто правда?

С Морковиным происходила новая быстрая перемена: словно распустились пружины, которые держали его. Он как-то странно закачался из стороны в сторону, судорога скривила его лицо, и вдруг оно стало спокойным, даже величественным. И страшным.

— Да, я убивец,— сказал он тихо. — Я кончил Мишку. — И вдруг рванул ворот рубахи, закричал истерически: — Житья мне от яво не было!.. Кровь он мою пил... Все вы... Все вы супротив меня!.. Будьте вы прокляты!..

И Морковин начал плакать, неумело, трудно, запрыгали его плечи, он закрыл лицо руками, отвернулся в угол.

— Пантелей Федорович,— сказал я. — Спасибо. Вы свободны.

Зуев не хотел уходить — ему было интересно. И жутко. Кажется, он обиделся на меня. Вышел осторожно, тихо прикрыл дверь, оставив щель.

— Гражданин Морковин, расскажите, как все это было?

Он посмотрел на меня затравленно, с ненавистью, с непониманием. Все еще с полным непониманием происходящего.

— Ладно, слушайте. — Он начал успокаиваться. — Утром, Марья как раз корову подоила, появились Василий с Надеждой своей.

— Вы их не ждали?

— Почему не ждали? Ждали. Письмо он отписал: едут на отдых. На отдых... На харчи мои едут, а не на отдых, вот что. Одна Надежда поест всего — раз-зор выйдет. Хош уехали, слава тебе господи.

— Значит, нежеланные они для вас гости?

— Для Марьи Всяетка, може, и желанный. А мене нет. Не нужен мене такой сын. Ладно, вы слушайте дала.

Он совсем успокоился. Теперь был Морковин, какого я привык видеть в эти два дня: неторопливый, размеренный, скучный.

— Ну, конечно, гостинец свой привезли. Да и то. Колбасы только два кила. Конфеты там. Марья нашу пищу на стол. Выпивать стали. А я с утра ишо не остыл. Как мы с Мишкой у яблонек встрелились.

— Так он на вас с вилами или вы на него?

— Он! Он, Мишка. Вилами намахнулся. Да... Ну, выпили, а у меня в груди все жар, все сердце ноет, как про Мишку вспомню. А здесь Надежда выпила и за свою стару песню: «Вот, — говорит, — папаша, вы все копите, копите, а толку что? Какая жизнь у вас? Один сырвант купили. И тот пустой». Я знаю, к чаму ета она. «Не твоя, — говорю, — забота. Сам знаю, что куплять». А она взвилась: «Ета как же не моя? Вот у нас сын, Андрюшка, внучок ваш. А вы хош раз чего ему прислали? Ведь все свое: и мясо и молочко. А яблоки? Для деля малого жалеете». И Марья вякнула: «Внучку-то можно было б». Я на ее: «Цыц!» — и такая злоба к горлу подступила. Мало мене голодранцев всяких. Ишо свои. А Надежда така: как одно заладит — не отцепится. «Али хош раз денег дали внучку на костюмчик? Зарылись тут в свою серую жисть. — И Василия в бок — толк. — А ты чего молчишь, пентюх?» Ета на мужа-то! Василий себе стаканчик налил, выпил и говорит: «Верно она, батя, вам разъясняет». И за капустой вилкой. А миска вже пустая. Марья подхватила: «Пойду в погреб, ишо принесу». Я ей вслед, чтоб из начатой кадки брава, а самому так мутырно, так мутырно, слов нету.

— А вы Василию не помогали?

— Иде такой закон, чтоб родители взрослым делям помогали? Пуцай они нам помогают, вот что. Вырастили... Дале. Василий закусывает, а на меня не глядит — совестно. Я сгоряча и давай. «Села она тебе на шею, — говорю, — и погоняет. Дурак дураком. Блаженный. Ты какой есть? Какой ты есть? Знаешь? Теста ты одна. Что хош, то и лепи! — И слеза меня супротив желания прошибла. — То, — говорю, — со мной бы жил, хозяйству бы принял. А тобой баба помыкает». Надежда на меня аж с кулаками: «Что я ему, плоха, да? Плоха?» Кровью налилась, ровно свекла. А меня понесло уж: «Ты за отца и вступить не можешь! Вон Мишка мене проходить не дает. Стар я с ым помериться. А ты? Невесту он у тебя увел — проглотил. И теперь... Нет чтоб окорот яму дать. Не сын ты мне, вот что!» — говорю.

Под окнами остановился председательский «газик». Иван Матвеевич осторожно вошел в комнату, сел за один из пустых столов. Лицо у него было зем-

листое, осунувшееся; в руке он держал забрызганную дождем брезентовую накидку. Морковин тяжело, хмуро, ненавистно посмотрел на председателя и замолчал.

— Что было дальше?

— Что дале... Дале все и случилось. Марья ворочается из погреба: «Гриша! Там Мишка яблоки рвет. Меня погнал». Как-то мене сладко в нутрах издалось, тошнота вроде. И жаром облило. «Вот, вот, — говорю. — Дождь дался? Ладно... Ладно. Я с ним...» Здесь Василий, правда, говорит: «Постой, я сам». И пошел из избы. Марья наперерез кинулась: «Прибьет он тебе, сынок!» Тольки я ее оттащил. «Не суйся, — говорю, — не твое бабье дело!» А самого так и бьет озноб. Уж не знаю, об чем они там толковали, что про меж ими вышло. Вертается скоро, сумной, водки себе налил, выпил. «Чаво там?» — спрашиваю. Он на меня не глядит, глаза в стол уставил. «Что, — говорит, — я из-за пары яблочек с ним в драку полезу? Он подумает...» Рукой так махнул — и в угол. Меня ровно сила чужая подняла. «Жидкий за себя постоять! — кричу. — Ладно, я пойду, я...» Ишо какие-то слова кричу. Уж не помню... И побег из избы. На дворе дожджик маленький сеется. Я через сад, через огород — к яблонькам. Смотрю: точно, Мишка. Рвет яблоки, не спеша так, ровно свои. В карманы закидывает. Меня углядел и хош бы что — рвет. Подскочил я. И такая меня злость... Ко всему свету. Ну, душит, душит. «Мишка, — говорю, а самого трясет. — Мишка... Иди отсель. Не икушай!» А он с усмешкою: «Да будет тебе, Григорий Иванович. Твои, что ли, яблони?» «Мои, — говорю. — Мои! Я за ыми хожу». А он мене в лицо — смех: «Нет, не твои. Колхозные. Деля всего обчества». И рвет все. «Мишка! Мишка! — говорю. И жар мене всего захолонул, мутно стало. — Уйди! Уйди! По добру прошу!» Не уходит! Спокойно так: «Надоел ты мне, Григорий Иванович. Не выводи из терпения». Тады я яво, верно, за грудки. А он: «Прочь руки!» И толкнул. Еле на ногах я остался. Конешна, куда мене супротив яво. «Не уйду, — говорю. — Понял? Вот нарву яблочек, тогда, пожалуйста, уйду». Враз мене так сотворилось... И не знаю, как об-сказать. Сын сидит дома, за отца не встрянет. И вообще... Вообще... Один я во всем свете. И не упомню, как в избе оказался. К сундуку. Все из яво наземь. Он у меня на самом донушке лежал... С революции, считай, к яму не прикасался. Смотрю — на месте.

— Револьвер?

— Да. Он. Взял, курок поднял. Что-то мене бабы галдят, Василий — за плечи. А я и не помню. Ничаво не помню... Бегу, как в тумане. И вроде он, туман, розовый. Опять у яблонек. Дождж. Вот слышу, по листам он шибуршит. Я, правда, быстро так подумал: «Как бы сена преть не начала». И ишо скворец на ветке хвостом дергал. Мишка уж не рвет. Кругом прохаживается, какое покрупней выглядит. Потом мене заметил. И не на меня смотрит — на руку мою. Вижу, в лице меняется. Белый весь. Шепчет: «Ты что, Григорий Иванович, очумел?»... А я на яво иду, револьвер вроде поднял. Мишка пьитися. Я иду на яво... Иду! И так мене... Радость, вот что! Тольки жаркая, всего захлестнула. Чаво-то кричу яму. Уж не упомню... Мишка шепчет: «Дядя Гриша...» — Верно, так и сказал: «Дядя Гриша. Да ты что? Ты что? Опомнись!» Повернулся и побег. И тут я в спину яво растреклятую — раз! Все кричу чаво-то. И такая радость! Так и полыхает во мне. Мишка ровно споткнулся. И вокруг себя — волчком. Лицо яво уви-дел. И такая в ем... Ну, изумления. Тоды я — второй раз! Правда, сычас не помню, как крючок нажал.

Мишка — наземь. Яблоки из карманов покатились. Потом на руках поднялся — и все. Дале не помню, куда себя определил. Очнулся в избе.

— Так вы не помните, как стреляли второй раз? — спросил я.

Лицо Морковина было мокрым от пота. Оно было радостным.

— Да вроде нет.

— Может быть, вы не хотели убивать Михаила? И стреляли так... В состоянии крайнего возбуждения, не помня, что делаете?

Фролов поднял на меня удивленные глаза.

Иван Матвеевич насторожился.

— Чаво ета? — Морковин усмехнулся, порывисто вздохнул. — «Не хотел...» Встал бы сейчас Мишка, я бы яво сызнову перекрестил. И не дрогнул бы. — В его глазах родился далекий блеск. Медленно поднимались и опускались бескровные, тяжелые веки. Скрипело перо Фролова по бумаге.

— Гражданин Морковин, после убийства Михаила вы спрятали револьвер?

— Да.

— Сейчас мы пойдем, и вы покажете место, где спрятали.

Он немного подумал, потом сказал:

— Ета можно. Пошли.

— Прочитайте и подпишите ваши показания, — сказал Фролов.

Морковин не стал читать. Подписал. Рука его дрожала.

— Позовите милиционеров, — сказал я Фролову.

30

Небо уже было все в неровных тучах, сыпался мелкий частый дождь, наполняя округу ровным шумом. Пахло мокрой землей, мокрыми деревьями.

У правления стояла молчаливая толпа. Никто не уходил, никто не обращал внимания на дождь. Все смотрели на нас, были сосредоточенны.

— Идите к машине, — сказал я Захарычу, — и подъезжайте ко двору Морковиных.

— Слушаюсь, — суетливо сказал Захарыч и немело, приседая, побежал к синей милицмейской машине.

Понятыми стали Иван Матвеевич и Зуев. Другие не согласились, не хотели. Я предлагал — на лицах появлялся испуг и плохо скрытая враждебность.

Мы пошли: впереди Морковин, за ним Семеныч, подтянутый, хмурый, с рукой на пустой кобуре. За ними понятые и мы с Фроловым.

Толпа молча пропустила нас, подождала немного и двинулась следом. Никто ничего не говорил. Было что-то недоброе, настораживающее в этом молчании.

Морковин шел медленно, ссутулившись, смотрел на небо, подставлял руку под дождь; шевелился его ввалившийся рот. Он был совсем спокоен.

Подошли к его двору. Семеныч вопросительно посмотрел на меня: какие, мол, распоряжения последуют?

— Где? — спросил я.

Куртка моя промокла, за ворот капала с волос теплая вода. Вдруг начал болеть живот. Просто невыносимо.

— Там, на краю огорода, — сказал Морковин.

Прошли мимо трех яблонь вдоль плетня, за которым в деревьях сада шумел дождь. Начался ого-

род. Морковин шел между грядок картошки, потом свернул к зарослям огурцов, посмотрел на их ползучие желтые плети, покачал головой, сказал задумчиво:

— Кабы гниль не пошла. Последние огурцы-то остались.

— Ты зубы не заговаривай! — крикнул Семеныч. — Показывай, где схоронил.

Морковин медленно, с насмешкой посмотрел на него.

— Под плетнем, на конце картошки, иде подсолнухи сидят.

Черт знает что! Меня прямо скрючило.

— Вам нехорошо? — тихо спросил Фролов.

Я промолчал. Пройдет. Это у меня бывает тоже на нервной почве. Совсем психом стал.

Подошли к концу огорода. У плетня из трех безрезовых жердей покачивались отцветающие подсолнухи; в их белых сотах собрались алмазные шарики воды.

— Ищите, — сказал я Семенычу.

Ему помогал Фролов. Пока они искали, Морковин стоял к нам спиной — смотрел на изгиб реки, на поля за ней, на гряды старых ветел, которая началась за последним огородом. Все было в туманной пелене дождя, зыбко, неопределенно.

Искали долго.

— Нет ничего, — сердито и обиженно сказал Семеныч.

— Ты чего крутишь, Григорий? — спросил Иван Матвеевич. И добавил резко: — Нечего тянуть, понимаешь!

Зуев все прикуривал папироску и никак не мог: спички гасли в трясущихся от волнения руках.

Фролов сорвал мокрый лопух, вытер грязные, в земле руки.

— Ну? — терпеливо спросил он у Морковина.

— Запаметовал, — вяло сказал Морковин. — В саду схоронил. Под старой антоновкой.

Двинулись в сад. Шли гуськом, по узкой тропинке. Сандалии давно промокли, сырые штанины трепались по ногам. Боль в животе утихла, стала тупой и далекой. Я как-то странно не мог сосредоточиться, думать определенно.

В саду был влажный зеленый полумрак, тонко и грустно пахло яблоками. Морковин оживился: смотрел по сторонам, сломил несколько сухих веток с крыжовника, сказал:

— Сушь бы надо посрезать.

— Где твоя яблоня? — спросил Семеныч.

— Вона, — показал Морковин.

Яблоня была действительно старая, корявая, с ветками на подпорках по самой земле.

Семеныч и Фролов полезли под яблоню. На них обрушилась целая лавина капель. А Морковин под другой яблонькой стал подбирать пададь, быстро, спеша. Складывал яблоки в кучку, качал головой, шевелился его рот.

Вылезли Семеныч и Фролов.

— Ты что, издеваешься над нами?! — закричал Семеныч, подступая к Морковину.

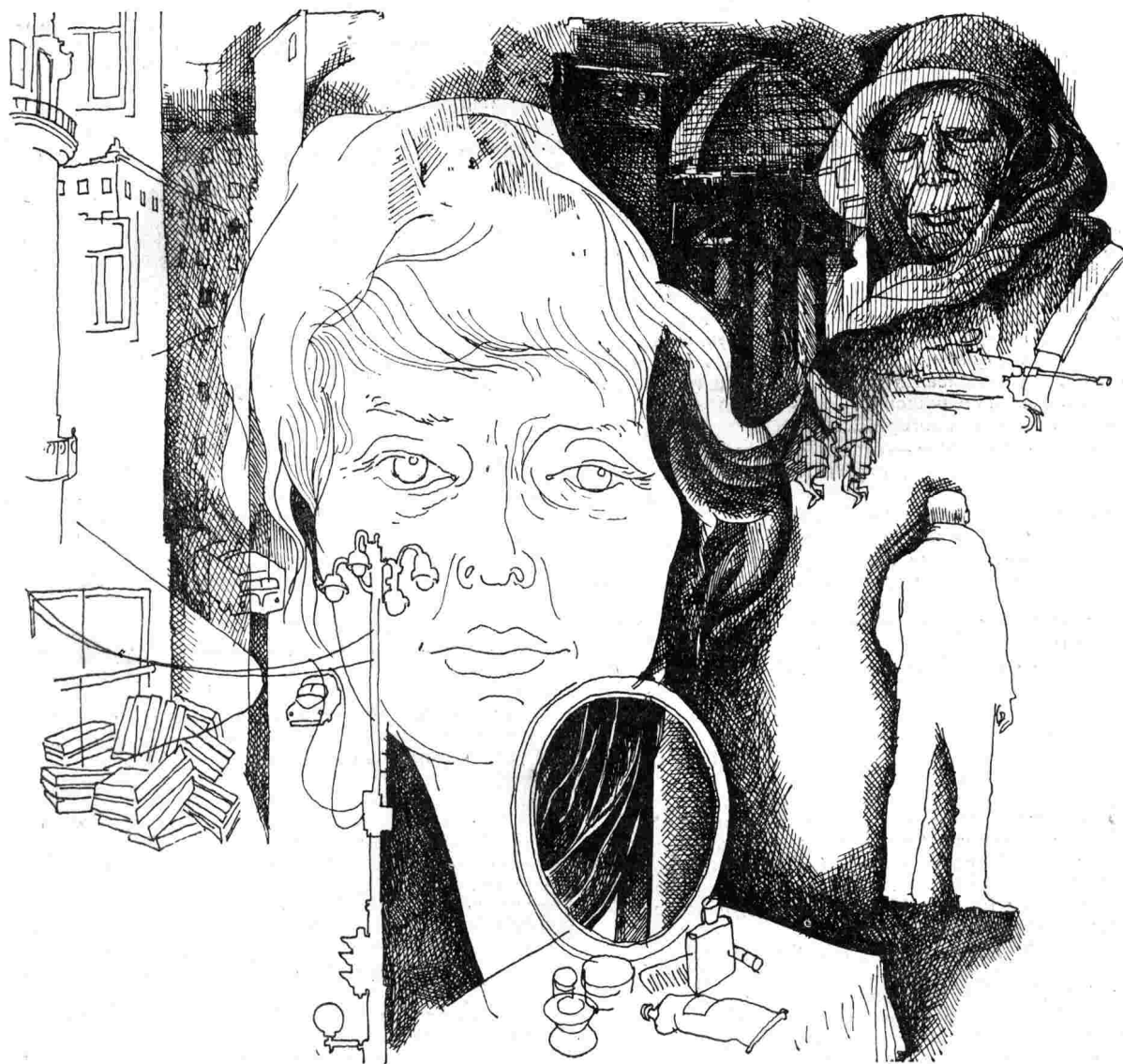
Я остановил его:

— Тихо. Спокойней.

— Ладноть, — сказал Морковин и махнул рукой. Безнадежно так махнул. — В погребе он.

Мы прошли через сад. Уже выходя из него, Морковин поправил доску на заборе, за которым началась усадьба деда Матвея. Попали во двор. В окне избы метнулось лицо Марьи. За забором, на улице невнятно, тихо гудела толпа.

Морковин повел нас в сарай. Здесь было темно, сухо, пахло коровьим навозом.



— Сейчас,— сказал он и щелкнул выключателем. Вспыхнули три лампочки. Тревожное чувство узнавания охватило меня — справа два бетонных стойла, видно, для коровы и теленка, автопоилка, только вода подается из железного бачка. Слева, тоже в бетонном закутке, мирно, сытно похрюкивал поросенок. У закутка выдвижной деревянный пол, две железные скобы; потянешь за них, и пол выдвигается. Дверь в стене. Морковин открыл ее, протянул руку в темноту, щелкнул выключателем. Внизу вспыхнула лампочка, осветила бетонные ступени.

И я вспомнил рассказ Трофима Петровича Незванова о немецкой ферме.

— Там, под кадкой с огурцами,— сказал Морковин.

В погреб спустился Семеныч. Пока мы его ждали, Морковин быстро, торопясь, осматривал сарай: щупал стенки стойл, похлопал поросенка по боку, увидел, что не вычищен коровий навоз, и сокрушенно покачал головой, взял лопату, сгреб навоз к краю.

Вылез сияющий Семеныч.

— Вот! — сказал он и протянул мне револьвер.

Это был старый револьвер, весь в ржавчине. Но четко на рукоятке виднелись две буквы: «Р. П.». Витиеватые, кудрявые, с загогулинами.

Взял револьвер Фролов, повертел в руках, передал Зуеву.

— Он,— сказал Пантелей Федорович и громко проглотил слюну.— Он...

— Чего же ты нас водил? — радостно, возбужденно спросил Семеныч.

Морковин посмотрел на него...

— Не знаю. — С сожалением, пожалуй, сказал тихо: — Молодой ты, несмышленный. Вся моя жизнь тут... можа, последний раз! — В голосе его прозвучало отчаяние.

Фролов стал писать акт об изъятии оружия, повернувшись к открытой двери. Опять скрипело перо по бумаге.

— Скажите... Скажите, Морковин,— спросил я.— Вы же понимали, что вас арестуют (он посмотрел на меня, и по его взгляду я почувствовал, что он не понимал этого). Почему же... вы не попытались скрыться?

Теперь он смотрел на меня с удивлением.

— А куда скрываться? Куда я со своо двора? Мне боле некуда.— И вдруг спросил с внезапным удивлением (или догадкой): — Что же меня теперя? К стенке?

— Не знаю, Григорий Иванович,— сказал я.— Мери наказания определит суд.

Стали подписывать акт. Все это сделали быстро, только у Зуева не получалось: он все встряхивал авторучку, пальцы его дрожали, не слушались; он хмурил густые брови, на которых висели капли дождя. Наконец расписался крупными, решительными буквами, сказал сокрушенно:

— Эх, Григорий, Григорий...

— Ведите к машине,— сказал я Семенычу.

Морковин засуетился, стал быстро, мелко ходить по сараю.

— Все? — спрашивал он.— Все, да?

Никто ему не ответил.

— Пошли.— Семеныч легонько толкнул Морковина в спину; молодое круглое лицо его вдруг стало виноватым.

И тогда Морковин опять успокоился, погасил везде свет и только после этого вышел из сарая.

Дождь совсем разошелся. Лило густо, ровно. С крыши вода бежала прозрачной стенкой. Во дворе натекла пенная лужа, в ней надувались и лопались желтые пузыри. Все было пронзительно-зеленым и чистым; остро пахло травой, деревней. Невозвратным.

Морковин вышел на середину двора, подставил лицо дождю, расстегнул ворот рубахи, глубоко, возбужденно дышал, быстро поднимались и опускались белые, бескровные веки. Он сжимал и разжимал кулаки, шевелил его впалые губы. Чем-то он был похож на старое, кряжистое, дуплистое дерево, которое подохла гроза.

— Добрый дождь, добрый! — быстро заговорил он.— Сейчас в лугах хорошо, духовито. А по-над речкой, небось, туман склепается, сторожкий такой, легкий. И дождь яво прошиваить.— Он спешил, спешил говорить.— А ночью-то разгуляется. Вон край неба чистый. Тихо станет. И звезды по небу.— Повернувшись к избе, он вдруг замолчал.

Около избы стояла пестрая крупная корова, а рядом — Марья, потерянная, мокрая, с бессильно поникшими руками. Смотрела на мужа, на нас.

Морковин преобразился: лицо его стало злым, напряженным, запрыгал правый уголок рта. Он закричал иступленно, брызгаясь слюной:

— Да ты что? Очумела? Никак, корова не доена? Чтоб она молока сбавила? Али отел задержался? На рынке-то молоко ныне вздорожало! А ты! Копейку не бережешь! По миру мене пустить хочешь!

Семеныч взял его за плечи, повел к калитке. Морковин вертел головой, все кричал:

— Ой, гляди, Марья!.. Ишь, добро не бережеть! Слышь, чтоб вовремя доить! Да яблоки-падалицу, я насбирал, продай. Слышь?

Все вышли на улицу. Следом за нами, как слепая, брела Марья.

На улице, вокруг милицейской машины, стояла молчаливая мокрая толпа. Опять расступились перед нами, образовался коридор. По нему Семеныч повел Морковина. И он вдруг остановился, стал упираться. Оглядывался, оглядывался, оглядывался...

Подоспел Захарыч. Они под руки повели Морковина к машине.

Его насильно втокнули в машину. Следом влезли милиционеры. Хлопнула дверца. За решетчатым окошком металось лицо Морковина. Машина тронулась, круто развернулась, запрыгала на ухабах.

Толпа молчала. Смотрела вслед синей машине с красной полосой по борту.

Вдруг за толпой страшно завывала Марья. Потом вой оборвался: Марья завалилась на бок, видно, потеряла сознание. Над ней склонились старухи.

— Мне бы его сейчас каким он в колхоз вступал,— тихо сказал рядом Иван Матвеевич.— Еще можно было человека выпелить.— И вздохнул.— Совсем без рабочих рук пропадем.

Опять все молчали. Шумел дождь.

И тут я услышал всхлипывания. Еще не повернувшись, я почувствовал, что это Катя. И, точно, это была она. Растрепанная, босая, в мокром платье, прилипшем к телу, так что четко были видны маленькие, крепкие груди, Катя даже поднялась на цыпочки, чтобы видеть машину, и смешно, по-детски плакала, взхлеб.

Теперь все смотрели на нее.

— Ты чего это? — сердито спросил Иван Матвеевич.

— Он же ста-арый... Стары-ый-преста-арый!.. — сквозь всхлипывания сказала она.— Ведь все-о равно! Все ра-авно!..

Рядом с Катей стоял пегий, блестящий от дождя теленок с белой звездочкой на лбу; он потешно, беспомощно переминался на длинных ногах, прижимал уши к голове и сосал Катин палец.

31

В сентябре в нашей прокуратуре торжественно отмечали шестидесятилетие Николая Борисовича Змейкина. Много было гостей, приветствий; под оркестр вручали грамоты, награды, подарки. Сам юбиляр в строгом черном костюме казался величественным, усталым, очень добрым и мирным на вид. Всем дружески, немного грустно улыбался. И мне тоже. Вообще со мной Николай Борисович ровен, даже приветлив. Правда, давно не говорит, что я дальний корабль. Теперь дальний корабль — Воеводин. Шеф ему усиленно покровительствует.

Кстати, от сослуживцев приветствовал юбиляра как раз он, молодой следователь Воеводин. (У него длинное лицо с тяжелым подбородком, зоркие глубокие глаза под светлыми бровями; когда Слава Воеводин говорит, он сильно потирает руки и часто сморкается в безукоризненно белые душистые платки.) Речь он произносил очень проникновенно и взволнованно. И, по-моему, сам был растроган больше всех.

С ответным словом к присутствующим Николай Борисович обратился уже за банкетным столом, когда немного выпили. Всех благодарил. Сдержанно сказал, что не заслужил столь высоких похвал и наград и воспринимает все это как аванс за будущую работу.

Сказал:

— Шестьдесят лет, друзья,—это, увы, много. Все было за эти шестьдесят лет: и победы, и ошибки, и разочарования. Но одно я могу сказать твердо: я честно исполнял свой долг, я делал то, что мне велела моя партийная совесть. Нелегка наша профес-

сия, но почетна. Мы ассенизаторы истории. Не всегда нас правильно понимают. Что же, скажем словами поэта: «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм!» — За столом бурно захопали. — Работы впереди много. А я уже стар... Но нет! Я не унесу свой опыт с собой. Я отдаю его молодым! — Опять аплодировали. Слава Воеводин, наверно, отбил ладони. — А для них сейчас открываются огромные возможности! Сейчас, когда во всех сферах нашей жизни восстановлены ленинские нормы. — Он немного помолчал. Знакомый лихорадочный блеск появился в его глазах. — И в нашем сложном хозяйстве — тоже. И я призываю своих молодых коллег: помните, вы стоите на страже советской законности! В ваши руки попадают человеческие судьбы. Будьте внимательны и чутки к ним. И гуманны! Ибо один ваш неверный шаг может искалечить целую жизнь. И всегда — всегда! — в самом тяжелом деле пусть будет поправка на добро!

Все взволнованно аплодировали.

Кроме меня.

Напротив, немного сбоку, сидела Таисия Яковлевна, бледная, со светской улыбкой на выхоленном лице. Временами я ловил на себе ее настороженный взгляд.



Процесс над Морковиным все откладывался и откладывался. Я мучительно ждал его. Я боялся его, понимая, что причастен теперь к судьбе этого человека. А он причастен к моей.

Подоспел мой стпуск. У меня была путевка в дом отдыха. В Крым, в Алупку. Я уехал, испытывая жгучее беспокойство. Я чувствовал, что суд над Морковиным начнется без меня.

Было начало октября. Хорошо поздней осенью на юге: безлюдно, прохладно. Зеленые горы сторожат тишину. Хорошо в пустом кафе пить кислое вино и смотреть на море. И думать. Я часто ловил себя на том, что думаю о Морковине...

...А еще хорошо загорать на пляже, спрятавшись от ветра за каменной глыбой. Солнце припекает, шумят рядом ленивые волны, йодисто пахнет водорослями. Начинаешь легко дремать, и перед тобой зыбко проплывают видения детства, когда все ясно и чисто.

В тот день было по-летнему жарко; солнце слепило глаза; рядом тихо плескалось море.

Я увидел свой трехколесный велосипед со сломанным рулем, своих десятилетних сверстников в нашем московском дворе, потом, отчетливо и ясно, доброе лицо мамы, нашу комнату и над столом фотографию отца времен войны. Тут возле самого моего носа остановились ноги в синих резиновых тапочках. Довольно стройные ноги.

— Опять уединяетесь, Морев, — сказали вверх. Это была Роза, соседка по столу, в общем, милая девушка, только она скучала, потому что в доме отдыха почти совсем не было молодых людей, и по этой причине Роза преследовала меня. Правда, нужно отдать ей должное, не очень навязчиво, по-провинциальному. — Между прочим, там вам телеграмма. Хотела принести, гардеробщица не отдает. «Телеграммы, — говорит, — только в личные руки». У вас, Морев, личные руки?

Роза говорила что-то еще, но я уже не слышал — я бежал к дому отдыха, одеваясь на ходу. Я уже знал содержание телеграммы.

Оно было такое: «Начало суда Морковиным двадцать пятого двенадцать часов дня тчк. Целую Люся».

«Двадцать пятого... Сегодня двадцать третье. Успешно. Должен успеть...»

Вечером этого же дня я летел сто двенадцатым рейсом «Симферополь — Москва».

Лайнер прошел сквозь густую облачность, и теперь под нами простирались спокойные белые поля, и на востоке, в полгоризонта, лежала на этих полях пронзительно-оранжевая, неестественная заря; небо над зарей и белыми полями было темно-аспидное, застывшее и тоже неестественное. Во всей этой необъятной пустынности ощущался первозданный холод.

Ровно гудели двигатели; лайнер мелко дрожал. Пассажиры шелестели журналами, тихо беседовали, подремывали.

«Итак, послезавтра...» — думал я. И уже раньше испытанное чувство завладело мною: я вторгаюсь в неотвратимую человеческую беду; и теперь я не только наблюдатель и исследователь: я — участник всего происходящего.

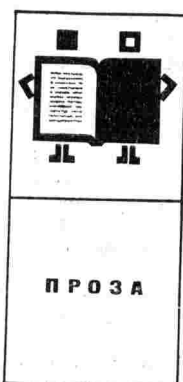
По салону на длинных ногах царственно шла стюардесса с неизменно-любезной улыбкой на бесстрастно-красивом лице; она несла поднос; на подносе стояли приземистые фужеры с минеральной и фруктовой водой. Фужеры тонко позванивали.

Киев — Москва — Тула.



Г. Тамирина

СПОЛОХИ



ПОВЕСТЬ

Памяти капитана Георгия Филиппова, агитатора отдельного 30-го зенитно-пулеметного полка, погибшего в боях с японскими империалистами в августе 1945 года, посвящает эту повесть

Автор.

Рисунки В. Юдина.



Товарищ майор, комсорг шестой роты Степная прибыла в ваше распоряжение! Майор Жерминский, не поднимая глаз, дотягивал по линейке прямую на карте, бормотнул:

— Нужна ты мне...

Дотянул, сдвинул линейку. Один глаз прищурил, другим примерился, соображая. Так одним глазом и посмотрел на нее.

— Вольно! Гуляй пока.— И подчеркнул что-то.

Просторная штабная землянка привычно гудела негромкими голосами, зуммерами аппаратов, ключами раций. Вернее, та ее половина, где стояли длинные, из досок столы. Вторая половина: карты, схемы, бумаги. Посредине канцелярский стол, неведомо как попавший сюда. Нормальный стол рядом с громадным Жерминским выглядел детской игрушкой. Степная дождалась, когда Жерминский отложил карандаш.

— Товарищ майор...

Жерминский выпрямил усталую спину — скрипнули ремни.

И — Ты чего? — И вдруг захохотал, захохотал, замалхал ручищами.— А-а-а!.. Знаю, что тебя интересует! Знаю, да не скажу — сам не знаю.— Скаламбурил, кивнул на карту: — Только север исключается!

Это она и без него знала. С севера уводят части: война здесь кончилась. По слухам, уводят на Дальний Восток — там тоже нет войны. Войны нет, а скопление сил идет. Чтобы помочь Китаю? Или напасть на Японию?

— Топай к штабняшкам! — грохочет Жерминский.

К штабным девочкам не хотелось, не сумела познакомиться с ними. Лучше к Окуню. Она не сразу отыскала землянку майора Окуня в лабиринте штабного подземелья: ходы, тоннели, коридоры. Наконец толкнула дощатую дверь и услышала знакомый голос.

— ...Понадобилась елочная эпопея? — не без сарказма спрашивал кого-то майор. — Кому нужны эти сантименты?

В тамбуре не было света. Широкая полоса из приотворенной двери упиралась в угол, обшитый нестругаными досками.

— Вы учитель, — говорил майор Окунь. — Я тоже

учитель. В мирной жизни... Здесь армия, и война не кончилась. Люди должны быть предельно собраны. Мы с вами отвечаем за боевой дух армии. А вы им олочки! Пожалуйста, вспоминайте дом, деток! То-скажите по мирной жизни, теряйте солдатскую форму!..

Незнакомый голос, низкий, сдержанный, перебил: — Не рассказывать же мне вам, товарищ майор, прописные истины. Скажем, о комиссарах и...

— А-а-а! — обрадовался тенорок майора. — Институт комиссаров упразднили, насколько мне известно! Именно потому, что комиссары мешали...

— Ко-мис-са-ры не ме-ша-ли, — раздельно сказал незнакомый голос. — Тут была иная причина. И, наконец, я не до конца согласен с упразднением института комиссаров.

— О-о-о!.. — Майор был не то растерян, не то поражен. А может быть, рассержен. Какое-то время за дверью помолчали, потом майор негромко спросил: — Ну, а что станут делать те, что в тундре?

— Они уехали с елками.

— С елками? Где они взяли елки? Стойте, стойте!.. Мне говорили, что агитаторы ходили в лес. За елками?

— Да.

— Вместо семинара?

— Почему же вместо? Это и был семинар. Агитаторы получили очередную задачу...

— ... как украсить елочки...

— ...и как закрепить ненависть к врагу.

— Та-ак, — протянул майор. — И теперь хотите ехать к солдату — самолично вручить ему письмо школьницы?

— Настаиваю, товарищ майор. Солдат — подросток, сирота.

Опять там помолчали, за дверью.

— А не кажется ли вам, — заинтересованно спросил голос майора, — что вы распыляетесь на мелочи?

— Не кажется, товарищ майор.

Кто-то встал, затенил полоску света. Она попятилась, открыла спиной дверь, скользнула в коридор. И только теперь испугалась — ведь подслушивала! Выбралась наружу, ткнулась горячим лицом в снежный бруствер, — обожгло холодом, но легче не стало. Завернула к парторговской землянке.

Парторг полка, капитан Макаров, на ходу пожал руку.

— Располагайтесь, Степная. Топите... А я в подразделении.

Она потопталась на морозных половицах, поежилась — от холода, неуютности, дурного настроения. В парторговской землянке давно не топлено. Но у печки — навалом колотые дрова. На печке — два коробка спичек и финский нож.

Она взяла нож в руки — широкое и острое лезвие, наборная ручка из цветного плексигласа. Изготовление их — монополия авиационных частей, у них в досталь материала, железо и плексиглас с разбитых самолетов. Но ножи есть во всех родах войск: авиаторы охотно раздаривают продукцию, хотя берегут секрет изготовления. Сказывается затишье на Карельском фронте. Вот уже два месяца — после выхода Финляндии из войны, после разгрома немецких войск в Норвегии — на Кольском полуострове, от Мурманска до Кандалакши, стоит тишина.

Еще потопталась, еще поежилась: хочется не хочется, топить надо. Выбрала поленец потоньше, попрямее, присела на корточки. Подумала, что в общем-то все равно: на запад или на восток, против Японии или против Германии. Только бы не запасной полк. Может, наконец, ей повезти, раз за всю войну?

Она пришла в военкомат на четвертый день войны. С ней разговаривать не стали — иди, девочка, домой. А ей было почти семнадцать, просто такая длинная и худая. Слабая с виду. Но ее слушать не стали. Она все равно ходила каждый день — в военкомат, в райком комсомола. Видела счастливых, таких же, как она, девчонок и мальчишек, может, чуть старше. Они пели: «Дан приказ ему на запад...» И она настойчивее стучала в закрытые двери.

Через два месяца и десять дней ей вручили повестку. Почему-то самым убедительным доводом оказался берлинский диалект. Было немножечко обидно, что понадобилась не ее доблесть, а немецкий, в чем даже не было ее заслуги. Просто легко даются языки. А у них соседи — немецкие коммунисты, политэмигранты. Впрочем, важно, что призвали, — она покажет себя.

Не по земле, по подвигам в мечтах своих шагала с рюкзаком за плечами: спасала полководцев, шла на танки, поднимала бойцов в атаку. Ползла по снегу, прыгала с парашютом, плыла через реку. Сражалась, побеждала, погибала и — возрождалась. Совсем погибать не хотелось. Хотелось совершить еще такой подвиг, какого не совершал никто. Она торопилась, не то кончится война.

Дело продвигалось медленно. Был запасной полк, где учили ходить в ногу и стоять в карауле у пустого сарая. Только знакомство с боевой винтовкой и учебные стрельбы как-то мирили ее с запасным полком. Потом был штаб корпуса на Карельском фронте.

Штаб был, а фронта не было. Может, сто верст до передовой. Может, над головой сто метров гранита. Даже не слышно, когда бомбят. На этот раз немецкий подвел: посадили ее переводчиком. Она и здесь искала подвига: можно подготовить речь и выступить перед солдатами вермахта. Солдаты запутаны гитлеровской пропагандой. Так ей объяснил Карл Иоганнович, их сосед. И она часами сочиняла речь, подбирала убедительные слова, доводы. Произнести речь не пришлось. В дневниках и письмах, которые приходилось переводить, была тупая ненависть к русским, советским, красным. Жестокость и смакование жестокости. Не заблуждения, а убежденность. Пленные держались так, словно приходили парламентариями от фашизма.

Так к ней пришла ненависть — к людям, которые несли фашизм. К врагу. Это уже было нечто реальное, не девчоночьи мечты о подвиге. Она просилась к партизанам, в десант, на передовую. Мучил стыд: приходили люди с передовой, от них пахло землей и гарью, смертью. Плохо бритые, плохо мытые. Она прятала под стол свои чистые руки, краснела за белый подворотничок. За то, что трижды в день ела.

Однажды она встала из-за стола и пошла. В ту сторону, откуда раскатами весеннего грома доносились орудийная стрельба. Через два часа ее задержал патруль. Почему-то не отдали под трибунал. Отправили в учебную роту связи, а оттуда — в формирующийся пулеметный полк. Это было тяжелое время: в темном зимнем небе рвались наши снаряды, на земле рвались вражеские бомбы. Бомбили беспрерывно — сутки, недели, месяцы. Враг рвался к Мурманску и Кандалакше. Крошил железнодорожное полотно, гонялся за железнодорожными составами... И все равно — это было не то, о чем мечталось...

Она не слышала, когда открылась дверь и под чьими-то ногами скрипнули половицы: занята была единоборством с поленом, тянула из него нож за скользкую ручку. Веселый азарт отвлек от грустных мыслей. Шапка съехала на глаза, рассыпались волосы. Одна прядь зацепилась за погон. Не было времени отцеплять: лезвие намертво застряло в полене.

Вдруг прядка перестала тянуть, кто-то осторожно и не очень умело заправил ее за ухо. Она вскинула глаза, прищурилась: белая и широкая, словно зимняя тундра, улыбка ослепила. Стало тревожно от неправдоподобности — таких улыбок не бывает. А улыбка пристроилась рядом, человек присел на чурбачок.

— Ну-ну, и откуда взялась она здесь, прекрасная амазонка? Чем она изволит заниматься?

И она приняла шутку. Развернула плечи, кинула руку к шапке, отпартовала с колен:

— Так что, товарищ капитан, выполняю боевое задание парторга полка по растопке печи!

— В-вольнo, товарищ р-р-рядовая! — гаркнул он.

От неожиданности она осела на пятки.

— Может, у вас два горла, товарищ капитан?

Он лишь улыбнулся, широко и белозубо, а глаза заразительно смеялись — серые, в зеленых крапинках зрачки, тонкие лучики морщинок.

— Господи, — проговорил он мягко, — чего делает эта амазонка своими пальчиками-карандашиками? Дайте...

Он взял у нее полено, вытащил из него нож — не заметил настороженного взгляда. Где ему было знать, как она ссорилась со старшиной, когда старшина пытался оградить ее от тяжелой работы. Трудно? Всем трудно. Когда трудное поровну, всем становится легче.

— Р-раз!.. Р-раз!.. — приговаривал он, отсекая от полена тонкие лучинки. — Нет ли кусочка бересты?

Она подтолкнула щепкой кусок березовой коры. Он и этого не заметил. Разгреб золу, положил на решетку кусочки бересты, на бересту — лучинки. Чиркнул спичкой. Сухая березовая кора вспыхнула розовым пламенем. Заалели лучины. Он подкинул в топку пару тонких полешек — огонь завьюжил в печи, загудел.

— Чувствуете работу потомка балтийских кочегаров?

В землянке сгустились сумерки, и потому он прибрилизил лицо. Она отшатнулась, но он разглядел сомкнутые брови.

— Вы сердитесь? — недоуменно спросил он. — Почему?

— Не выношу мужскую спесь!

В розовом отсвете пламени лицо его погрустнело.

— Я мужлан, — покаянно произнес он. — Простите, не сумел помочь тоньше... Но и вы поймите меня: не могу спокойно видеть на войне женщин... Она протестующе выпрямилась, но он не дал ей говорить. — Знаю, знаю!.. О равноправии хотите. Так я тоже за равноправие. За гражданское равноправие. Духовное. Юридическое. Какое хотите! Только не за физическое. А война — физическая работа. Мужская. И стыд нам, мужчинам, что сами не управляемся...

Такого она еще ни от кого не слыхала.

— Какой вы... — И осеклась. Она вспомнила его голос. Голос незнакомца из землянки майора Окуна — низкий, спокойный, убежденный.

— Какой — какой? — спросил он.

Не могла же она признаться, что подслушивала. Сказала невразумительно:

— Такой...

— Понятно.

Он тихо рассмеялся. И она неожиданно для себя радостно улыбнулась.

— Вот и выяснили отношения. Давайте знакомиться.

Рука ее потонула в его ладони.

— Татьяна Степная. Пока еще комсорг шестой роты.

— Юрий Филиппов, — сказал он. — Новый агитатор полка. Запомнили? Юрий. Просто — Юрка.

— Почему Юрка?

— Не знаю! Так меня зовут с детства. — Он поднес руку с часами к топке и поспешно встал. — Мне еще в третью роту с письмом... Танечка, а куда запропастился хозяин?

— Капитан Макаров? — сухо спросила она, суше, чем хотела. — Уехал в подразделение.

— Без меня? — нарочно ужаснулся он.

— Очевидно, без вас, — почти безразлично ответила она.

Мало ли бывает на войне: встретятся, поговорят и разведутся — ничего в этом обидного нет.

— А вы долго здесь будете?

— Не могу знать. — И все же в голосе ее звучала плохо скрытая обида.

Это правда, она не могла знать, как долго пробудет здесь: час, год, пять минут. Солдатские судьбы вершатся помимо воли солдат. Откуда-то сверху идет приказ, он спускается по ступенькам — от старшего к младшему. Дойдет до солдата, тот безоговорочно его выполнит. И в этот раз все произошло так.

Она дежурила на ротном КП. Каждые пятнадцать минут докладывают наружные посты: спокойно, метет метель; каждые полчаса докладывают из взводов: спокойно, метет метель; каждый час докладывает она КП батальона: спокойно, метет метель.

А около трех ночи прогудел зуммер. В трубке услышала голос майора Жерминского — вызывает начштаба их батальона, капитана Асадьку, а сам командует: всем на линии положить трубки.

Пока ходили за капитаном Асадькой, майор Жерминский устроил проверку:

— «Ромашка», слушаешь? «Фиалка», слушаешь? «Незабудка»? «Гладиолус»? — и так далее. Весь немислимый букет, точно его придавили полярные снега, не отзывается. Жерминский хохотнул: — Брешете, черти! Признавайтесь.

Ей было неинтересно, о чем говорят начштабы, полковой и батальонный, но звук в трубке, как в динамике, — услышала свою фамилию. Трубка так и лежала на столе, она лишь наклонила к ней ухо.

— ...замените Степную, товарищ майор.

— Николай Николаевич! — перебил веселый рокот Жерминского. — Когда научишься приказы не обсуждать?

Асадько стоял на своем:

— Для пользы дела, товарищ майор.

— А ты думаешь, — рокошет Жерминский, — мы тут враги сами себе?.. Приказ корпуса.

Асадько молчал.



— Так-то, Николай Николаевич. Отправляй с пассажирами.

— Слушаюсь! — глухо ответил Асасько.

— Вот так, — заключил Жерминский. — Понимаю твои чувства и...

Асасько напомнил:

— Нас слушают, товарищ майор.

Жерминский нестрашно пригрозил:

— Всем слушачам уши псобрываю! Слышите, черти?

Кто-то фыркнул на линии.

До смены оставалось пять минут, до поезда — около двух часов. Пошла будить Галку. Еле растрясла: ставишь на ноги — валится в мохнатое тепло полушубка. А с минуты на минуту позвонит капитан Асасько, пусть Галка будит ротного. И тогда она применила сильнодействующее средство:

— Рядовая Смирнова, вас требует командир роты!

Галка востропанно щупала темноту, отыскивая одежду. Две минуты — брюки, сапоги, гимнастерка натянуты. Втолкнула Галку на КП, загудел зуммер. Галка подхватила трубку...

— «Ромашка» слушает.

Галка, провозжая ее на станцию, ревела белугой.

И у нее тоже пощипывало в носу: много соли съели вместе. И с Галкой и с другими. Как ни легки на войне встречи и расставания, а повсюду оставляешь частицу жизни.

Мирная ночь Заполярья накрыла Кольский полуостров мохнатой медвежьей шкурой. Было тихо и темно. Хотя по московскому времени начиналось утро. Таков север: зимой иной раз не найдешь дня, летом то и дело теряешь ночь. Она слышала Галкины всхлипы, держала ее руку в своей, а мыслями уже была вдалеке. Куда едет? Зачем? Не спрашивать об этом за время войны научилась, а не думать — нет.

5

Она почти обрадовалась, когда Филиппов вернулся. Постучал на пороге валенками, оббивая снег, что-то громоздкое поставил в угол. Спросил из темноты:

— Скучаете?

— Да, — ответила она и почему-то поправилась: — Нет.

Он распахнул полушубок, сдвинул серым валенком чурбачок, сел.

— Да или нет?

— И да и нет. Думаю.

— О чем?

— О разном. Когда вы вошли, — о роте.

— Между прочим, завтра еду в вашу роту. Рад, что знакомство уже состоялось.

— Состоялось? — переспросила она. — Считайте, не состоялось! Я уезжаю... Странно как. До сих пор мы были одно: рота — это я, я — это рота. Теперь наоборот: рота сама по себе, я сама по себе. Вы приедете, а командир роты скажет: «Комсорг? Степная? Не знаю такой!»

Наплыла из тьмы нескладная мальчишечья фигурка с двумя звездочками на погонах. Золотых. Все носят полевые — он золотые, новенькие. Ремни новые, пуговицы новые. Сапоги скрипят. Ужасно нравится сам себе: кончил училище на «отлично». Чувствует себя мессией, вроде нимб над головой светится. Уверен: война не кончилась, потому что его здесь не было. А рота боевая — со своими традициями. Стал крушить традиции, и — нет, не получается. Кричит: «Разгильдяи! Партизанщину развели!» Где понабрался дури, кого-то ведь копирует!

Из-за Галки была главная ссора ее с ротным. Конечно, Галка — растеряха. Галка — засоня. Случается, проспит, не успеет причесаться. Ротный раз вывел ее перед строем, заставил снять шапку. Смотрите! Солдаты смотрели — на ротного. Галку они знают полтора года, со дня формирования полка. Под бомбежками восстанавливала связь. Тянула по сугробам катушки, когда рота меняла позицию. Перевязывала раненых и копала землю.

Ротный позеленел, завизжал: «Не смеете указывать!!! Да я вас!!!» Ногами затопал, может быть, неврастеник. Сказала: «Вы — комсомолец, я — комсорг». «Не так!!! — орал ротный. — Вы — солдат! Я — офицер!» «И все-таки вы выслушаете». Выслушал. Как ни бесился.

— Понял что-нибудь?

Она невесело усмехнулась.

— Как же не понял!.. «Попомните вы еще меня, Степная!»

— И как?

— Ничего, твердо выполнял обещание.

— Из-за чего вы поссорились в последний раз?

— Последний? — Она вскинула брови. — Вам что-нибудь известно? Просила ведь Горячова... В общем, из-за приказа Верховного Главнокомандующего.

— Ого! — воскликнул Филиппов. — Любопытно!

Она чуть поколебалась.

— Ладно, раз начала...

В роте шесть взводов. Взвод от взвода — от шести до десяти километров. Раз в неделю по дню — целая неделя. Не всегда хватает дня на взвод. Не всегда, как задумаешь, вовремя приедешь. Но стоит ей появиться на КП, ротный самолично определяет ее на пост, на дежурство, в наряд по кухне. Потом и этого показалось мало: стал ловить ее во взводах.

Четыре дня назад во взводе Горячова удалось прослушать и записать в общих чертах приказ Верховного Главнокомандующего войскам 3-го Украинского фронта. Благодарность за прорыв сильно укрепленной обороны противника юго-западнее Будапешта. С двумя взводами от Горячова есть связь, им передала сама. С другими взводами можно разговаривать лишь с ротного КП. В шестой роте это давняя традиция: кому удастся прослушать оперативную сводку, приказ или иные сообщения, записывают и тотчас сообщают на КП. Чтобы передать

всем. Официальные сводки приходят поздно. Газеты — тем более.

Словом, трубку взял ротный. Доложила. Попросила позвать Галку, чтобы она записала. Ну, тот начал: Галки нет, он не вестовой у комсорга. Она прервала: «Вам комсомольское поручение, товарищ лейтенант. Запишите приказ и доведите до взводов». Трубка минут десять захлебывалась криком, потом потребовала Горячова и приказала: «...кончится комсомольское собрание, поставь эту разгильдяйку на всю ночь — пусть мозги продует!» Горячов сказал: «Ставлю вас в известность, товарищ лейтенант, буду писать рапорт на имя майора Окуня. Что вы травите комсорга! Что вы отказываетесь довести приказ Верховного Главнокомандующего до личного состава!»

— Видите, какой фрукт! — огорченно сказала она. — Отговорила Горячова писать: ротному же за это трибунал. И не такая я беззащитная: не люблю, чтобы жалели...

И подумала: а с чего разоткровенничалась? Даже Асатьке, большому другу, не жаловалась, — тот мог своей властью оградить. Верно, слишком долго, два месяца, копилась горечь.

— А он, между прочим, написал, — прервал молчание Филиппов.

— Кто? Горячов?

— Нет, ваш ротный. — Он достал из планшета какие-то листки, пошелестел ими. Весело спросил: — А чего ему ваши волосы не понравились? Очень даже милые!

— Чепуха какая! — рассердилась она. — Неужели и про это писал? Майор Окунь разрешил девушкам носить длинные волосы, а ротный хотел нас с Галкой постричь, ну и... Глупость какая!

Он встал, прошел куда-то во тьму, и под потолком загорелась неяркая лампочка. Он как-то даже мечтательно произнес:

— Вправлю я ему мозги, вашему ротному!

— Вправите. Новых не вставите... Нельзя ему доверять роту. И взвод нельзя. Разве что расчет. А у нас половина взводных — сержанты. Но, по-моему, из двух зол...

— Вы что же, так ему все и говорили?

— Говорю, что думаю, — отрезала она.

А он откровенно расхохотался — тоненько, залиvisto.

— У него слово в слово записано. В рапорте.

В дверь постучали. Филиппов, смеясь, крикнул:

— Валяйте, входите!.. Самуил? Входи, дорогой!

6

Майор Титомир шурил после тьмы глаза, растирал с мороза руки.

— Ты чего тут хозяйнуешь, Юра, а? Ты один? Где Макаров? И чего ты, с позволения спросить, сидишь в шубе — чтоб простудиться? Или ты опять на лыжах бегал? Откуда здесь взялись лыжи? Я могу дожидаться от тебя ответа, Юра?

Филиппов сказал тепло:

— Конечно, отвечу, если ты, дружище, выберешь из всех вопросов один. Иди к огоньку, раздевайся. Танечка, где вы?

Она не отозвалась из затененного угла между стеной и печкой, куда задвинулась при виде Титомира.

— Вылезайте, Танечка, — наш эскулап не кусачий.

Титомир даже не снял до конца шубы, так и протасил на одном рукаве. Заглянул за печь, просыпал вопросы:

— Что это значит, Юра? Танечка? Что за Танечка? Дама? Юра, я тебя спрашиваю?

Выпуклые глаза Титомира нащупали ее. Он смотрел на то, как Филиппов помогает ей снять полушубок, и огромная картофелина носа синела в негодовании.

— А-а-а! — обрадовался Титомир. — Так эту девицу ты именуешь Танечкой? А, Юра? Эту, и никакую другую? А если ты ошибаешься? Если она никакая не Танечка, а просто Танька?

— Товарищ майор! — запротестовала она.

Филиппов подвинул справа от себя чурбачок, хлопнул по нему ладонью.

— Садись, Самуил, рядом — поговорим ладком. Так меня мама унимала в детстве.

Степная тоже вступает в разговор, хитрит:

— А вы поправились, товарищ майор. Стали... это... красивым.

— А что? — соглашается Титомир. — Могу я отъестся на безделии? Два месяца скальпель в руках не держал. Дисквалифицируюсь, спишут в обоз чирьи резать да аппендицитики.

— Что вы, доктор! — искренне возразила она. — Вас же на весь фронт хвалят как хирурга.

— А что? — соглашается Титомир. — Есть, кажется, такое.

Вдруг Титомир повсрачивается всем грузным телом на чурбаке, преехидно спрашивает:

— Уж, не думаете ли вы, что вас спасает ваша обезьянья лесь?

Она с отчаянием оглядывается на Филиппова, и тот говорит:

— Самуил, может быть, не надо.

— Ах, «может быть, не надо»! — распаляется Титомир. — Нет, дорогой Юра, надо! Я, как честный друг и честный...

Она старается не слушать и все-таки слышит.

— ...и была эта девица доставлена ко мне под конвоем. Ты можешь себе представить такое, Юра? Чтобы два солдата с автоматами вели под ручку? А как она себя держала, Юра? Как темная деревенская женщина...

— Ну, Самуил, — перебивает Филиппов. — Тебе дай волю, ты весь фронт уложишь в госпиталь. Кроме себя.

— Да, да, да! — раскричался Титомир. — Ты ее защищай, Юра, беззащитную! А ну, скажите, разлюбезная девица, сказал ли я слово неправды? Ну? Может, у вас не было температуры? Или я придумал солдат с автоматами? И прежний ротный не отправлял вас под конвоем к врачу, как нарушителя на гауптвахту? Отвечайте, так это было или нет? Ну?

Она не отвечала.

— А-а-а, молчите! — торжествовал Титомир. — Разве вам есть что возразить? Видишь ли, Юра, без этой сумасбродки мог развалиться Карельский фронт. Как, ты не знаешь этого? Может быть, ты не знаешь, Юра, и того, что она сама себе доктор? Что же ты тогда знаешь? Может быть, знаешь, Юра, зачем она налила в рану духи?.. Нет, вы мне ответьте, распротанечка: какого черта вы поливали рану духами, когда в каждом взводе есть аптечки? Когда всюду есть йод и санинструктор? Запах йода вам не по вкусу? Да? Отвечайте: да или нет?

— Да. Так вредно Титомир еще не разыгрывал.

— Итак, Юра, ты убеждаешься, я не прибавил ни одного слова. А что прибавлять? Без прибавки цирк. Цирк шапито! Понимаешь, Юра, тогда было много раненых. Очень, скажем прямо, много. Иначе как бы она затерялась, Юра, где-то там, по огненным точкам? Или спроси ее, Юра, куда она лазила? Кто ей целился в спину, а попал в ногу? Я дурак, Юра, я

не отличаю автоматной пули от пулеметной. Или я думаю, что с самолетов стреляют из автомата? Ну, про это она сама пусть рассказывает, если хочет. Я буду говорить про то, что сам видел. Напрягись, Юра, будет так смешно, животики можно надорвать. — Титомир вытянул толстые губы трубочкой, похоже записал: — Ой-о-о-о, докто-о-ор! Не надо укол! Ты меня знаешь, Юра, мой железный характер? Если надо — надо. Хотя Черным морем растекись, хоть Баренцевым. А тут что я сделал, Юра? Сдал! Сдал, Юра, старый Самуил. Не выносит он женских страданий на войне... Черт его побери!

Титомир хлопнул себя по колену. Пухлой ладонью с пальцами, изъеденными карболкой. Так и остались эти пальцы на колене.

— И черт их побери, Юра! Можешь ты мне сказать: откуда у них, слабых созданий, такая сила? Свищ ей чистил — не пикнула. А у меня, Юра, при этом мужики орут. Или, Юра, матерятся. Даже плачут... Ну, распрекрасная Танечка, можете сказать: сколько вы перед тем не спали? Дал ей болеутоляющего, Юра, она на третьи сутки проснулась. И снова цирк...

— Товарищ майор!

— А-а-а, — обрушился на нее Титомир. — Стыдно?! А я, Юра, потом смеялся, как не смеялся на представлениях Карандаша. Надо переливание делать. Чтобы эта девица не распрощалась со своей ножкой! И стал я, Юра, обольстителем, это в мои-то тридцать три года, Юра? Миленья, родненькая, золотенькая. А она, Юра? Она плачет. Час. Два. Три. Наконец, я спросил себя: «Самуил, ты можешь быть мужчиной?» И ответил себе: «Да!» Знаешь, что я сделал, Юра? Позвал санитаров... Ох, Юра, если бы ты слышал, как эта окаянная орала, чтоб ей никогда не знать большей боли!

Филиппов положил свою сухую ладонь на пухлую и шершавую руку Титомира, пожал ее.

— Ты славная человечина, Самуил. Большая человечина!

Случилось непонятное. Титомир вскочил, заторопился. Схватил шубу в охапку и кинулся в дверь. Уже за порогом прокричал:

— Иди-ка ты, Юра, к чертовой бабушке!

Филиппов смеялся — как это только он умел, до слез.

На конец он отер слезы платком.

— Хочешь отделаться от Титомира — похвали его.

Отделаться? От Титомира? А зачем? Чтобы остаться с ней? Похвалить для этого? Она медленно поднималась, быстро выпалила:

— А знаете, капитан, как это называется?! Подлость!

Он спокойно склонился к печке. Выбирал, не торопясь, поленца. Выбрал, бросил в топку, плотно прикрыл дверцу.

— Что вы делаете?! — крикнула она в гневе.

— Считаю до десяти, — негромко сказал он. — Пришлось дважды сосчитать.

Она дернула свой полушубок с поленицы, посыпались дрова. А он уже кинул на плечи свой полушубок, взял из угла лыжи и вышел.

Гнев так же быстро, как накатился, схлынул. Стояла посреди рассыпанных дров — виноватая, растерянная. Пыталась снова распалиться — подумаешь,

видывали таких. Одному даже по физиономии стукнула. Из госпиталя ехал, с палочкой. Грудь в ордене. Она ему место в переполненном вагоне расчистила, ахала над геройскими рассказами. А он, как стемнело, полез обниматься.

Потом жаловалась старшине: никогда ей этого не понять. «Где тебе! — согласился старшина. — Характером тебя господь награждал прескучным, отроковица!» Старшина нажимал на «о». «Это почему прескучным?» — удивилась она. «А прямым, как телеграфный столб: ни сучка ни задоринки». «А зачем человеку задоринки? Честный прямо идет». «И никого не греет. Только таких, к счастью, мало. Как ты».

Словом, как утверждал старшина, нормальный человек состоит из сильных и слабых сторон. Нужно направлять его силу, и нужно уважать его слабости. Слабость, получалось, вроде отдыха для души — ее праздник. Она не согласилась. Старшина сам себе противоречит: подвел же мародеров под трибунал. Почему подвел — слабость человеческая, что берут чужое? «Преступление и слабость — разные вещи, комсорг! — рассердился старшина. — Разбираться надо. Вот если увидишь, что я Вальку целую, спусти мне. Люблю. Или не поняла еще?» «Поняла». «Что по дистанции не сообщила?» «Верю, не сделаешь Вале плохого». И тут старшина заключил, что в общем-то она девка непропащая. По молодости еще напрямки прет.

Полгода назад старшина погиб, уже после его смерти Валя родила сына, писала: весь в отца. Она перечитывала письмо на холмике у подножия сопки, казалось, так старшина был ближе к своей радости. Думала о жизни и смерти — впервые за войну. Старшина, бывало, выговаривал ссорившимся солдатам: «Не хамите, ребята, друг другу. Сегодня обидишь человека, а завтра, гляди, нет его».

Стоит она посреди разрушенной поленницы. А что, если зря обидела сейчас человека? Перебрала события, слово за словом, не увидела, из-за чего распалилась.

В дверь постучали. Отозвалась с надеждой: «Да».

Но то был Титомир. Он наткнулся на ее колючий взгляд, вытряхнул из себя несколько вопросов:

— Что это с вами, распрекрасная? Вы одна? Где Юра? Он на лыжах ушел? Будет этот человек думать о себе? Или вы поссорились, а, дикая девица?

— Садитесь, доктор, — сказала она угрюмо.

— А вы будете при мне на часах состоять? Вы что, обет своему мусульманскому святому дали: стоять на ногах до победы над неверным Гитлером?

Она села. Хорошо, что на свете есть добрые люди. Хотя с сучками и задоринками. Прав был, кажется, покойный старшина.

— Где же наш капитан? — скорее себе задал вопрос Титомир. — Или он помчался с письмом к этому мальчику-солдату? Его ищет Окунь и выражает свое начальническое неудовольствие. Беспокойный ему попался агитатор, со своим мнением. А чье мнение, кроме своего, признает майор?

— Почему вы так о майоре Окуне, доктор? — вспомнила подслушанный разговор. — А что, если агитатор полка действительно распыляется на мелочи?

Титомир поднес свои выпуклые глаза к самому ее лицу.

— Вы что изволили сказать, уважаемая? Мелочи? Это кто ж, по-вашему, мелочи? Вы мелочь? Я мелочь? Мальчишка-сирота? Что тогда, разрешите спросить, не мелочь? Что?

Она не отвечала.

— То-то! — заключил Титомир. — Повторяете, как попугай, чужую глупость!

— Доктор, а он придет еще?

Титомир очень внимательно, у самого носа разглядывал ногти — широкие, жесткие, отполированные. Нашел все-таки заусеницу, откусил.

— Ну, и что вы с ним сделали? Дровами били?

— Я, доктор...

Послышался далекий еще, чуть различимый скрип снега. Скрип нарастал, кто-то стремительно приближался. Распахнулась дверь — вместе с клубами пара ворвался Филиппов.

— ...обидела его, — быстро договорила она.

— Понимаешь, Самуил, — Филиппов сел на чурбачок между нею и Титомиром. — Я всегда думал, что мне безразлично чужое мнение. Полчаса назад понял: небезразлично. Не хочу, чтобы один человек, Самуил, думал, что я способен на подлость.

— Почему? — Она хотела спросить громко, но получилось тихо, сел голос. Он взял ее руку в свою.

— Потому, — ответил он тоже тихо, только ей. — Мир?

Она кивнула. Хлопнула дверь. Чурбачок позади Филиппова оказался пустым.

8

— Стой! Кто идет?

— Агитатор полка капитан Филиппов.

— Пароль?

— Курок. Отзыв?

— Курск, — весело отзывается массивная фигура в тулупе. — Товарищ капитан, за время моего дежурства на посту происшествий не было. Часовой ефрейтор Трошкин!

— Здравствуй, товарищ Трошкин. Скоро сменяешься?

— Идет сменщик, товарищ капитан!

Трошкин нагоняет их в ходе сообщения.

— У вас как, во взводе, все получили письма?

— Вроде бы, — припоминает Трошкин. — Нет, товарищ капитан. Петрович мой... то есть солдат Анисимов. Второй номер. У него семья в Смоленске, видать, под немцем пропала.

— Хороший солдат?

— Значок «Отличный пулеметчик» имеет.

Филиппов расстегнул планшет — Трошкин посветил ему фонариком, — достал треугольник из пористой оберточной бумаги. На нем крупными расплывчатыми буквами: «Лучшему пулеметчику». Обратный адрес — Урал.

— Понимаешь, дружище, — землячка твоя пишет. С праздником, верно, поздравляет, может, переписывать предлагает. Твое оно по праву, ты лучший пулеметчик...

И неженатый Трошкин самоотверженно просит:

— Отдайте Петровичу, товарищ капитан. Я получил от матери. От друга получил. А, товарищ капитан?

— Ладно, — сдается Филиппов. — Держи письмо, сам передай.

...Во взводной землянке было тесно, тепло и шумно. Пахло хвоей и березовым дымом. В углу на неструганом столе стояла пышная елочка: ее обряжали. Подшучивали, сыпали крепкими словами. Стеснялись и радовались: здоровые дяди в игрушки играют.

— Прижми языки! — прошипел Трошкин.

Трошкин такой, как на листовке: широкие плечи, обтянутые ватником, и чуть пробившиеся усы. Комсомолец. Лучший наводчик полка. Он отвел в угол Филиппова. Вертел в руках ракетницу, объяснял, как



зарядить ее конфетти,—сюрприз приготовил. Шею за этот сюрприз не намылят?

— Добро,—сказал Филиппов.

На нарах сидел пожилой солдат. Он бережно складывал треугольник из грубой оберточной бумаги. Угол в угол, сгиб в сгиб. Ему нелегко это давалось: пальцы дрожали, короткие и сильные рабочие пальцы.

— Письмо, товарищ Анисимов, получили? — спросил Филиппов.

— Землячка пишет,—скупно ответил Петрович.

— Пойдите, какая землячка? С Урала?

— Эвакуировались на Урал с заводом. А родом, как я, из Смоленска. Эх! — широко выдохнул Петрович. — Нелегко бабам. Собирается на родину. Строить там, пишет, начали. Верно, товарищ капитан?

— Верно... Вы строитель, товарищ Анисимов?

— Строители мы,—степенно отзывается Петрович. — Каменщики. Отец и шесть братьев, если живы еще. У всех руки, поди, по ремеслу тоскуют...

— Ка-ак же! — отозвался от елки звонкий тенор. — Пусть поработают те, в тылу,—я воевал за них.

— Отдыхать желаешь? — усмехнулся Филиппов. — Не дадут, браток, отдыхать. Те, что в тылу,—они-то навоевались так, что мы им в ноги должны покло-

ниться. Они тылы держат. А что армия без тыла — по врагу видишь, катится... Да ты выйди, что за спины хоронишься?

У елки расступились. Вышел он, мужичок-боровичок: крепенький, чистенький, сытенький.

— Н-ну, ты и сам быстро с отдыха попросишься. Уговаривать будешь, разрешите вместо трактора...

Грянул хохот — закачались на елке три луковички. Мужичок-боровичок нырнул за спины солдат.

— Ладно, поговорим еще на эту тему. Счастливого Нового года, товарищи!..

За порогом черного разбавленной туши. Над головой белесое небо, под ногами белесая поземка. Филиппов берет ее руку, и они идут вдоль тонких стальных нитей, что пробились сквозь густые снега через весь полуостров. Триста километров — по голой тундре, по лесотундровой щетине, по тоннелю карельской тайги.

Там, где стальные нити двоятся, сплетаются и расплетаются,—там хоронятся станции и полустанки, стрелки и семафоры, разрушенные пристанционные строения. Вместо них — вагоны, снятые с колес, или землянки. За ними — огневые позиции. Круглые, квадратные, длинные окопы, очерившиеся стволами всей мыслимой и немыслимой техники, созданной

или приспособленной для противовоздушной обороны. Там же, неподалеку, солдатские кухни, командные пункты. Спрятанные и замаскированные. То врытые в землю, то прикрытые мелкорослым леском, то затаявшиеся в непроходимой чаще. Только знающий, по своим собственным приметам, может найти ту единственную тропку, что приведет к людям. К свету, к теплу.

Она идет за ведущей рукой, пока голос из тьмы не останавливает: «Стой! Кто идет?»

9

Командира не было: докладывал его заместитель — старшина. Старшина сыпал цифрами, шелестел накладными — Филиппов кивал. Когда же старшина ссыпал все цифры и выложил все накладные, Филиппов приказал открыть склад. Старшина вдруг вильнул глазами, а у Филиппова затвердели скулы. Он ждал, старшина искал ключи. Ключи нашлись, когда у Филиппова зло сузились глаза, — ключи лежали под подушкой.

Длинное подземелье — отсеки, стеллажи, перегородки. Все это заставлено, завалено, забито бочками и банками, кулами и мешками, ящиками и коробками. У Филиппова чуть обмякли скулы, и старшина насмешливо блеснул глазами: попробуй разберись! Филиппов молча шел через отсеки. Она — за Филипповым, старшина — за ней.

— Кто не получил шоколад? — Она наскочила на остановившегося Филиппова, старшина — на нее. Лица старшины она не видела — слышала над ухом потяжелевшее дыхание.

— Девятая, — пробормотал старшина. — Связи с утра нет.

— Что так? — сочувственно спросил Филиппов. Старшина молчал. — Значит, отвезете сами. Сейчас. Старшина просто взвыл:

— Да как я доберусь, товарищ капитан?!

— На лыжах... Не умеете? Пешком. Но чтобы шоколад был на месте к Новому году. О выполнении доложите.

За порогом она не подала ему руки.

— Понимаю, жалеете... Шоколад не хлеб. Так?

Она кивнула, хотя он не мог видеть в темноте.

— Дело не в шоколаде, Танечка. — И поправился: — Хотя в шоколаде тоже. Почему солдату не поставить на праздничный стол то, что ему положено? Дело в старшине — я его тоже жалею. Сегодня он шоколад не доставил. Завтра хлеб не доставит. Послезавтра — патроны. И штрафной батальон. Эту ночь старшина на всю жизнь запомнит.

— Как вы нашли шоколад? — еще непримиренно спросила она.

— А черт меня знает! — весело удивился Филиппов. — Уж очень не хотелось оказаться перед вами в смешном положении.

Скрипнуло в вышине, верно, ель отряхнула морозную лапу — позади Тани обрушилась лавина снега.

— Видите, природа мстит за меня. Чтобы не думали плохо. Не будете?

— Не буду... Сердиться не хотелось. — Хорошо, что я вас видела сначала добрым.

Он смешно фыркнул. Взял ее за руку.

— Добрым. Злым. Слишком это прямолинейно. Человек не бывает просто злым или просто добрым. Он сложнее устроен...

Вот и Филиппов ее уличает в прямолинейности.

— ...он соткан из противоречий. Добрый совершает зло, злой творит добро... Есть такая наука — пси-

хология. Увлекался до войны — много путаницы, но много и блистательного. Слишком индивидуальна. Как бы это сказать ясней? Ну, в общем, каждый смотрит со своей колокольни...

Он склоняется впотьмах, пытается рассмотреть ее лицо.

— Вам не скучно, Танечка?

— Нет, что вы!

10

Свет землянок сменяла белая тьма тропинок. Голоса и смех — плотная тишина. Было в этом что-то ненастоящее. Как в тревожном сне. Или в трудной пьесе. Или...

— ...в новой сказке, — додумывает она вслух.

Они стояли на просторной полянке, у одинокой сосны, прикрывшей голову снежной шапкой.

— Где сказка, Танечка?

— Вот она.

В природе что-то случилось — все вдруг стало призрачным и неустойчивым.

— Сполохи, — сказал он.

— Сполохи? — переспросила она. — Какие сполохи?

Он повернул ее лицом в левый угол неба. Там, у самого горизонта, вспыхивал бледный свет, похожий на далекий артиллерийский огонь.

— Северное сияние, — сказала она. — Почему сполохи?

— Так на севере его называют — сполохи.

— Спо-ло-хи, — повторила она. — Полошить, тревожить? Да?

— Возможно.

Она обхватила сосну руками, запрокинула голову. Он смотрел поверх ее головы. Туда, где нарождалось полярное чудо, не объясненное до конца учеными. Зарницы вспыхивали, гасли, загорались одна от другой и тушили одна другую. Росли и приближались.

— Зимняя сказка, — прошептала она. — Разбуженная.

В непрерывном движении света куда-то пошли ближние ели. Потекли сугробы. Ожила поляна.

А сполохи уже над головой. Один столб длиннее другого, у каждого свой цвет — голубоватый, сиреневатый, розоватый, желтоватый. Один чуть пробьет-су, другой отхватит полнеба. Этот задержится — расцветит все вокруг своим цветом, а тот лишь суматошно мелькнет — и нет его.

— Какое небо... Как степь, перевернутая вверх ногами. Киргизская степь — зимняя, в последних лучах солнца. Идут по дороге люди, а через степь шагают цветные тени великанов. Степные сполохи...

— И это — сказка?

— Почти, — грустно сказала она. — Далекая сказка.

Он приблизил свое лицо — заглянул ей в глаза. Она отвела голову. Ставшую вдруг жаркой щеку прижала к морозной сосне и охнула — щеку обожгло. Она ощупала это место руками.

— Кончилась сказка, — еще грустнее сказала она. — Раненая сосна.

Он нащупал осколок, определил:

— Килограмма на полтора. — Взял ее за руку и повел от сосны. — Не надо расстраиваться. В жизни все так — сказка и не сказка... Особенно теперь.

Все потемнело вокруг. Остановились ели, перестали течь сугробы. В правом углу неба, далеко по горизонту, гасли последние сполохи.



— А сказки, пока жив человек, не кончаются. Каждый в конце концов находит свою Синюю птицу.

— Синюю? — не поняла она. — Птицу?

— Есть у Метерлинка мудрая сказка про Синюю птицу счастья. Ее ищут в дальних краях, по свету, а она, оказывается, рядом — надо уметь видеть.

Он снял рукавицу с ее руки, поцеловал в теплую ладонь, снова натянул рукавицу, повел ее за руку. Долго молчали.

— А если это... ошибка? — спросила она наконец.

— Не ошибка.

II

Они сидят плечо к плечу на чурбачках у печки. Выюжит пламя, потрескивают дрова, пышет жаром из раскрытой топки. Она смотрит в огонь, щурит свои длинные восточные глаза — и глаза превращаются в монгольские щелки.

— Я часто думаю, каким будет мир? Как до войны или лучшим? Мне он видится, как парикмахерская: много огня, много зеркал. Крахмальная белизна. Однажды меня постригли. В Мурманске... Комендант города распорядился. Прямо с холода, с тьмы, с обиды — в первоклассную парикмахерскую. А там — офицеры всех родов войск, моряки, свои и иностранные. Красивые женщины. Откуда они взялись, эти женщины, в разбитом Мурманске? С тех пор и представляю: мирная жизнь — как парикмахерская...

— Почти по Окуню.

Он ласково усмехнулся, заправил ей за ухо прядку, сползшую на лицо. Она смутилась этой ласки, бросила сердито:

— Почему по Окуню?

— Он считает: солдату надо рисовать послевоенную жизнь раем, чтобы солдату хотелось воевать за рай. Я думаю иначе: солдат должен знать, что в послевоенном мире его ждут трудности не меньшие, чем на войне, и быть готовым к ним. Как Петрович. Окунь утверждает, что это уже не наша забота.

— Вы спорите?

Мышиный писк зуммера, тонкий и прерывистый, наполнил землянку. Он потянулся, не вставая, достал трубку.

— Капитан Филиппов слушает!.. Слушаю, товарищ майор! Да... нет... Есть возглавить Новый год! Ясно... что? Степная? Да, со мной... Да, познакомились. Да. Что, что? Не терплю пошлостей, товарищ майор. Да-да, будет выполнено. — Он держал трубку в руке. Молчал.

Что сказал майор Окунь? Что мог сказать майор Окунь? Что же может сказать капитан Филиппов? Она будто увидела себя со стороны и убежденно сказала:

— Вы имеете право обо мне плохо думать.

Филиппов почти силой оторвал ее голову от колен. — Что случилось, Танечка? Разве что-нибудь случилось? — Она молчала. — Давайте поговорим.

12

Только как, какими словами рассказать вам про то, что возникло между нами?

Он не доказывал. Он думал вслух... Где-то там, в другой жизни, на гражданке, человечество мерит свои отношения иными категориями. Там люди упрятаны друг от друга — в стены, в шляпы, в должности. Другое дело — война... Нет, он, капитан Филиппов, а в мирной жизни Юрка Филиппов, не за войну. Война — бедствие. Но она же чистилище. Здесь, как на божьем суде, ничего не упрятать. Человек выворачивается наизнанку в пять минут, и сразу видно: какой он из себя? Такой же симпатичный, как снаружи, или шакал в овечьей шкуре.

— Вам не скучно, Танечка?

— Говорите, — сказала она быстро.

— Разве вам самой не приходилось видеть, как мгновенно на войне зарождаются дружба или ненависть? И дружба и ненависть, они на всю жизнь. Потому что проверены большой кровью. Конечно, бывают исключения. Исключения имеет даже грамматика. А жизнь — она сложнее грамматики.

Он сломал в пальцах осколок полена — мохнаторозовый в отсветах печи.

— Говорите,— почти приказала она.

— Я не могу взять и сформулировать, как правило в грамматике, свое чувство. Даже по меркам войны слишком мало мы вместе.

Кто знает, почему именно так случилось? Да никто. Как никто никогда не скажет: почему мужчина пройдет мимо тысяч разных женщин — молодых и немолодых, красивых и не очень, умных и глупых, — но лишь возле одной остановится. Тем более этого не объяснить в нынешних условиях, когда — если можно так выразиться — смещены временные понятия. Когда знаешь человека несколько часов, а кажется, знаешь всю жизнь...

— Всю жизнь? — уцепилась она за счастливую мысль. — Но почему-то не встретились, да?

Он склонил голову, подбородок попал в квадрат света. Удлиненный, чуть проступающий вперед, с твердой ямкой.

— Так бывает, Танечка: ходят по свету два человека, и каждый думает, что он самостоятельная единица. Если встретятся, поймут: были они друг без друга половинками. Ноль целых и пять десятых. Только вместе они единица, одно целое. Если не встретятся...

— Не надо, — совсем по-детски попросила она. И снова треск дров в печурке, раскаленной до красна, негромкий гул пламени. Он медленно перебирал ее пальцы, один за другим, словно учился считать.

И снова зуммер вспорол тишину землянки.

— Капитан Филиппов слушает!.. Да-да, Федя, иду!

Иду. Он положил трубку, отвел ей с лица непослушную прядь. Она взялась за полушубок. Он отбрал.

— Мадемуазель, что вы наденете на бал?

— Все мое на мне, — рассмеялась она.

— Так не годится, мадемуазель, — говорил он, подавая полушубок. — Вспомните хотя бы ваш последний мирный бал. Что на вас тогда было, мадемуазель?

— Забыла. — Она свела брови от усилия вспомнить. — Просто из головы вон.

— Плевать! — отозвался он беззаботно. — Давайте вот моим шарфом укутаем шею.

— А что будет, если те двое, помните, — уже на пороге спросила она, — так и не встретятся?

— А ничего. Так и будут думать: они единицы. Хотя они только люди без нежности. Настоящая радость твоя не в тебе, а в другой половине...

13

Она потеряла Филиппова в этом огромном, плохо освещенном подземелье. В многоголосой, все уплотняющейся толпе стало одиноко и неудобно. Словно спал человек, видел счастливый сон и, не успев проснуться, проспал его. Она бы не могла сейчас поручиться, что Филиппов ей не приснился. Неожиданно над самым ее ухом раздался громовой рык:

— А ну там, помощники господа-бога! Архангелы Гавриилы! Сотворите большой огонь!

— Есть большой огонь! — отозвалось откуда-то из под земли.

Вспыхнули под потолком юпитеры. Зеленые, красные, синие, желтые лучи их скрестились на елке. Гирлянда из зеркал — круглых, длинных, квадратных — приняла свет и отразила его множеством

цветных зайчиков. Загадочно поблескивали алюминиевые и плексигласовые изделия — портсигары и мундштуки, разных размеров финские ножи. Рыже горели патронные гильзы. Гул прокатился по залу, засветились разноцветные улыбки.

— Славно мы поработали, Танечка? Нравится?

Терпко пахло хвоей и чистой сыростью полов. Из-за двери, ведущей в кухню, пробивался запах жареного мяса. Красно-сине-желто-зеленые бутылки встали часовыми на длинном столе. В бутылках — законные фронтовые сто граммов, наркомовский паек.

— Нравится, Танечка?

Она смотрела на него во все глаза, словно не верила, что он настоящий, непридуманный и неприснившийся. Возле кустистой брови узкий шрам, уходящий на ухо. Под правым глазом выемка с горюхиной. На щеке гречишное зернышко — родинка. Она тронула родинку пальцем и смутилась.

— Нравится?

Теперь она не знала, к чему относится вопрос: к их работе, к празднику, к нему. Но ей все сейчас нравилось, больше всего он сам.

На подмостках появился Жерминский. Он что-то такое кинул в первые ряды. Покатилось скандированное:

— Ком-сорг-шестой!.. Ком-сорг-шестой!..

Землянка раскололась надвое, образовалось ущелье, ведущее к сцене. Она пошла по этому ущелью за Филипповым. Жерминский протянул сверху ручищи, легко поднял ее.

— Жми, Татьяна, «Сына артиллериста»!

— «Был у майора Деева товарищ майор Петров, — послушно начала она историю, до которой ей сейчас не было никакого дела. — Дружили еще с гражданской, еще с двадцатых годов...»

То ли она тихо начала, то ли зрители не угомонились, — слова падали беззвучно, как рыхлый снег. Она не читала, «выбалтывала» текст — про Ленку, который рос без матери, приказарме. А потом, то ли голос ее окреп, то ли слушатели притихли, она почувствовала волнение зала. Бесстрастность прошла. Ленка-лейтенант уходит на задание. Трудно дышит зал, когда лейтенант вызывает огонь на себя, облегченно вздыхает, когда все кончается благополучно. Осталось несколько строк про то, что эта история произошла на полуострове Среднем.

Черный гранит, выдвинутый в свинец баренцевых вод. Здесь обычно бывает много грибов, а в это лето они почти не встречались. Местные жители говорили: хорошая примета — скоро конец войны. Она смеялась: какая связь между грибами и войной? Но старый лопарь, запакотанный в оленьи шкуры — маленький, белосый, худосочный, похожий на состарившегося подростка, — смотрел на нее укоризненно красными кроличьими глазками. И горячо доказывал: самая верная примета. В сорок первом полно было грибов на Кольском полуострове. Тогда знающие люди предсказывали: будет войне. В лето сорок четвертого грибы почти совсем исчезли. «Как же не примета? — убеждал маленький лопарь. — Верная примета».

Теперь ясно: война близится к концу. Но как скоро она кончится, трудно предсказать. Как трудно было предсказать, когда кончится война на Коле, три года она была позиционной: вылазки, десанты, стычки. Обстрелы и бомбежки. Стране было не до Карельского фронта. Лишь в начале сорок четвертого началось скопление сил. Потом два удара — летний и осенний, — и на севере кончилась война.

Но тогда еще, когда старик лопарь предсказывал конец войне, на маленький полуостров Средний об-

рушивались тонны металла. Средний выстоял: врагу не удалось прорваться к Мурманску — единственному незамерзающему северному порту. А если посмотреть на карту, Средний — вмятинка от ногтя между громадным Кольским полуостровом и маленьким полуостровом Рыбачий. Не потому ли он Средний?

— «Близко грохали взрывы, — заканчивала она. — Продолжалась война. Трещал телефон...»

За стеной трещал телефон. Два, три, много. Все сразу. Она не поняла и снова сказала:

— «Трещал телефон, и...»

Телефоны трещали. Позади сцены, за ее спиной — на полковом КП. Оттуда же ухнул тяжелый голос Жерминского:

— Тр-р-р-ревога!!!

Землянка шевельнулась, подалась назад — к выходу, вынося в морозную ночь:

— Тр-р-р-ревога!.. Тр-р-р-ревога!..

Казалось, мощный голос Жерминского раскололся на множество осколков: покрупнее — баритоны, помельче — тенора.

Дошатая перегородка за спиной звывала на разные голоса:

— «Лимон», я «Яблоко»!.. «Груша», я «Яблоко»! «Абрикос», я «Яблоко»!..

— ...секторе, — глушил эту разноголосицу Жерминский. — Неопознанный самолет...

Филиппов кинул ей на плечи полушубок, они выбежали последними. Дверь, прежде чем захлопнуться, приказала:

— Огня без команды не открывать!

— ...команды не открывать!!! — подхватили морозные голоса в дальней темноте. — ...не открывать!.. — ...крывать!

14

Они вернулись, когда все сидели за столом. На ближнем краю потеснились. В руках у нее оказалась кружка, и она, не подумав, что в ней, хлебнула. Загорелось в горле, остановилось дыхание. Она раскашлялась до слез.

— Чему мы тебя только учили? — пророкотал над ней голос Жерминского. — Водку пить не выучили!.. Ешь...

Жерминский поставил перед ней тарелку с печеньем и под общий смех опрокинул в себя содержимое ее кружки.

Она тоже смеялась. Глоток непривычного зелья потек по жилам, стало горячо. Увидела напротив Титомира — пол-лица красное, пол-лица синее — и сказала:

— Я вас ужасно люблю, доктор!

— О-о! — поразился Титомир. — За что такая немилость?

Врезался сухой тенорок:

— Я бы сказал, странный способ изъяснения в любви.

Не поверила ушам своим: майор Окунь?

— По-моему, товарищ майор, для изъяснения в любви все способы хороши, — ответил за нее Филиппов.

Возле майора зашелестело — шепотки, смешки. Штабняшки. Офицеры. Молчаливый лейтенант Бекишев. Она недолюбливала Бекишева: сухарь, галета, а не комсорг полка. И тут глаза ее встретились с глазами соседки Бекишева; кажется, это и есть Валентина? Голубые, нагловатые, они глядели с откровенной неприязнью. С непонятным вызовом.

— А у Степной, товарищ майор, любвеобильное сердце!

Майор Окунь не отозвался. Бекишев ел. Валентина смеялась прямо ей в лицо.

— Ша, политический корпус! Не на Молдаванке! — брюзгливо вмешался Титомир. — Надо и понимать шутки.

Филиппов наклонился к ней. Она увидела его глаза, полные зеленого смеха, и поверила, что все это просто смешно — Окунь, Бекишев, Валентина. Жерминский кивнул кому-то в тот край стола, и там заиграл баян.

15

Вальс... Самый лучший танец на свете. Краковяки и полечки, танго и фокстроты — она пропускает их. На них Филиппова приглашает Валентина. Валентина грубо танцует — льнет всем телом. Зачем так откровенно? Молчаливому Бекишеву она, кажется, серьезно нравится. А ей, Валентине, нравится Филиппов.

Снова вальс... Баянисты сменяют друг друга, но вальс остается прежним — «На сопках Маньчжурии». Ей чудится гром духового оркестра, ей видятся паркет и люстры. Где-то она читала — паркет, люстры и шорох шелка.

— Юрка, — торжествует она. — Я все вспомнила!

— Что, Танечка?

— Последний мирный бал вспомнила. Не бал, конечно, — вечер в училище. На мне было шелковое платье и туфли — граненый каблук... Знаете вы, что такое граненый каблук?

— Нет, Танечка.

— Тогда что же вы знаете?

— Знаю, — говорит он негромко.

— Что? — И она невольно снижает голос.

— Что вы красивая, Танечка.

Она растерялась. Сказала почти виновато:

— Мне никто так не говорил.

— Вы рады, что я это сказал?

— Да... Но я некрасивая.

— Мне — красивая.

Все кружилось: мелодия, пары, сверкающая зеркальным ожерельем елка. Какая чепуха — духовой оркестр, паркет, каблуки. В ту фантазию он не вплетался. Он в полевых погонах и солдатских сапогах. Он в этой землянке, в этой старинной мелодии вальса. Это его вальс — солдатский вальс, грустный и щемящий.

Кто-то положил им руки на плечи.

— Прошу прощения... Капитан, не забудьте — пятиминутным в шестую. — Майор Окунь. Он уходил, не оглядываясь.

Сразу стало плохо. От махорочного дыма першит в горле. Баян фальшивит. И все их толкают. Почему они стоят здесь? Он обнял ее покрепче и закружил. В конце концов не из-за чего расстраиваться: до пяти целых три часа. И еще, может быть, им повезет... Им не повезло. С командного пункта открылась дверь, и голова в пилотке кинула в кружение зала:

— Капитана Филиппова к майору Окуню!

Лицо у него стало напряженным, узкий шрам к уху побелел. Он подвел ее к Титомиру, в одиночестве пившему глазу на танцующих, посадил рядом.

— Самуил, я вернусь через десять минут.

Титомир приблизил к ней лицо, будто не рассматривал ее, а обнюхивал. В свойственном ему тоне полусерьезно сказал:

— Вы думаете, мой старый папа не был прав? Он

говорил: «Самуил, и что тебе твоя медицина? Что тебе люди будут нести всю жизнь? Болячки? Возьми мою профессию, и тебя до старости окружают женские улыбки». Мой папа был дамским портным, поэтому он знал толк в женских улыбках...

Она проводила взглядом Филиппова — его высокую, чуть сутуловатую спину, перекрещенную ремнями портупеи.

— Милый доктор, после войны вы отведете меня к вашему папе...

В горле у Титомира что-то хлюпнуло, словно он захлебнулся воздухом. Но сказал, как всегда, добро, немного насмешливо:

— Дело в том, несуразная вы моя девица, что и папу, и маму, и сестренку Берту сожгли...

Проклятая война — не знаешь, где заденешь у человека больное. И она погладила рукав его гимнастерки.

— Ну? Чего вам надо? — разбрюзжался Титомир.

— Расскажите о нем... Что знаете.

— «Что знаете», — передразнил Титомир. — А если я знаю о нем такое, что он сам о себе знать не может? Тогда как?

— Расскажите.

16

Если не от смерти, то от безусловного плена спасла майора Титомира вместе с медсанбатом и десятком тяжелораненых штрафная рота. Случилось так, как иногда случалось на войне: наши броском продвинулись вперед, а сбоку врезалась какая-то недобитая немецкая часть. Медсанбат, видимо, оказался на стыке двух подразделений, каждое из которых обтекло со своей стороны небольшой, но глубокий овражек. На дне овражка стояли палатки. Под утро грохот боя стал возвращаться. Теперь немцы обтекали овраг в обратном направлении. По одному, по два иногда скатывались вниз и, ничего не поняв, обалдело лезли вверх. Потом к ним скатились краснозвездные ушанки. Один — в лейтенантских погонах, черный от порохового дыма — блеснул в рассветной мгле ослепительными зубами:

— Ну, счастливы ваш бог, помощники смерти! — И кому-то скомандовал: — Сидорчук, мигом эвакуировать медицину!..

Узнав, кто его вызволил, Титомир впервые поинтересовался: что это такое — штрафная рота? За недостатком времени выяснить удалось немного. Солдат в офицерской шинели по фамилии Сидорчук — ему Титомир вынул пулю из предплечья — оказался разжалованным подполковником интендантской службы. Не сумел бывший подполковник обеспечить ко времени боеприпасы и был осужден: рядовым в штрафную роту на два месяца. Прошли через руки Титомира два младших командира, осужденных за мародерство, — три месяца штрафной. Было два-три уголовника. Дезертир, которому расстрел заменили штрафным батальоном.

Титомир спросил о командирах. По наивности он думал, что и командный состав в штрафных частях тоже отбывает наказание. Сидорчук — он на пару дней задержался в медсанбате — едва отсмеялся. Что получилось бы, командуй штрафники сами собой?! В штрафные подразделения командиры подбирают истинных коммунистов. А еще разжалованный интендант говорил: за одно только умение спать разношерстный сброд — мародеров, уголовников, бродяг и всяких разобиженных — в боеспособный коллектив, за одно это следует давать самую высокую награду. А их комиссар, командуй он нор-

мальным подразделением, был бы, может, Героем Советского Союза. Почему комиссар? Институт комиссаров упразднен? Оказалось, комиссар — командир роты. Комиссаром он был прежде. Но его продолжали так называть между собой.

Неделю спустя в операционную палатку два солдата с диковатыми глазами внесли носилки. Они бережно опустили их на пол и вытерли пот с лица — один ушанкой, другой рукавом. За ними просунулся третий: левая рука на перевязи, в правой револьвер. Титомир узнал разжалованного интенданта.

— Доктор! Немедленно займись этим раненым!

Титомир кончал операцию. Кто-то из сестер цикнул. Два мрачных солдата надвинулись на Титомира, спугнули сестру. Титомир приказал унести оперированного и лишь теперь повернулся к вошедшим. Заорал:

— Смирна-а!.. Как стоите перед старшим?!

Привычка к дисциплине взяла верх. Оба солдата вытянулись. Сидорчук тоже опомнился — опустил здоровую руку. Дуло револьвера смотрело в пол.

— Кру-у-гом! — скомандовал Титомир. — Ша-а-гом марш!

Титомир подошел к носилкам. Снял полушубок с них. Еще полушубок. Плащ-палатку на самодельных раздержках. Титомир потребовал свет, и сестра поднесла лампу. У человека на носилках был разорван живот. Титомир сделал первичную обработку, велел позвать Сидорчука.

— Кто это? — мягко спросил Титомир.

— Комиссар. — И прорвалась в Сидорчуке обида. Они несли раненого свыше трех километров. Самовольно ушли. Им не разрешил уйти командир первого взвода, принявший по уставу командование ротой. Сопляк, пришедший к ним два дня назад. Револьвером потрясал. Сидорчук достал свой револьвер, трофейный. И они ушли с комиссаром. Кто знает, что ждет их по возвращении.

— Понимаю, — виновато сказал Титомир. — Но его нужно нести дальше. Километров семь-восемь. Везти нельзя.

— Понесем.

Они снова укутали носилки. Вошли те два солдата. Молча взяли носилки и вышли. Сидорчук задержался, его все еще не отпускала обида.

— Вы так ничего и не поняли, доктор. Эти двое вынесли его из-под убийственного огня. Втроем выносили — третьего в клочья разнесло. А вы — смирна-а! На это ума не требуется!

Титомир тер свой нос, нескладную картофелину, что-то соображал. Сообразил или нет, устало крикнул: «Следующего!» Лишь четырнадцать часов спустя уложил на носилки покрытые шинелью собственные одеревеневшие кости. Дрожала каждая пора снаружи, каждый нерв — внутри. Он забывался, но это усталое дрожание будило его.

— Товарищ майор, вас спрашивают.

Титомир сел. Он никак не мог понять, чего хочет от него этот лейтенант из прокуратуры. Усталость и дрема туманили мозг. И вдруг Титомир проснулся: трое, понесшие четвертого, обвиняются в дезертирстве с поля боя. Они задержаны у госпиталя по рапорту и. о. командира штрафной роты. И. о. обвинял и комиссара, то есть своего ротного; якобы тот дал приказ после ранения: никому не подчиняться. Всех четверых, если четвертый выживет, ждет расстрел.

Титомир вытер холодный пот со лба, сказал с обидной снисходительностью чистенькому лейтенанту:

— И как это вы ничего не поняли, уважаемый? — Лейтенанта передернуло. — Командир роты сразу потерял сознание, мог он отдавать приказы?

— Вы, товарищ майор, сами присутствовали при

ранении или говорите со слов свидетелей его ранения?

Вопрос был по меньшей мере дурацким. Титомир охотно признался:

— Сам присутствовал.

— Титомир солгал — во имя спасения жизни четырех. Под горячую руку всякое может случиться. А потом, если ложь и откроется, будет время на оправдание.

— Исполняющий обязанности действительно возразил, — снисходительно добавил Титомир. — Но ни он, ни эти три солдата, они не могли послушаться приказа старшего. Меня, значит... Спокойной ночи!

И, хотя, кажется, был день, а не ночь, Титомир повалился на носилки и мгновенно уснул.

17

Штабная землянка опустела. Горел лишь зеленый софит. Его призрачный свет с трудом пробивался сквозь еловые лапы. Оттуда же, из-за елки, тек грустный молодой голос:

«Ночь темна, не видна в небе луна. Где-то там, за рекой, дремлет война...»

— А потом, доктор?

Титомир приблизил глаза к ее лицу.

— Между прочим, — сказал он, — вытрите слезки с ваших прекрасных глазок.

— Что было потом? — Она размазала по лицу две слезинки.

«...ветер злой дует в лицо, вижу я пред собой милую лицо», — течет из-за елки чья-то грусть. Вплетается в нее и второй голос: «Девушка, вспомни меня, милая, вспомни меня...»

— Душу вынимают, — сказал Титомир. Озлился. — Что было потом? Приволокли ко мне. «Привет, помощники смерти!» — и улыбается, будто маму родную встретил.

— Вы его по этой фразе узнали, доктор?

Титомир презрительно фыркнул.

— Да-да, по фразе!.. Сколько через руки врача проходит фразеров? Не знаете? То-то! Не по фразе я его узнал, уважаемая вы моя, по животу. Не живот, а прямо мозаика или лоскутное одеяло. Я такое в детстве у покойной бабушки...

Врезался веселый филипповский голос:

— А вы тут, я погляжу, здорово развлекаетесь?

Голос был веселым, а взгляд тяжелым, сумрачным. Но он смотрел на нее, и в глазах загорались зеленые огоньки. И кому-то — не ей, не Титомиру, а тому, кто остался за его спиной, — сказал:

— А я люблю эту девочку.

Титомир поперхнулся. Встал — сел — встал.

— Где это ты, Юра, с позволения сказать, запропастился?

— У майора Окуня на душевной беседе.

— Где ты взял у него, Юра, душу? И о чем, прошу прощения, вы говорили?

Филиппов обнял его за плечи и на ухо громко сказал:

— За жизнь. Так, кажется, говорят у вас в Одессе?

— Тайна?

— Просто не хочется, Самуил... Знаешь, мне очень помог Окунь.

— Помог? Окунь? В чем помог Окунь, Юра?

— Разобраться в себе. Я действительно люблю эту девочку.

Она прижала ладони к щекам. Смотрела, видела и не понимала, что делает Титомир. Титомир, что-то бормоча под нос, совал руки в полушубок.

Землянку выстудило. От чугунной печки веяло знобким холодком. Он открыл топку. Поворошил щепкой золу, подул, блеснули на решетке золотинки огня — тревожные и светлые, дрожащие степным полуденным маревом. Он перестает дуть, угольки покрываются тусклым налетом — вот-вот замрет в них жизнь. Останется щепотка пористого пепла. Ей не хочется, чтобы погасли угли. Она загадывает: если загорятся... Угольки загораются раньше, чем она загадывает. Чудес не бывает.

— Юрка, тебе не пора ехать?

Он поднимает голову от печки.

— Разве я не сказал? Поездка отложена.

— Как ты мог?

— Руби! — подставляет он шею.

Она касается пальцами затылка — на мгновение, но пальцы запоминают мягкость волос. Он перехватил ее руку, прижал к скуле. Скула жесткая.

— Что же ты? — смеется он. — Боишься, не раздую огонь без головы?

Подкидывает в топку крошки бересты, пучок сухих лучин. Ожесточенно дует. Угольки ожили. Прозрачные язычки робко облизнули угощение. Исчезли. Не понравилось? Нет, выбивается один, еще один, еще три — окрепшие языки огня, прыгающие и пляшущие. Два-три коротких поленца усмиряют их ненадолго. И вот они снова пляшут. Грызут и голодно урчат. Сливаются в одно пламя. Жаркое пламя кружит в узких стенках печи, гудит.

— Юрка... Как тебя называет мама?

— Юрка, — говорит он.

— Не Юрик, не Юрочка?

— Нет, Юрка, — отзывается он из глубины темной землянки.

Чугунка накаляется, краснеет. Пышет самодовольством. Темнота становится все краснее, все гуще. Кажется, можно ее черпать ложкой, как кисель.

Она с детства любит огонь в печи. Но настоящую его цену узнала лишь на войне. «Ребята, — говорил старшина, едва разжимая губы, — пусти душу пограть...» Круг у печки раздвигался, старшина протягивал к раскаленному железу скрюченные пальцы. Отойдя немного, спрашивал: «А ну, кто знает, каких два самых великих открытия сделало человечество?» Знали все, но все молчали: старшина нравилось всякий раз самому сообщать. Он поднимал голову горбуна с хищным носом, воздевал к небу острый палец и провозглашал, напирая на «о»: «Колесо и огонь!» Старшина видел верблюда только на картинке, но сам признавал, что имеет с ним крепкое сходство. Очень высокий, очень сутулый, он ходил медленно, далеко выбрасывая ноги. Да и выносливый, как верблюд.

Было у старшины на конец войны две мечты: увести сибирячку Валу к себе в Ярославль, но прежде окунуть свои «святые мощи» в Гибралтаре...

— Юрка, — спрашивает она темноту, — искупаемся мы в Гибралтаре?

— Нет, — отозвался Филиппов. — Союзнички не позволяют. Для чего они второй фронт открыли?

Она верила во все, что рассказывали солдаты, сгрудившись у чугунки. Старшина поучал, нажимая на «о»: «А ты слушай, комсорг, да не заслушивайся. На войне врут почище, чем на охоте...» Она не соглашалась. О самой войне говорили скупо, больше в мировом масштабе: куда, например, фашистов догонят. Одни считали: до границы хватит. Другие — до самого логова. Некоторые, как старшина, рвались

через всю Европу. А больше говорили о себе, о близких. Бывали и не совсем правдоподобные истории, особенно из довоенной жизни. Но то было не бахвальство, просто мирная жизнь уже казалась легендой, а в легенде всегда можно что-то добавить, что-то убавить.

Прав был старшина: огонь — великое открытие. При чем тут колесо, она не понимала. Но насчет огня согласна. Сидят возле него солдаты, отогревают тела и души. Добреют. Много она услышала у солдатских печурок. Много передумала. Лишь об одном не думала — разве придумаешь такое? — что вот так просто, в землянке, у горячей печи, и начнется ее непростая любовь...

— Юрка...

— Что, моя милая?

Он пылливо заглянул ей в глаза. Она отвела взгляд.

— Ты тоже очень... красивый.

— Спасибо, Танечка.

Он обнял ее за плечи. Она напряглась в сопротивлении и вдруг прижалась лбом к пуговицам на его гимнастерке. Рассыпались волосы, закрыли лицо. Он собирал их в горсть, отодвигал, скользкие пряди снова падали.

— Расскажи, почему у тебя косые глаза?

19

Потому что я степнячка. Первые мои воспоминания — дед и юрта. Все лето — а у нас длинное лето в Киргизии — мы с дедом жили в юрте в степи. Дед меня будил рано, считал: грех проспать красоту утра. Утром степь вся в росе и солнце. На меня нападал телячий восторг, — я запрокидывала голову и кружилась, пока не падала к ногам деда. Дед только улыбался морщинами. Глаза у него — морщины, щеки — морщины, губы — морщины. Старенький был мой дедушка, голубоглазый киргиз. Широкое лицо, плоский нос, косые щелчки-глаза. Только цвет глаз и густая борода выдавали в нем примесь другой крови. Отец деда — русский, семиреченский казак.

Семейное предание рассказывает о красоте дедовой матери и храбрости казака, отважившегося украсть киргизскую девушку. Беглецов нагнали. Казака убили, девушку выдали замуж за последнего бедняка. Мой дед Садык-урус, как его звали до конца жизни, много батрачил, много скитался. Только к пятидесяти годам собрал калым, чтобы жениться. И, как рассказывал дед, услышал аллах его молитву, дал дочь. Дочь родилась нестепной красоты — смуглая, синеглазая, русоволосая. Берегли ее. И не уберегли. Увез семиреченский казак — командир отряда, гнавшего по горам басмачей.

Это уже мои родители. Мама — Айсултан, которую папа зовет Светланой. Отец Яков Степной, его дед переделал в Якуба. Меня дед звал по-своему, Алтыной — Золотая.

— Пей кумыс, Алтыной, — говорит дед.

Но я прижимаюсь ухом к земле. Дед научил слушать степь. Для тех, кто не понимает, копыта лошадей стучат одинаково. На самом деле у каждого коня свой шаг, своя поступь. Как походка у людей. Один конь припадает на правую переднюю, другой привлекает левую заднюю. Одна лошадь через каждые десять шагов путает ногу, другая летит ровнехонько — стрелой, пущенной из киргизского лука. Дед всегда знал, через сколько времени ждать гостя, имя гостя называл. По топоту копыт угадывал.

Я и родилась под этот топот. Родильный дом стоял на окраине города, боковыми окнами смотрел в степь. По эту сторону была мама, по ту — дед и двое его племянников. Племянники держали коней под уздцы; им надо везти в отряд приказ, а дед не пускает: пусть вместе с приказом везут добрую весть. Мама рассказывала: только я закричала, за окнами раздался перестук копыт.

— Выпей кумыс, Алтыной, — уговаривает дед.

Дед лечил меня кумысом и степью. Потому что я хилая, у меня слабые легкие. С весны и до поздней осени мы в степи. Многие уходили на лето в горы: в степи тоже жарко днем. Но нам с дедом нравилась жара. И степь. В жару в степи даже лучше. В горах теснота ущелий и узких троп, а здесь приволье. Надо загнать у юрты нижние кошмы, задернуть верхний круг — будет прохладно. Дед, когда ему было жарко, надевал меховой трех и толстый халат.

— Пей, Алтыной, — щурится в смехе дед, глаз не видно.

В руках у деда пиала — такая широкая чашка. В пиале кумыс. В нем подмешан настой из каких-то трав. Неграмотный дед был мудрее самого аллаха, так считала я. И так утверждал папа. Но меня дед слушался, делал, как я хотела. А ему от мамы доставалось. «Вы балуете ребенка, — говорила мама. — От нее житья не стало». Дед ласково отвечал: «Мы живем в своих детях».

По утрам дед терпеливо стоял надо мной с кумысом, ждал. Я лежала в траве, прижав плотно ухо, и тоже ждала. Где-то далеко оживала земля. Только угадывался ее пульс. Пульс становился непрерывным, хоть и далеким. Потом он приближался. Вот уже бьют в ухо копыта. Я вскакивала, проглатывала кумыс и бежала. Травы хлещут по ногам, колючки рвут платье, в лицо бьет ветер. А я бегу, пока сильные мамины руки не подхватят меня в седло. На всем скаку коня.

Давно нет деда в живых. Давно его юрта пылится в сарае. А степь живет во мне, Юрка!

20

Взвизнула дверь, словно кошка, прищемившая хвост. По ногам потек холод. Нервный снопок света прыгнул в их угол, больно стегнул по глазам.

— Между прочим, товарищ майор, когда входят в чужую дверь, стучатся.

Огонек бесновался у ног вошедшего. Дрожал, подпрыгивал, словно мяч, плясал на телячьем носу валенка. Черный нос у белого валенка — она узнала майора Окуня. Только у него были такие валенки.

— Я не знал, что Степная здесь, — сказал жидкий тенорок.

— Знали.

— Ну, знал, — вяло соглашается майоров тенорок. — Беспощадный вы, капитан... Степная, вы знаете, что ваш капитан беспощадный?

Она не отвечает. Отвечает Филиппов:

— Мужчина должен оставаться мужчиной.

Филиппов прошел во тьму, под потолком закачалась неяркая лампочка. Глаза ее прикованы к валенкам — белым с черными носами. Носы зацепились друг за друга, шагнули один через другой, разъехались, как по льду. Она подняла глаза: майор Окунь был пьян. Всегда бледное лицо его стало иссиня-белым. Но глаза смотрели трезво сквозь стекла очков. Он неестественно прямо сел на скамью у стола.

— Мне бы лучше уйти...
— Сидите, раз пришли,— отозвался Филиппов.
— ...но мне некуда идти. Слышите, Степная? Она тоже была недотрога... У вас найдется выпить, капитан?

— Сейчас будет чай.
Майор нутужно, будто кашляя, засмеялся.
— Вам бы, капитан, быть замполитом полка. И вы еще...

— Вам крепкий, товарищ майор?
— ...будете им, капитан. Авторитет добываете.
— Разговор, товарищ майор, не по службе, не по дружбе.

Пьяный Окунь следил за Филипповым трезвыми глазами. Филиппов заварил чай в котелке, ссыпал сахар на расстеленную газету, поставил на стол кружки. Не глядя на нее, Окунь спросил:

— Слушайте, Степная, почему вы молчите? Сидите?

Филиппов пошутил:
— Степная, товарищ майор, держит субординацию. Дисциплинированный солдат молчит, когда говорят старшие.

Окунь не принял шутки.
— Судите, значит?
— Не люблю пьяных,— сказала она резко.— Вы для меня образцом...

Окунь, не дослушав, расхохотался.
— Слы-лышите, капитан? Образцом!.. А хотите откровенность за откровенность, Степная?

— Пожалуйста,— сухо ответила она.
— Я вас всегда недолюбливал. Знал, что у вас дикий характерец... Образец! — рассмеялся снова майор Окунь.— Вот кто образец, ваш капитан. Знаете, что он сказал? Нет? О, да он прямо новоявленный Христос!.. Так вот, ваш капитан-Христос сказал: не все умеют ждать. Может, мне и извиниться перед ней, капитан?

— Извиняться не надо.— Филиппов наливал чай в кружки.— Порочить не надо. Непорядочно... Давайте пить-есть.

Майор Окунь негромко и огорченно сказал:
— Черт вас знает, капитан, почему около вас тепло? Не подумайте, что я к вам любовью пылаю. Я вам завидую. А это, сами понимаете, далеко не любовь... Вообще не люблю хороших людей. Парадокс, а? Не люблю. Трудно с ними. Чувствуешь себя дрянным...

— Пейте чай, товарищ майор,— перебил Филиппов.

— ...дрянным,— упорно продолжал свое Окунь.— И стараешься изо всех сил качественно улучшиться. Вот Бекишева за вас отправил.

Филиппов, точно ожегся о край кружки, откинул голову.

— Бекишева?! — Голос был напряженным.

— Уговаривал меня: «Не беспокойте их, товарищ майор, у них настоящее...» Хорошим я от этого стал, спас капитана Филиппова от большой неприятности?

Она перевела непонимающий взгляд с одного на другого. Лица их ничего не сказали.

— От неприятности?

Филиппов облегченно пошутил:

— Не вмешивайся, солдат, в разговор старших.

Шутка ничего не объяснила, но и ей стало легко.

Она даже пожалела Окуня:

— Вы, товарищ майор, всем полковым деушкам нравитесь.

Окунь невесело усмехнулся. Он заметно протрезвел.

— Видите, капитан, как немного надо женскому полу? Волосы я им разрешил длинные носить. Не

для них, для себя. Чтобы приятней смотреть было. Мало их в военную шкуру обрядили, так обкорнали бы под бокс. Степная гриву отрастила — красиво, ничего не скажешь... Степная, вы умеете японскую прическу делать?

— Не пробовала.

— А вам пойдет. На японку или китаянку будете похожи. Вы, кажется, китайский знаете?

— Дунганский... Дунгане — китайское племя. Это имеет ко мне отношение, товарищ майор?

Майор Окунь вскинул над очками редкие брови.

— Вы стали подозрительны, Степная. Все будет хорошо.

— Что именно, товарищ майор?

— Не лезьте поперед батьки в пекло.— Майор Окунь поднялся, но его качнуло вбок. — Это ничего, я пойду.

Филиппов сказал:

— Пойдем мы. Во взводы... Вы ложитесь, не стоит в такой красе являться — день уже.

Филиппов выключил свет, через заснеженное оконце пополз в землянку поздний рассвет.

21

Посыльный из штаба кинулся им наперерез.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться! Он, наверно, сам себе казался лихим воякой, этот паренек с носом-пуговкой, с блеклыми глазами северянина.

Шинель покорибилась на спине. Ладонь, приложенная к шапке, сложилась в горсть.

— Обращайтесь,— разрешил Филиппов.

— Комсорга Степного вызывает майор Жерминский!

Они помолчали, вживаясь в новость.

— Может, Степную?

Мальчишка виновато взглянул на нее: откуда ему знать, какого пола бывают комсорги. Но Филиппов улыбнулся белозубо, и у того губы поползли в улыбку.

— Рукавицу надень, солдат; на улице можно честь отдавать и в рукавице. Ну, беги!

Маленькая фигурка в шинели не по росту скрылась в окопе.

Они шли лабиринтом штабного подземелья, ходами и переходами. Одна она тут всегда плутает и всегда думает: что было бы, если бы всю эту огромную работу потратить на что-то полезное? Думает и сейчас: детство мальчишек, как этот солдат-новобранец, съела война. Пришлось им в тылу заменить отцов. А отцы в это время рыли впусую землю. То есть для войны, но это все равно что впусую. Назерное, количества труда, затраченного на рытье только этого подземелья, хватило бы на весь колхоз этого паренька. А если подсчитать, сколько земли перерыл весь их полк?..

Штаб полка сразу стабилизировался. А подразделения полка подвижны, то и дело меняли позиции. Только тот, кто воевал на севере, знает, что такое козая позиция.

Гранит под тонким слоем земли. Или трясина, смерзшаяся до крепости гранита. Гранит дробили все время: если позиция приходилась на болото, так гатили гранитом.

Вот на что тратили силы мужчины. А мальчишки, которым надо еще учиться в школе, вынуждены были работать, чтобы накормить досыта этих мужчин. Своих отцов. Страшная бессмыслица — война...

Они вошли в ярко освещенный зал — с рациями и аппаратами, с Жерминским за детским столом.
— Вы еще не перепутали, кто Степная, кто Филиппов? Тебя, Юрка, полночи искал Бекишев. Записка вот.

Филиппов развернул листок, пробежал глазами. Жерминский достал из-под кипы бумаг несколько бланков.

— Под величайшим секретом, Татьяна. Едешь в Москву. В ПУР.

— На учебу, товарищ майор?!

— Не думаю... Получай довольствие-продовольствие-удовольствие на двадцать суток... Вот железно-дорожный литер — туда и обратно.

Она и Филиппов почти одновременно спросили:
— Обратно?

— Может, недовольны, граждане? — ехидничал Жерминский. — Поезд завтра, в двенадцать ноль-ноль. Ну?

Они молчали. Жерминский просто сказал:

— Больше ничего не знаю, ребята. Топайте!

22

— Сказка продолжается. По щучьему велению, по моему хотению...

— Уму непостижимо — отозвался он. — И сколько в ней участников, даже Коля Бекишев!

— Бекишев? Ах, да! Что написал Бекишев?

— Прочти. — Он достал из кармана листок.

«Тов. капитан, майор Окунь решил: поскольку жалоба на комсорга, разбираться мне. Звонил Вам, телефон не отвечал. Л-т Бекишев».

Только теперь она поняла: капитан Филиппов не выполнил приказ. Счастливая случайность — вмешательство лейтенанта Бекишева, — спасла его от... трибунала? Ей даже почудился стол под красной скатертью. За столом трое, перед столом он, с конвоирами по бокам.

— Мне не нужна такая жертва! Слышите?

— Гром и косые молнии, — попытался он отшутиться.

Она обошла его, проваливаясь по колена в снег. Он остановил ее за локоть, она вырвала локоть. Но он удержал ее за плечи.

— Уйти никогда не поздно, — сказал он мягко. — Давай сначала поговорим. Хорошо? Давай обсудим, что такое «воинская дисциплина».

Он, Филиппов, невоенный человек. Он глубоко штатский человек. Но на войне он солдат и потому за воинскую дисциплину, за быстрое и точное выполнение приказа. Но не безоговорочное. Он, Филиппов, капитан Филиппов, за творческое выполнение приказа. Он не терпит бюрократизма — ни штатского, ни армейского. Армейский, на его взгляд, еще вредней. Так подсказала война.

Два с половиной года в штрафной роте — все равно что у черта в зубах. Штрафные подразделения не щадят. Это и правильно: почему должны гибнуть лучшие? И неправильно: худшим тоже однажды отпущена жизнь. Кстати, там бывали совсем неплохие ребята. И он, Филиппов, нарушал ради них приказ, чтобы выполнить задачу и понести наименьшие потери.

Пример? Пробивались на высоту. Принимали на себя главный удар — с тем, чтобы остальные подразделения взяли ее. Приказ: с последним залпом артподготовки штрафная рота наступает в

лоб. Штрафная рота пошла в наступление на двадцать минут раньше — не в лоб, а в обход. Подавила огневые точки, сама заняла высоту. Почти без потерь.

— Слышишь, Танечка? — Он легонько встряхнул ее за плечи. — Если бы мы не встретились с тобой, я бы уже пушил твоего ротного — точно в означенное время. Но ничего не произойдет, если я это сделаю на сутки позже.

— Творческий подход?

— Творческий, Танечка... Ты мало что обо мне знаешь. Мне вот жизнь спасло невыполнение приказа. Да, бойцам, потащившим меня в госпиталь, приказано было вернуться. Хотя бой уже кончился и уход их ничего не решал. Их едва не расстреляли, спас какой-то врач. Сказал, его приказ — старшего по званию. Только дураку могло быть не ясно, что врач не мог отдать такой приказ. Где шел бой и где находился медсанбат...

— И ты... не знаешь этого врача?

— Нет... Для меня наша встреча, Танечка, как возвращенная жизнь. Майор Окунь понял — неглупый человек. Но слабый. Горе у него порядочное. Невеста его вышла замуж. А тут наши счастливые морды. Он и придумал на ходу про пять утра, хотя мы договаривались на семнадцать. Вот так.

— Он бы тебя под трибунал отдал, Юрка.

— Вряд ли... Выговор вкатил бы, мы же не на передовой. Самое многое — в звании понизили бы. Ну, я в генералы не мечу. Останусь жив — после войны у меня свои дела, штатские. А тебя потерять мне никак нельзя, Танечка... Ты все поняла?

— Кроме поступка лейтенанта Бекишева. Он мне казался черствым, как галета из НЗ.

— Ну, Коля Бекишев! — Он широко улыбнулся. — Коля, Танечка, нежнейшая душа.

Они шли навстречу свету.

23

Казалось, медленно тает дымовая завеса. Проступают очертания сугробов, светлеет ствол сосны, чернеет ельник.

— Какая нетронутая чистота, Юрка! Давай пойдем по ночным следам, чтобы не топтать снег?

— Давай.

Следы позамела поземка, но еще видны вмятины — его побольше, ее поменьше. Двойная цепочка вмятин. Можно идти рядом, ступая каждый в свой след, а можно наоборот — он по ее следам, она по его... Все отчетливее вмятины, все чернее дальний лес. Пролегли через поляну полосы — туманные и призрачные. Голубоватые, розоватые. Похожие на застывшие сполохи.

— Я совсем забыла, как всходит солнце.

Еще только позолотела вершина сопки, будто позади нее разгорался пожар. Углубился цвет теней, замерцал и зарозовел снег. Теневая сторона сугробов посинела.

— Вот оно, Юрка!

Солнце медленно взбиралось на сопку. Кажется, его вытягивали за нитку. Вытянули из снегов и льдов. Маленькое, бледное, похожее на лимон. Но все преобразилось: снег стал почти алым, ствол сосны — медным, а чугунный осколок сверкал безобидным куском антрацита. Даже низкое бесцветное небо стало выше и розово-голубело.

— Как в театре, — сказала она. — Как на сцене. Стоит декорация, разные елки-палки, маляванный



задник. А включают софиты — все оживет. Понимаешь, Юрка?

— Да.

— Тебе не хочется плясать в честь солнца?

— Кажется, нет.

— А я спляшу. На том холме.

Она заскользила по насту, припорошенному снегом. Влетела на холм и скрылась с головой. Холм оказался сугробом. Он помог ей выбраться, отряхнуться.

— Ты испугался, когда я пропала?

— Испугался. Повернись, у тебя волосы полны снега.

Она поворачивается, он выбирает из прядей снег. Она ежится, снег попадает за ворот.

— Юрка...

— У тебя на губах капельки — талый снег.

— Юрка, я скажу тебе на ухо?

— Говори.

— Понимаешь, я хочу...

— ...поцеловать?

— Да...

— Стыдно?

— Да.

— Закрой глаза, смешная моя. Вот так.

— У тебя крепкие губы.

— Как я дождусь тебя, Танечка?

— Не надо... Сегодня об этом не надо.

— У тебя заledenел нос. Отморозишь. Будем возвращаться?

Они идут по старому следу, не разбирая, где чей. Все равно следы спутались. Они уходят, и уходит солнце. Тускнеют тени, светлеет лес, стираются очертания сугробов. На месте солнца остается чуть подсвеченная морозная пелена. Вместе с сумерками надвигается тревога.

— Юрка, а что майор Окунь говорил про поездку? Может быть, это Дальний Восток? Я не хочу в запасной полк. Я дезертирую.

— Угу, у тебя есть опыт. Ты и в разведку ходишь без разрешения.

Она остановилась, как споткнулась.

— Откуда ты знаешь?

— Агитатор полка, Танечка, на три метра сквозь землю вижу.

— Я дезертирую. — Ей не хочется шутить. — На фронт.

— Это мы еще обсудим, когда ты... вернешься. Ты забыла, что ты вернешься?

— Да, конечно, — не очень уверенно согласилась она.

Она водит за ним глаза: сам, сам. Сам с усам. Сам перерыл каптерку. Сам сходил на продсклад. Сам взялся укладывать ее «сидор». Ей это нравится — быть маленькой, как у мамы. Давно она не была у мамы, три с половиной года. Приходится самой думать о себе. И думать о других. Молодежь — а в роте главным образом молодежь — со всем идет к комсору, забывая, что комсорг моложе самого молодого из солдат. Иногда она устает от чужих судеб, и тогда ей нестерпимо хочется домой, к маме.

— Юрка, тебе иногда хочется к маме?

Он оторвался от своего чемодана на скамье, что-то там искал, повернул к ней голову: понял.

— Этого можно не стыдиться, Танечка, домой хочется всем. Генералам и солдатам. Героям и простым смертным...

— А знаешь, что писала мама? — Она негромко рассмеялась. — «Следи, чтобы ноги были сухими». Это когда ноги примерзали к портянкам, портянки — к сапогам. Гимнастерка на голом теле. И три месяца на батальонную кухню клали одну рыбину. Это теперь война разбогатела... Ты что, Юрка?

Она видела его профиль — сжатые губы, желваки на окаменевшей скуле. Повела глазами за его взглядом — и потеряла дар речи. Как она могла забыть? Две короткие косички. Влажный блеск зубов. Правая нога без ступни. Раненая кукла безмятежно улыбалась.

— Господи, — глухо произнес он, — какая ты еще девочка!

Кукла безмятежно улыбалась и тогда, когда она ее вытащила из сугроба возле КП. Откуда-то принесло ее взрывной волной — в пышной красной юбке на бретелях. Юбка кроваво пламенела на снегу в свете догорающих «фонарей», которые фрицы развесили над Мурманском.

— Ты мне рвешь душу, Танечка.

И она поверила, что он не смеется. Несмело предложила:

— А хочешь, я оставлю у тебя Маришу?

Дверь истошно промяукала, — она, как живая, сопротивляется незваному гостю. На пороге, облокотившись плечом о стену, встал майор Окунь — пьянее вчерашнего. С трудом отделился от стены, пошел. Вдруг белесые реснички, укороченные стеклами очков, усиленно замигали. Он уперся руками в край стола — навис над куклой.

— Х-хи, ам-мулетик! — и поднял куклу за косичку.

Она рванулась, чтобы отнять куклу. Но спина Филиппова загородила майора. Он сжал запястье майоровой руки, и у того разжались пальцы. Филиппов посадил куклу на стол.

— Давайте провожу вас, — сказал он майору Окуню.

Тот пьяно мотнул головой. Обошел Филиппова.

— Степная, вы... все равно теперь. Можете завещать. Мне? Пожжалуйста! Филиппову? Пожжалуйста! Ас-садьке? Титомиру?

— Вы не смеете так! — закричала она.

Филиппов сказал со спокойной яростью:

— На нашей улице за такое морду били, — и вытеснил майора Окуня за дверь.

Филиппов тут же вернулся, сдал Окуня кому-то из встречающих. Она сидела у печки — обхватила ко-

лени. Он повернул ее голову, заставил посмотреть ему в глаза.

— Разве что-нибудь случилось, Танечка?

Она не ответила.

— А хочешь, расскажу про себя?

Она кивнула.

Только что бы мне рассказать про себя? Сразу в голову не придет... Было детство. Была юность. Были — и словно не мои. Или нет, мои, но только из другой моей жизни. Ничего я в эту свою жизнь не взял, кроме имени. И еще, пожалуй, нелюбовь к обычному.

С детства не терплю обыденки. Вот, например, утро. Все люди, на всем белом свете, просыпаются, чистят зубы и моют мылом руки. Даже негры. Хотя у них все равно белые зубы, а руки — мой не мой — черные. Я мечтал, чтобы кожа моя почернела — сажеей мазался, ваксился гуталином. Но вредные мои сестрички оттирали меня злыми мочалками и приговаривали: на настоящих негритятах тоже грязь видна, их тоже старшие сестры моют. Где понять им было мальчишечью неумность? Мальчишкам отцы нужны.

А тогда у меня отдушина была — старая баня.

Когда-то село. В мое детство уже ленинградский пригород. Дом — деревянный сруб. Позади него огород. За огородом пустошь, поросшая высокой крапивой. В крапиве, как корабль в море, баня. Старая, трухлявая. Но с корабельной топкой. Поколения мужчин в нашем роду были моряками. Кочегарами.

Трех лет я проложил тропу сквозь крапиву. Высокая и грустная крапива билась волнами о борт лады — из сказки о Садко, парусника — из сказки о царе Салтане. Потом корабля — Робинзона Крузо.

Сказки мне читали сестры. В шесть лет я сам прочитал о Робинзоне и Гулливере. Потом пошли серьезные книги о путешественниках. Добрался до мореходных книг. Сначала был один во всех лицах — Робинзоном и Пятницей, Гулливером и лилипутами, Миклухой и его темнокожими. Потом появилась команда: два Сеньки — один рыжий, другой конопатый. Вовка с Ленкой. И еще Пятница. Банька все больше принимала вид корабля. Внутри и снаружи блестела краской. Карты, компасы, бинокли. Даже подозрительная труба была...

Что ты говоришь, Танечка? Пятница? Представь себе: нос, обсыпанный пылью подсолнуха; два красных вопросика над глазами — брови; два красных вопросика над ушами — косички; множество восклицательных знаков — челка. А глаза до того серые, что я всерьез подумывал, не отмыть ли их мочалкой. Мальчишки смеялись: что за Пятница — рыжая и в юбке?

Но никто из них не хотел быть Пятницей. Я тоже. А рыжая Клава сразу согласилась. И мне даже нравилось, что Пятница у меня необычная. Я хотел назвать ее Субботой, потому что принял Клаву на должность Пятницы в субботний вечер. Но Клава запротестовала. В отличие от меня она любила, чтобы все было по-правдашнему. Ее реализм и моя фантазия отлично сосуществовали. Мы как бы дополняли друг друга.

Мы, мальчишки, знали, что настоящие моряки не пускают на корабль женщину. Мы ее не пускали — довольно долго. Потом сдались: Клава не хуже любого из нас справлялась. Выучила лоцию, познала

тайны кораблевождения. Стала своим парнем. А когда мы окончили седьмой класс, Клава вместе с нами подала документы в мореходку. Ее не приняли потому, что она девочка; меня — потому, что я оказался дальтоником. По-моему, это был единственный случай, когда я пожалел, что глаза у меня не как у всех.

Мы вернулись в школу. Я скучал по команде. Правда, оставалась Клава-Пятница, но какая это команда — одна девочка? Только тогда я увидел, что Клава — девочка. Рыжие вопросики над глазами превратились в коричневые брови. Рыжие вопросики над ушами стали темно-золотыми косами. А пыльцу с носа ветер времени сдул... Тут мне на грузку дали — пионервожатым в четвертый класс. Знал бы я, что с ними делать? Привел на свой корабль в крапивном море, они за мной, как пришитые, ходили. А меня еще и премировали. Про опыт заставляли рассказывать. Так я попал в педагогический. Что, Танечка? Клава? Клава тоже поступила в педагогический.

Наш институт шефствовал над детской колонией. Большинство студентов туда неохотно шло: контингент! А мне он нравился, этот контингент. Отличные ребята. Правда, с вывихами. Так это здорово интересно — сделать из такого «вывиха» человека. Люди из них получаются — загляденье...

Кончится война, останусь жив — вернусь в колонию. Работы будет непочатый край. Войны в первую голову тянут за собой детскую беспризорность. Безнадзорность. Или, как говорят в народе, безотцовщину.

Клава?.. Нет, Клава не стала работать в колонии. Пошла в нормальную школу. Она человек уравновешенный. Любит во всем ясность. Тут ее реализм и моя фантазия пошли разными путями. И хватит о Клаве, ладно? О ней надо много говорить или не говорить вовсе.

26

Филиппова вызвали на совещание. Филиппов позвонил Титомиру. У Титомира было помятое лицо. Кажется, его подняли с постели, и потому он брюзжал больше обычного. Она терпеливо помалкивала. Выжидала. Выждала. Попросила рассказать о Клаве. Титомир еще побрюзжал немного. Пустился в рассуждения.

Три с половиной года, столько длится война, это свыше тысячи дней и свыше тысячи ночей разлуки. Разной жизни. И в разлуке он и она продолжают жить. Думать и чувствовать. Когда они вместе, все это пополам. Разное в характерах так приглушается, что кажется им: нет у них разного. Но разное есть. И когда врозь, да на годы, получается, что иные пары теряют общий знаменатель. Становятся чужими.

А если еще человека подпортило на войне осколками, простудами, контузиями? Оторвало руку или ногу, выжгло глаза? Каково им встретиться? Ему тяжело, а все равно легче: к себе скорее привыкаешь. Женщина почти всегда наново принимает. Иногда ей удается нового увязать со старым, иногда нет. Разные вещи — полюбить калеку или принять ставшего калекой. Все это слишком тонко.

Клава писала в госпиталь каждый день. В каждом письме требовала: приезжай. Как только сможешь дойти до поезда. Трудно сказать, как она представляла тяжелое ранение. Может, как порез на пальце. Может, как занозу в пятке. Впрочем, она могла представлять и по-настоящему — где-где, а в Ле-

нинграде хватало изувеченных войной. Только те увечные были не свои, она их не знала другими. Он пришел — черный, худой, согнутый. Шрамы и ожоги, еще свеженькие, далеко не украшали его лицо. Но главное — рана в живот. Мокнувшая, несимпатичная...

Титомир барабанил пальцами по коленке.

— А вам что, распрекрасная девица, до самого конца рассказывать? Или сами пораскинете мозгами? Не желаете? Ладно...

— На десятый день он вернулся в госпиталь — еще на два месяца... Все. Хватит с вас мелодрамы.

— Спасибо, доктор.

— Э, нет! — закричал Титомир. — То вы слушали, что вы хотели. Теперь послушайте, что я вам сказать хочу!

— Вы сердитесь на меня, товарищ майор?

— Почти! — отрезал Титомир. — Здоровье у него ни к черту, чтобы вы знали, на всю жизнь. Покой — на всю жизнь. Лечение и режим — на всю жизнь. Компотки, бульончики, скляночки-баночки. Одумайтесь, пока время есть.

Она пожевала кончик пряжи. Отвела ее за ухо.

— Спасибо, доктор.

Наступило неловкое молчание.

— Я, кажется, зависил полномочия...

В дверь сильно постучали. Это был посыльный из штаба. За Титомиром. Титомир надел шубу, шапку, пошел к выходу.

— Доктор, почему вы Филиппову не расскажете, что знаете о нем?

Он круто повернулся.

— Это еще зачем? Может, мне нужен его поклон в ножки? Или я хочу, чтобы его дети поминали меня в молитвах? Если скажете, врага во мне наживете! Ну, эти женщины...

Кажется, он и за дверью брюзжал, хотя слов не было слышно — только шелест.

27

Тихий шелест наполнил землянку — наверху разыгралась пороша: бьется сухой снег в промерзшее оконце.

Она рывком поднялась на ноги: если уходить, уходить сразу. Не тянуть: если дождется его, уйти уже не сможет. Надо быть честной. Один раз ему не повезло, ему не должно не повезти во второй раз. Шапку на голову, полушубок на плечи, «сидор» в руки...

В дверь робко постучали. Кто-то вошел, хотя она не ответила. Валентина, запорошенная снегом. Нагловатые глаза ее все сразу увидели. Сняла шапку — стряхнула ею снег с плеч. Сказала:

— Если тебе спать негде, иди на мои нары. Я здесь посижу.

Она почти не удивилась. Только позавидовала вслух:

— Легко у тебя получается. Какая-то первобытная... — искала подходящее слово, — ...психология. Наука есть такая, слышала?

Валентина мотнула головой: нет. Спросила:

— Чего трубка надрыдается?

Трубка звала ее: «Танечка! Танечка!»

— Юрка, где ты?

— На КП! — весело отозвалась трубка. — Зуммер не гудел? Значит, испорчен... Ты как поживаешь? Не скучно? Я скоро... Слушай Москву, Жерминский расцедрился. Слушай...

Трубка сказала: «От Советского Информбюро. Оперативная сводка за первое января». Она кивнула Валентине и положила трубку на край стола. Обе склонились над ней. «...В районе Будапешта наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, заняли свыше двухсот кварталов и железнодорожную станцию Ракош в восточной части города...»

Глаза Валентины стали мягкими и грустными. По добрели от голоса Москвы. Может, она и неплохая девчонка.

— Скажи, Валя, ты довольна своей военной судьбой?

— А что? — Валентина повела плечом.

— Мне вот здорово не повезло!

— Тебе-е? — протянула Валентина. — Вон какого парня отхватила! Чего он позарился — мушка ты черная, без весу.

Ей стало смешно. Вспомнила, как дед выбирал на базаре барана — помястее, покрупнее. Спросила: — Разве вес — единственный решающий фактор?

Ввалился Филиппов — одни глаза из-под снега. Стал шумно отряхиваться, оббивать снег с ног.

— У нас гостья? Что же ты ей не предложила раздеться, Танечка?

Филиппов увидел у ее ног «сидор», полушубок на плечах, шапку на голове. Притих, попытался поймать ее взгляд. Она отвела глаза, сбросила на топчан полушубок и шапку.

— Раздевайся, Валя.

— Спасибо, — ответила та насмешливо и пошла к двери.

— Валя, ты же зачем-то пришла к капитану. Не забыла?

Валентина остановилась в дверях.

— Не забыла... Хотела только товарищу капитану сказать, чтобы не думал обо мне плохо за вчерашнее.

Он перебил мягко:

— Я не думал о вас, Валентина, ни хорошо, ни плохо. Не сужу людей по случайным выходкам, а лучше я вас не знаю. Познакомимся, рассудим обо всем. Договорились?

— Эх! — тяжело выдохнула Валентина. — Отчего это хорошим мужикам мелкие девчонки попадаются!

Хлопнула дверь, впустила облако холодного воздуха.

— Странная все-таки Валентина.

— Странная? — переспросил он. — Выйдет замуж — все пройдет. Жена будет — загляденье...

— Как по-твоему, выйдет из меня хорошая жена? В зрачках его замигали зеленые огоньки.

— А-а-а, понятно... Ну-ка, иди сюда. — Она села рядом на колючее солдатское одеяло. — Так меня мама усаживала в детстве — рядом с собой. И я во всем признавался.

Она все рассказала. Были тут Клава и Валентина, майор Окунь и командир роты. Но главное — сомнение: тот ли она человек, который нужен ему. На всю жизнь.

Она сидела на топчане, поджав ноги. А он давно ходил из угла в угол. Когда она смолкла, остановился возле.

— Давай, Танечка, договоримся еще об одном — и тоже навсегда. Меня ни пьяная болтовня, ни дамские сплетни не интересуют.

— А если не болтовня? Если капитан Асатько...

— И не болтовня тоже. Ты мне нужна такой, какой я тебя увидел. Если я тебе тоже нужен, так при чем здесь капитан Асатько?

— Но ты должен знать...

— Не должен! — прервал он ее.

— Должен!.. Он поцеловал мне руку. «За талант», — сказал. Я читала монолог Катерины. Понимаешь, он с третьего курса ГИТИСа, а я один курс театрального училища...

— Вот это сюрприз! — рассмеялся он. — А я удивляюсь, отчего это у тебя на сцене здорово получается. Целую ручки!

Он прижал ее ладони к лицу.

— Видишь ли, Танечка, ты очень молода. А я подпорчен войной, полагаю, Титомир тебе это сказал. Только мне няня не требуется. И я умею не сдаваться. Так что эта сторона вопроса отпадает. Есть другая, и о ней поговорим. Тебе может кто-то встретиться... Я не утверждаю. Но так может случиться, Танечка. И ты должна знать, как вести себя. Жалости не поддаваться, жалость в чувствах — плохой советчик... Ты должна помнить, что со мной ты вольна в своих чувствах и своих мыслях. Я не хочу никого подавлять, не хочу, чтобы меня подавляли. Когда мы любим, мы любим в другом нечто очень свое, именно индивидуальное, а не свой собственный отблеск. Там, где начинается отблеск, там кончается любовь. Тогда ищут виноватого... Вот короткое мое кредо, Танечка. Ты должна помнить его, чтобы знать, как поступить, если...

— Юрка... Ну, не надо.

— Надо. Сейчас было надо, а возвращаться к этому не будем.

За оконцем бесновалась выюга. Нажимала на стекло плечом, и стекло упруго позвякивало. Просеивалась в невидимые щели снежная пыль.

— Хочешь, — сказал он, — погасим свет и посидим у печки?

28

Ночь разматывает тугой клубок времени — минута за минутой. Бесшумно оползает его темная нить... Но об этом не хочется думать. Про это нельзя думать. Иначе окажется, что невозможно жить. Но и уйти не удастся, кружится разговор — приближаясь, отдаляясь.

Сможет ли когда-нибудь солдат позабыть о войне? Ей кажется, нет. Будет помнить все — большое и маленькое. Когда-то ей становилось дурно от порезанного пальца, теперь может собрать разорванного человека. Старшину собрала из десятка кусков, сложила его на плащ-палатке и только тогда разрешила хоронить. Не хотела, чтобы он лежал в земле бесформенной грудой. Говорят, на войне ко всему привыкают. Конечно, привыкают. Но привычка не избавляет от памяти.

— Кроме того, у каждого есть и что-то такое, что потрясло его до основ. Есть у тебя, Юрка, такое?

— Есть, — сказал он глухо.

— Что?

— Дети... Которые не смеются. Не шалят. Не радуются теплу. Это, Танечка, почти невозможно рассказать... Маленькая станция, отбитая у врага. Печка-временка. И они, бесплотные тени. Сидят рядом на скамье, руки на коленях и глядят в никуда. Пустиками, стариковскими глазами. Маленькие старички пяти-десяти лет. Сквозь дыры — голое тело, опорки на босу ногу. Везли их в детдом. Но пока доведут — на дворе двадцать градусов мороза. Солдаты поснимали с себя что можно. Прикрыли их, одарили всякой снедью. Даже свистулька у одного нашлась. И, понимаешь, Танечка, ни улыбки на

губах, ни посветлевшего взгляда. Сколько же надо, чтобы они засмеялись?

Шелестела пороша за черным глазом оконца. Или это шуршит оползающая нить времени?

— Я тоже запомню это.

— Зачем же, всякому своя память. У тебя же есть пережитое?

— Есть... Я никому еще не рассказывала, Юрка. Понимаешь, я в разведку ходила не совсем без разрешения, но и разрешения не было. Длинная история. На ничейной земле столкнулась с немецким солдатом. Моложе меня. Оба безоружные. Его автомат по ту сторону озера. Стояли, сидели, стерегли друг друга. Разговаривали. Симпатичная морда, Бернса и Гейне шпарил. Оба ведь в Германии запрещены. Около суток так, благо лето и солнце не заходило. Договорились разойтись...

— А автомат? — перебил Филиппов.

— Тоже договорились. Возьмет, когда я скроюсь. Ему без автомата нельзя — расстреляют за утерю оружия. Автомат оставался на том берегу озера. Я пошла...

— ...и он выстрелил вслед?

— Да. В спину выстрелил.

Огонь из печи высвечивал его подбородок, золотил отросшую светлую щетину.

— Ты похож на моего деда, — сказала она без перехода.

И он легко согласился:

— Конечно, я старый киргиз. У меня глаза — щелки. У меня шапка — трех, внутрь мехом. И я знаю, чей конь топчет вдали. И как пахнет степь. Как твои губы...

— Ты просто хвастун, Юрка.

Он подхватывает ее на руки. Кружит. Кружится потолок, покосились стены. Красная печь стала на голову. Он опустил ее на топчан.

— Я закружил тебя, кажется.

Она молчит, вытянувшись на спине. Прикрыла глаза.

— Ты спи, — говорит он тихо.

— Нет, я скажу тебе что-то на ухо.

Он придвигает ухо. То, за которым прячется маленький шрам. У самых глаз блестят ее зрачки.

— Ты спи, — старается он не видеть ее зрачков. — Спи.

Она крепко обнимает его за шею.

— У тебя горячее тело, девочка, — бормочет он, сдаваясь.

А бесстрастное время разматывало оставшуюся, меньшую часть клубка. Медленно, безостановочно соскальзывала черная нить, неслышная, как снегопад.

29

Филиппов присел на край топчана. Она спала. Черные волосы растеклись по подушке. Сажными мазками легли на лицо ресницы. Из-под одеяла белело плечо. Комсорг, солдат, полуреконструктор почувствовал себя старым и нечестным. Он не должен был терять голову: рядом ходит война. Со смертью, с увечьями. Знал, самое пустячное ранение теперь, и он не поднимется. Что будет с ней?

Он почему-то не думал о том, что и она на вой-

не. Что и с ней тоже всякое еще может случиться. Она для него сейчас вне войны. И он только думал, как она останется без него. Пронесет через всю жизнь сердце, забранное в траур. Такая она натура, цельная и фанатичная. Хорошо это или плохо — другой разговор. Ему, например, нравится в людях такая негибкость.

— Танечка, — сказал он тихо. — Надо вставать.

Она спала. Может быть, слишком крепко — чуть подрагивали ресницы. Он осторожно подул на черное колечко за ухом, колечко рассыпалось. Она вскинула тело — повисла у него на шее.

— Скажи, кто я?

— Притвора.

— А еще?

— Азиатка лукавая.

— Юрка...

— Не знаю, Танечка, — говорит он виновато.

Она притихла:

— А твоя жена?

— Господи, Танечка! — рассмеялся он. — Конечно, жена. Разве нужно об этом говорить!

Он уже забыл недавние угрызения совести. Была только радость видеть ее, слышать ее. Он сам обмотал ей теплыми портянками ноги, надел на них валенки. Спросил:

— Хорошо?

— Хорошо.

— То-то. Мастер портяночных дел. Я за завтраком, Танечка...

Он подхватил свободный котелок, кинул на плечи полушубок. Чтобы сократить путь, выпрыгнул на бруствер в снежную целину. Валенки по края. Утопи в снегу. Где-то на полпути оглянулся. Просто так, без предчувствия. И остановился, обострив в прищуре зрение. Но и прищур не пробил расстояния в рассветной мгле. Верно, показалось, что кто-то спустился в ход сообщения. Он постоял еще, больше вслушиваясь, чем всматриваясь. Ничего не слышно. Но тревога не уходила. Он саженными скачками помчался дальше.

Пока ходил, она расстаралась. Те же газеты, те же алюминиевые кружки и ложки, та же колбаса в пестрой банке, галеты и горка пиленого сахара. Но все иначе, чем вчера, — всего коснулась ее рука. И нежность, незнаемая прежде, наполнила его сердце.

— Спасибо, Танечка.

По губам побежала улыбка, а взгляд ее показался грустным. Или виноватым. И ему вспомнилась непонятная тревога, застигшая его на снежной целине. Тревога, предчувствие недоброго, вернулась. Он не любил это чувство: оно, как у всех нервных людей, имело привычку сбываться.

— Что-нибудь случилось, Танечка? Посмотри на меня.

— Нет, нет! — воскликнула она. — Что может случиться?

Она посмотрела открыто, честно. Но после он мог бы поклясться, что в глубине ее глаз оставалась эта грусть. Или виноватость.

— Улыбнись, Юрка, пожалуйста. Ты красивый, когда улыбаешься.

— Ладно, давай завтракать, Танечка. — Он улыбнулся.

— А к майору Окуню нужно идти попрощаться?

— Не нужно, но можно, если есть настроение.

Он подлил ей горячего чаю. Она кивнула: спасибо.

— Мне не хочется с ним прощаться.

— Ну, тогда поздороваешься по возвращении... Допивай, Танечка, нам пора выходить.

Он помог ей заправить шарф. Чуть надавил на плечо, усадил. Сел сам рядом. Минута молчания перед дорогой.

30

Шли мягкой лесной дорогой, на которую селась густая снежная кисея. В ней, в этой кисее, окончательно заплутался пепельный день. Было тихо и чисто. И немножко грустно. Иногда, взглянув друг на друга, смеялись, снег превращал их в снежных баб. Останавливались, отряхивались, шли дальше. А через пять минут оба становились такими, словно их вылепили из снега.

— Юрка, я тебя так и запомню. В снегу.

— Послушай, Танечка...—Он взял ее под руку.

Она подняла к нему лицо, снег выбелил ей ресницы и брови. Он говорил: судя по тому, какие ставятся задачи на ближайшие дни, полк готовят к перемещениям. Если это произойдет скоро, он напишет: Москва, главпочтамт, до востребования. Если это случится несколько позже, он оставит для нее письмо на разъезде. И все-таки не исключено, что они потеряются, военная судьба на сюрпризы горазда. Все равно он найдет ее, если останется жив.

Снежная пелена поредела, стала похожей на дымку, из которой проступали очертания леса, обряженного в зимний маскхалат. Чистая и пухлая от свежего снега дорога.

Она сказала:

— Это удивительно — русская зима. Я ее так и представляла. Сугробы, отяжелевшие лапы елей, белые шапки сосен. Мягкую дорогу и избы под сугробными крышами... У нас же нет настоящей зимы... Сама себе удивлялась, как правильно чувствовала. Это, наверно, и есть чувство родины, правда, Юрка? Даже если не видишь. Книжки, сказки, песни. Как ни громадна наша страна, а центр ее — Россия. Она главная родина...

Было в ее голосе нечто большее, чем в самих словах. Повзрослевшее, выстраданное. И он повторил:

— Я разыщу тебя при любых обстоятельствах.

— Юрка, а если я не вернусь...

— Я найду тебя. Ты мне веришь?

Она грустновато улыбнулась.

Снежно-серые сумерки переходили в снежно-черный вечер. Словно кто-то обрезал сверху дымчатую кисею, в воздухе запорхали редкие снежинки.

Дорога вывела их к железнодорожному полотну и, повернув вправо, пошла карабкаться на холм. Там, на холме, стоял одинокий станционный домик. Маленький домик на маленьком полустанке. Лесная полянка глухомань. Казалось, в этом белом безмолвии только и есть в живых, что их двое.

Домик мигнул зелеными квадратами.

— Ведьмины глаза, — печально сказала она.

Он не расслышал, переспросил:

— Что, Танечка?

— Избушка на курьих ножках, — сказала она.

Деревянный домишко — ребрастый и почернелый, чудом уцелевший в пекле войны, — по наличникам увяз в снегу. Снежная шестискатная крыша ослепала на зеленые окна.

— Тебе будет трудно без меня и с майором Окунем.

— Нелегко... Но ты скоро вернешься, а майор... Ну мне и хуже люди встречались.

— Майор Окунь тебя очень не любит, Юрка.

— Как раз без его-то любви я и обойдусь. — Он снял рукавицу и легонько постучал ей в лоб пальцем. — С чего там засел майор Окунь? И ну его к черту, Танечка! Смотри, сполохи...

Ночная чернота посветлела, окрасилась в блеклые и трепетные цвета. Вспыхивала и гасла, как гасли и вспыхивали цветные столбы на небе.

— Спо-ло-хи, — повторила она. — По-ло-хи. Ло-хи. Хи... Тсс, кто-то идет.

По дороге спускался человек, похожий на медведя, в длинном тулупе. Человек был немолод, судя по одышке и тяжелым шагам. В руке его раскачивался затененный фонарь «летучая мышь», бросающая зеленые отблески на снег — то впереди него, то сзади.

— Поезд вышел встречать. Слышишь, Танечка?

Ночная тишина несла еще неслышимый гул. Гул нарастал с каждой секундой. Задрожала земля под ногами, задрожал воздух. Дрогнула платформа. Застонали рельсы. И вдруг четко заговорили колеса. На стыке сбились с ритма. Грохот железа оглушил безмолвие ночи.

— Ты почему плачешь? Это же ненадолго! Ты же солдат... Ты моя жена... Не терзай мне сердце, Танечка!

Паровоз, астматически отдуваясь, тяжело втащил поезд на разъезд. Лязгнули вагоны, накатываясь друг на друга, и снова покатались. Стоянка — одна минута, он посадил ее и спрыгнул на ходу.

31

Обротный путь Филиппов проделал втрое быстрее. Коля Бекишев — отличный парень, но Коля не сумеет разобраться по молодости в том, что там наворотил командир шестой. И он бежал, хотя в запасе около трех часов. Когда спешишь, — почти то же, что работаешь. А когда работаешь, не остаешься наедине с собой. Сам себе не всегда подходящая компания.

Он бежал и по ходу сообщения. Но на повороте застопорил бег: из-под двери пробивалась узкая полоска света. Мелькнула сумасшедшая мысль. Он рванул дверь. Усмехнулся. За столом сидел майор Окунь.

— Жду вас, капитан, — сказал Окунь без улыбки. — Любопытствую, какое оно такое бывает, мужество.

Филиппов сказал:

— Разрешите, товарищ майор, собраться?

— Да, — ответил Окунь, не спуская с него блеска очков.

Филиппов снял с гвоздя короткое гафельное полотенце. Сложил. Достал мыльницу — раскрыл, закрыл, положил на полотенце. Взял с лавки полевую сумку...

— Дело в том, капитан, — начал не торопясь майор Окунь, — что она может не вернуться.

Филиппов вытряхнул из сумки крошки. Подошел к тумбочке — и улыбнулся в ответ на сияющую улыбку куклы...

— Спецзадание. — Майор Окунь видел только его спину. — Один процент вероятности из ста...

Филиппов приподнял куклу. Выбрал из стопки газет две газеты. Из стопки брошюр — две брошюры. Посадил куклу на место...

— Она все знала, капитан. Я разговаривал с ней утром в ваше отсутствие.



Филиппов сложил газеты пополам. Внутри вложил брошюры, все аккуратно засунул в сумку. Взял со стола старую газету...

— Больше того, капитан. У нее было право выбора. Поняли? Она сама решала вашу и свою судьбу. Она решила не в вашу пользу, как видите, в свою.

Филиппов завернул в газету мыло и полотенце. Сунул сверток в сумку. Продернул ремешок в блестящее ушко...

— Не слышу, капитан, сентенций по поводу... ну, скажем, что не всем дано чувство долга...

Филиппов хлопнул себя по лбу: бритву забыл. Он открыл ящик тумбочки, вынул коробку из потрепанной кожи. Открыл полевую сумку...

— Скажите, товарищ майор,— спросил он, застегивая вновь сумку,— вам не бывает страшно наедине с собой?

Филиппов подтянул ремень, перекинул сумку через плечо. В упор посмотрел на майора. Бледное лицо майора Окуня наливалось синевой. Слепо блестяли очки.

— Мы еще с вами, капитан...

— Разрешите отбыть, товарищ майор!

Когда за майором Окунем закрылась дверь, Филиппов расстегнул душивший ворот гимнастерки. Опустился на скамью.

г. Ташкент.

W



Евгений
Винокуров



Из военного дневника

Этим утром страшными вестями
Поднят мир. Мир напрочь сбит и смят!..
Поезда железными костями
По пустым просторам прогремят.
И, прощаясь, люди торопливо
На перронах будут руки жать.
Первый крик. И первый дым разрыва.
Первая забьется, плача, мать.
И пойдем. Нам это не впервые.
Гром у кухонь. Крик у переправ.
До седых морей дойдут, дойдут живые,
Мертвых по дорогам растеряв...
...Возле стойки фрачные лакеи
Страх не скроют в выцветших глазах...
Захмелев, на Франкфуртеналлее
Песнь степную прокричит казах.

1941. Июнь.

Сейчас

Нет, ничего откладывать нельзя,
Ни праздник, ни воскресную прогулку.
Быть может, завтра, тонко морося,
Дождь скучно застучит по переулку.

Сейчас пускай здесь будет радость вся!..
И вот поэт идет в свою конурку
С пакетами. И с ним его друзья.
Бутылки ставит. Нарезает булку.

Девиз поэта — это нетерпенье.
Подай стаканы, разговор и пенье!..
Стихи читает и набил живот.
А завтра! Что же! То стезя иная...
Пусть все сейчас! И он живет, не зная,
Что завтра будет. Он сейчас живет.

Вера в себя

Все как будто не просто:
Сидишь, что есть силы сопя...

Но однако с упорства
Начинается вера в себя.
С ней и в драку и в споры.
Она проступает в речах.

Ищешь точку опоры!
Так вот — Архимедов рычаг!

С нею все-то как надо,
Ты строен, хоть будь ты горбат...
Так идет по канату,
Закрывши глаза, акробат.

«Мы ведь рожь, не плевелы!..
Так при же смелей напрямик!
Разве можно без веры
На нашей планете хоть миг!
«Я, мол, мелкая сошка...»

Ан нет, ты бросайся в полет!
Так упрямая кошка,
Упавши на лапы, встает.



Лишь мыслью будешь ты пробит,
О смерти мыслью, точно пулей,
То сразу ж возвращайся в быт,
Где пар витает над кастрюлей.

Ты сразу отступи назад,
Туда, где в поднебесной сини
Сырые простыни висят,
Победу торжествуя ныне.

И скажешь, сев в конце стола,
Смотря, как дочь морковку крошит:
«Опасной вылазка была!
Да как-то обошлось, быть может...»

Бессонница

Бессонницей кто только не страдал,
В XX век бессонница не диво.
Коль не поможет томик детектива,
Тогда помочь обязан люминал...
...Я в те года не прибежал к снотворным,
Я спал бы и под палочным битьем!
Меня будили скрежежавшим горном
И криком истерическим «подъем!».
Мы выбегали и купались в снеге.
Ночь бесприютна, звездна и черна...

Бессонница пришла в XX веке,
Как в средние века пришла чума.

Сонет о пределе

Пределен мир, но мне-то нет предела,
И потому я и пишу сонет,
Что вечности на этом свете нет.
Мне до нее нет никакого дела!

Но фраза вдруг вчера меня задела,
Что мир есть только скопище планет,
Бегущих вдаль... И встал я обалдело
И ничего не смог сказать в ответ...

Так что же: я младенец, что у края
Над вечностью сейчас сидит, играя!..
Соль вешних слез и сладость бытия!
Нет, истину я вновь свою открою:
Мир — то, что я пощупать смог рукою...
Пределен мир, но беспределен я.

Индийская философия

Индийская философия,—
Лес, полный зверей и лиан.
Художник сидит, разрисовывая
Мир, как цветной экран.

Индийская философия —
 Храм из узорных плит...
 Фиолетовая и бирюзовая
 Краска везде царит.
 Гимны Махабхараты,
 Рамайяны, Упанишад...
 Да это как будто прохлады
 Вылитый в зной ушат!
 Индийская философия —
 Твои аксиомы просты!
 Тысячелетия текут, спрессовывая
 Как ил, за пластами пласты...
 Запевки и плачи твои, как вязь,
 Надуманны и сложны.
 Главы идут, покачиваясь,
 Словно идут слоны.
 Стоит индианка несмелая,
 Точка на лбу, как туз.
 В свое воскресенье веруя,
 Веки смежил индус.
 Нечего делать историкам
 В этом краю чужом...
 Кем же он станет! Кроликом!
 Кем же он был! Ежом!
 Белые облачения,
 Спадающие до пят!
 Вечного круговращения
 Льющийся водопад.
 Чаша тюльпана розова...
 Это ль не смысл для ноздрей!
 Ведь аромат для философа,
 Может быть, книг поважней!
 Но вот, скорлупу разруша,
 С воплем: — А я ведь всё! —
 Вышел цыпленок Пуруша,
 Мыслью разбив яйцо.
 Индийская философия —
 Река, что полна стремнин...
 ...Словно курильщик опия,
 Дремлет с цветком брамин.

Монумент в Кракове

На камни костелов, откаркав,
 Садится, кружась, воронье...
 Задумчиво смотрит на Краков
 Монгол, опершись на копье.
 Морщинисто и безусо
 Лицо наконец расплылось...
 ...А синие ноги Иисуса
 Гвоздями пробиты насквозь.
 Мучительней и смертельней
 Легенды не знали века...
 И лик выплывает из терний
 Трагического венка.
 В соборы идут краковчане...
 Но всадника мучает смех,
 Трясутся цветы на колчане
 И лисий ободранный мех.
 Как вкопанный, прямо с галопа
 Он замер. Ладони простри:
 Лежит перед взором Европа —
 Деревни и монастыри.
 В ней всякие странные вещи...
 В свой первый единственный раз
 Монгол наблюдает зловеще
 Европу сквозь прорези глаз.
 ...От Тихого океана,
 Как будто бы чувствуя зуд,
 Храпят табуны окаянно,
 И чадно кибитки ползут.

□ □ □

Константин Ваншенкин



От всех мадонн, стоящих у развилок,
 От всех высоток, где прошли бои,
 Из всех могил, окопов и могилок,
 Где полегли товарищи мои,

Потом, когда исчезли пепелища
 С истерзанной снарядами земли,
 На сводные огромные кладбища
 Товарищей моих перевезли,

Писавших в штабе длинные бумаги
 Или мгновенно шедших на таран,
 Сраженных в ранней утренней атаке
 Или в санбатах умерших от ран.

Уже не раз в весенний день погожий
 Иль под снежком, летящим с высоты,
 Я молча возлагал у тех подножий
 Немецкие и польские цветы.

В дни тишины и в годы грозные,
 Когда набат катился над страной,
 Как женщина, как мать, моя Россия
 Жила всегда не для себя одной.

И не себя лишь только защищала,
 И не страшилась в битве никого.
 И злейшего врага почти прощала,
 Едва оружие выбив у него.

Концерт

Едва лишь ужин отбренчал
 С его консервами и кашей,—
 Простуженный солдатский зал,
 Натруженный солдатский кашель.

Солдат... Фурункулы его
 В санчасти смазаны зеленкой.
 А вообще-то ничего,
 И не обидел бог силенкой.

Да вот простыл в ненастный час,
От дома теплого далече.
Со сцены он не сводит глаз.
Но сотрясает кашель плечи.

Простите, иллюзионист,
Чей дар сверкает, словно сабля,
Скрипач и аккордеонист,
И две певицы из ансамбля.

И чтец... Порой не слышно слов...
На фраке пышная розетка...
Надсадный кашель из углов.
И лишь не кашляет разведка.

☆

Закат на стволах погас,
Проплыл одиночный выстрел,
И вынес меня Пегас
На гребень порывом быстрым.

Я песен еще не спел
Под тот орудийный рокот,
Не знаю, бывал ли смел,
Но был в стихотворстве робок.

Как жизнь свою передашь?
Тошала махорки пачка.
Химический карандаш
Сомлевшие пальцы пачкал.

Был нужен душе сигнал
С протяжной командой гласной,
Чтоб робость мою согнал
Подчеркнутой силой властной.

Помаргивал фитилек
Над сплюснутым срезом гильзы.
Рассвет был еще далек.
Я вволю над строчкой бился.

Я двигался по войне
И чуял дыхание ритма.
Но третью неделю мне
Никак не давалась рифма.

Ударил вблизи фугас,
Был крупен, подлец, калибром.
Шарахнулся мой Пегас,
Я выругался верлибром.

☆

Темнея колонной ствола
Над крышей из толя,
Огромная липа спала,
Как принято, стоя.

Был весь ее облик суров,
Плыл полдень, рассвет ли,
Чернели подобьем стволов
Вершинные ветви.

Но в память давнишних побед
Двухсотой весною
Вдруг выгнала гибкий побег
Над самой землею.

И были листочки на нем
Свежи и пахучи,

Мерцали зеленым огнем,
Лишь каплю похуже.

Но в грозных законах родства
И вешнего сока
Шумела другая листва
Уж больно высоко.

☆

В природе наметился спад,—
В ночи, не мечтая о чуде,
Дневные растения спят
Гораздо спокойней, чем люди.
Все стихло. От старых дубов
Ползла полоса дождевая.
И плакала чья-то любовь,
Последний свой миг доживая.

☆

Право, это вовсе ничего,—
Вы, конечно, знаете и сами,—
Просто ни с того и ни с сего
Вдруг глаза наполнятся слезами.
Молча смотрит девочка вокруг
На дома, на тихие березы,
На далекий лес, на близкий луг
Сквозь увеличительные слезы.

Путник

Книг в этом доме было мало,
Читать их тоже было лень,
Но радио зато играло,
Как в парикмахерской, весь день.
Привычно действуя и мощно,
Со лба сдувая тень волос,
Хозяйка все, что было можно,
Надраивала, как матрос.
Подушек разбирала штабель.
Кровати белой ныл металл.
И платья глаженного штапель
Со стула венского свисал.
Спал путник в доме прочной кладки,
И лишь сознание того,
Что сроки жизненные кратки,
Сквозь сон тревожило его.

☆

Утеряны в жизни тобой
Письмо или книга,
Дымок за лесною тропой,
Блеск давнего мига.
Наткнешься случайно совсем
Рассеянным взглядом
На что-то, с утраченным тем
Лежавшее рядом.
А ты и не думал уже,
Иного желая,
Что вдруг отзовется в душе
Потеря бывшая.

☆

Родинка смешная на щеке
И бровей темнеющие скобки.
Каблучки и тонкий шрам от штопки
Около колена на чулке.
А твоя рука течет вдоль тела,
Повторяя линию бедра.
И моя душа полна добра.
Ты, должно быть, этого хотела!



Иван Зюзюкин

СЕКРЕТЫ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ*



Рисунки Ю. Цишевского.

О воспитании детей стали много писать и говорить. С этой темой произошла такая же история, как некогда с «веткой сирени в космосе»: высказываются все, кто хочет. Это легко объяснить. Педагогика — одна из тех наук, в которой каждый считает себя более или менее сносным специалистом.

Но вот уже и не досужие люди, а экономисты, социологи, психиатры, увидев в детях целый мир, целое общество в обществе, спешат изучить их во всех проекциях. Мы узнаем, что дети в массе стали выше ростом, что благодаря тесноте и обнаженности городской жизни они раньше осознают свой пол. И так далее. На детей обратила свои жадные взоры литература. Книга за книгой рисуют нам портрет современного подростка — существа с чрезвычайно сложным душевным миром, с непреодолимым желанием враз ре-

шить все земные вопросы и достичь небесных звезд.

Хорошо это или плохо, что педагоги перестали быть монополистами в изучении детей? Конечно, хорошо. Это говорит о том, что поколение отцов хочет лучше понять детей.

Но при виде растущего вала статей, радиопередач и повестей лично у меня возникает и чувство тревоги. Не слишком ли мы увлеклись изучением «белых пятен» в стране детей и не перестали ли мы замечать в их природе что-то извечное, простое и сокровенное?

1

Недavno у меня на эту тему с одним коллегой, истратившим море чернил на статьи по проблемам воспитания, состоялся следующий разговор.

— Наконец-то ты опомнился! — сердито начал он. — А сколько лет кудахтали над детьми: ах, какие

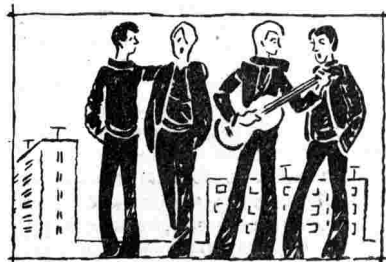
они загадочные, ах, отойдите от них, непосвященные!..

— А что же было в этом неправильного? — обиделся я. — Не столь давно ты же сам, рассуждая о природе детей старшего возраста, назвал их «кентаврами». Так сказать, полуребенок-полумужчина...

— Но, заметь, мы поглаживаем их по головке только тогда, когда они обнаруживают вторую половину — взрослую. А первую из всех сил искореняем, — продолжал он. — Получается, что мы идем против природы, потому что стать истинно взрослым можно, лишь досыта надышавшись детством...

— А вот послушай, свидетелем какой сцены мне пришлось быть на днях, — решил я сразить его таким, как мне казалось, убедительным примером. — Несколько «кентавров» во дворе устроили кошачий концерт под аккомпанемент облупленного банджо. Они замолчали, когда один пожилой квартиросъемщик уже совсем вышел из себя. Потом наиболее образованный «кентавр» — Славка из седьмого «б» — крикнул: «Сэр, а почему бы вам не «организовать» нас? Ну, например, пригласить на лекцию в красный уголок домоуправления?» Я бы за такие штуки их всех хорошенько высек.

— Не их, а тебя надо высечь, — невозмутимо ответил мой оппонент. — Я уверен, дело было так. Они сделали уроки и вышли во двор. А в нем ничего, кроме песочницы. Была еще, наверное, беседка, где они основали редакцию своего рукописного журнала «Наш двор». Но кто-то из ЖЭКа на днях навесил на ней многозначи-



тельную табличку «Летняя читальня» с часами работы. Этим воспользовались взрослые любители домино и потеснили детей. Что ребятам было делать? Сунулись в ближайший кинотеатр. А там «Королева Шантеклера» — «дети до 16 лет не допускаются...». В Доме пионеров, они знают, все рассчитано на девочек с бантиками. И вот тебе ситуация. Или ешь

* В порядке обсуждения.

перловку смиренного сидения на лавочке, или ищи сырое мясо диких забав. Ты хочешь, чтобы они уважали старость, порядок. Но сначала им нужно помочь научиться уважать самих себя.

— Что же для этого требуется? — спросил я.

— А то же самое, что и для плавания: хотя бы один раз «чуть не утонуть...»

— Но-но! — предостерег я. — Старая и вредная философия: дайте детям испить полную чашу лишений, и они вырастут жизнеспособными, деятельными людьми. Все наоборот. Чем больше в детстве человек будет иметь радостей, тем больше, став взрослым, он посеет их вокруг себя.

— Это так. Но откуда ты знаешь, что для них радость, а что нет?

— Верно, — согласился я. — Наши представления о счастье часто расходятся с их представлениями о счастье. Не многим дано понимать их речь. Моя дочь, например, до восьми лет рисовала всегда одно: сказочных царевен. Я потешался над ней: «Опять рисуешь матрен?» Наконец ей это надоело, и она сказала: «Папа. Мне. Нравится. Рисовать. Этих. Как. Ты. Говоришь. Матрен...» Лишь тогда я понял, что отравлял ее только ей понятное счастье...

— Не забудь о том, что у нее и в пятнадцать лет будут какие-нибудь нелепые, на твой взгляд, «матрены». Мне иногда кажется, что дети рождаются со своим чертежом роста. Мы же часто откладываем его в сторону и начинаем набрасывать свой. Наши с ними конфликты начинаются, когда мы запрещаем им бегать босиком под дождем, лазить на деревья и чердак, стыдим их на сборах за катание на перилах и стычки за углом школы. Нет, я не против техники безопасности воспитания. Но и не надо каждый шаг ребенка обкладывать подушками. Дети имеют право не только на конфеты и книжки, но и на маленький риск. Я не верю, что можно стать взрослым, не научившись «давать сдачу», ни разу не обвевшись черемухи, не преодолев страха перед темнотой или крутизной. Знаешь, некоторые люди мне напоминают парниковые огурцы. В них нет аромата. Наверное, их детство прошло под стеклянным колпаком... Скажи, отчего во многих из нас до глубокой старости живет мучительная зависть к детям и их играм? И почему очень начитанному человеку иногда с упреком и сожалением говорят: «Книжный ты человек»?

— Не знаю, — ответил я рассеянно. Мое внимание отвлек крик из глубины двора: «Славка, тащи свою бандуру!»

2

Наш спор, в котором одна крайность сшибалась с другой, продолжался долго. Но только от меня самого зависело, когда его прекратить: я был в нем одновременно и самим собой и своим оппонентом.

Однажды пришел день, когда все, что я прежде писал про воспитание детей, показалось мне непростительно односторонним. Все это мое воспевание гордого мальчика-интеллектуала, который, мечтая о славе Эвариста Галуа, между прочим, не умеет подтягиваться на турнике, за что презираем девчонками класса. Все эти постоянные призывы к взрослым учитывать особенности детей, выраженные мною без существенной оговорки — давать им при этом и свободу и простор для роста...

Боюсь, как бы эту оговорку кто-то из читателей «Юности», педагогов по роду занятий, не истолковал превратно. Например, как сухой намек на то, чтобы поменьше утруждать детей умственной работой и побольше налегать на их физподготовку. Или как печатное разрешение «кентаврам» (когда про них пишут, они — в этом не раз убеждался по читательской почте — тут как тут) до последней дырки расшнуровать первобытные инстинкты.

Нет, пусть наши ребята растут поэтами и политиками, астрономами и генетиками. И, умные, тонкие, заодно умеют подтягиваться на турнике. Но если бы дело было лишь в этом! Тогда бы: эрудиция плюс знание текущей политики, плюс тугие бицепсы — и вот вам гармоничный человек грядущих лет. Но в нем, боюсь, не хватит тех достоинств, что не упадут в цене и в эпоху сверхцивилизации. Я говорю об умении смотреть на жизнь как на высокий долг и сладость, дающуюся один только раз, об устойчивости перед рефлексией отчаяния и стереотипами дешевого оптимизма. Такая диалектика мышления и чувствования дается личности, когда она пропитана многообразием жизни, как нетонущее бальзовое дерево — собственной смолой. Растущий человек обладает правом пройти в миниатюре всю долгую дорогу людей, народа, страны. Пусть отважным новгородским ушкуйником прой-



дет весь «путь из варяг в греки», не спит в карауле крепости, очертаниями напоминающей Брестскую. Пусть, постигая красоту земли, познает чувство локтя, взбирается со сверстниками на горные кручи, за обе щеки уплетает полевою кашу с запахом полыни. И вздрагивает от боли и ответственности, возложенной на него, будущего, при виде усыхающей реки. Вот для этого и нужен ему простор роста — понятие главным образом педагогическое, философское и уже в последнюю очередь географическое.

3

Как-то в «Комсомольской правде» было напечатано письмо сахалинской школьницы Наташи С. Девочку исключили из комсомола. Ее неявка на одно комсомольское собрание стала последней каплей в чаше педагогического терпения. Взрослые (которых она постоянно допекала спорами и возражениями) настояли, чтобы товарищи применили к ней в ее возрасте, я считаю, высшую меру наказания.

В защиту школьницы в редакцию долго шли письма, телеграммы. Но никто не обратил внимания на повестку собрания. Она звучала громко и торжественно: «Мужество рождается за партой».

Наташа не пошла на собрание сознательно. Она сочла повестку собрания надуманной, искусственной. «Как же быть тогда с Сережкой Тюлениным, которого, всем известно, выгнали из школы?» — спрашивала она взрослых, и те сочли ее вопрос очередной крамоллой.

А между тем это так: Тюленин, любимый герой наших подростков, в самом деле не был образцом усидчивости. Но в трудный час Родины он проявил не только понимание своего долга, но и изумительное умение выполнить его. Можем ли мы, положив руку на сердце, сказать, что его мужество

родилось за партой? Ведь за безграничную отвагу, казавшуюся учителям безрассудством, Сережка и был выгнурен из школы.

Тому, кто бывал на школьных диспутах, знакома такая картина. До поздней ночи ребята с пафосом и до хрипоты спорят о смысле подвига, о том, что такое дружба и чем таким она отличается от любви, и т. д. Литературные примеры подкрепляются ссылками на вчерашний номер газеты. Побеждает точка зрения того, кто блеснул эрудицией или ораторским талантом. Тут-то у учителей и появляется возможность заприметить будущих докладчиков на темы героизма, товарищества и прочее.



В этом и состоит опасность словесного воспитания: оно последовательно «оббалтывает» реальные понятия, порождая у ребят иллюзию личной причастности к тому, о чем они говорят на диспутах и собраниях. У них возникает уверенность, не оставляющая места сомнениям, относительно своей готовности пожертвовать жизнью, если понадобится, броситься на помощь при пожаре, наводнении. Мы не должны обольщаться их клятвами: готовность, не проверенная опытом, ненадежна.

Но иногда — как, например, в сахалинской школе — здоровое начало ребят начинает протестовать против ловко состроенной схемы. Это приглашает нас думать о том, почему, на словах отрекшись от схоластики (деликатно называемой сегодня формализмом), мы еще не до конца изжили ее из практики школьного воспитания.

Предвижу обиду некоторых учителей. Уж они-то столько сил в последние годы кладут на то, чтобы почаще выводить ребят в «свет»! Совершают с ними экскурсии по заводам и музеям, ведут в походы по историческим местам...

Но не напасть на школу, а защитить ее от одного взгляда — вот что мне хочется. Взгляд этот такой: как только в семье или на улице возникает воспитательный

вакуум, школа должна немедленно заполнять его.

— Если мой ученик что-нибудь натворит во дворе или на улице, милиционер идет не к родителям, а ко мне. Кто его научил этому? Во всяком случае, не мы... — говорила мне недавно одна киевская учительница.

Я спросил, что, на ее взгляд, можно сделать, чтобы проступков учеников было поменьше. Она ответила:

— Еще дольше задерживать их в школе. При нас они ничего не натворят...

Тому, кто научил милиционера видеть в школе ответчицу за все болезни роста детей, следует прямо сказать: возможности школы ограничены, она может далеко не все.

Прежде всего — удастся ли ей сформировать настоящий ребячий коллектив? А ведь именно в коллективе возникает благоприятная среда для взаимного обучения, соревнования в первородных качествах человека.

4

Вот как описывает один крупный авторитет возникновение детского коллектива. Однажды во дворе появляется не по годам сильный и сообразительный мальчишка. Задумав какое-нибудь дело, он сплачивает вокруг себя пять-шесть сверстников. (Седьмого, восьмого он по еще плохо изученным причинам постарается «отшить».) Однако безраздельным авторитетом вождя наслаждается недолго. У него — в лице другого мальчишки — появляется «оппозиция». С этого дня можно считать, что во дворе в скором времени будет уже не один, а два коллектива.

Это во дворе. А как происходит этот процесс в школе? Ничего общего со двором! В школе совершается комплектация классов по формально-возрастному принципу.

Мы не в силах изменить этот принцип. Все дети данного микрорайона должны учиться в данной школе. Происходит неизбежное администрирование их жизни. Класс, которому отныне предписано стать единой семьей, на самом деле будет до самого выпуска состоять из пяти-шести коллективов детей с различными наклонностями и интересами. Но педагогика единых требований, механически перенесенная из обучения в воспитание, обязывает всех детей

участвовать во всех мероприятиях класса. В той или иной форме они постоянно сопротивляются ранжиру. Но далеко не всегда это приносит им успех.

Что же делать? Сложить перед ними оружие или и дальше «ужесточать» режим дисциплины? Ни то, ни другое. Надо чем-то компенсировать искусственность организма школы.

Школа, ведущая бои на передовых позициях воспитания, не может обеспечить нам его тылы. Мы восхищаемся фактами самоотверженности, с какой некоторые школьные педагоги работают с детьми по месту жительства, ходят все лето с учениками по туристским тропам. И назидательно говорим: вот, берите пример... Но это тот случай, когда мы под громкие аплодисменты потихоньку эксплуатируем энтузиазм. В массе же учителя не могут общаться с учениками после уроков. Современные дети, со всех сторон пропитываемые информацией, вынуждают учителей больше думать о содержании и методике преподавания, чем о формах воспитания. Недаром во всех школах растет кривая массовых мероприятий. Растет в ущерб индивидуальной работе с каждым учеником.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счета и такой реальный фактор, как абсолютное преобладание женщин в рядах учителей и вожаков. Психологические свойства женщины порождают у нее бессознательное желание, чтобы ученики всегда были в куче, чтобы за каждым был присмотр. Существо куда более спокойное, чем мужчина, женщина-педагог текает равновесие при одной толь-



ко мысли, что кто-то из детей может простудиться, заболеть. В стенгазете одной школы мне недавно бросился в глаза дружеский шарж на классную руководительницу: ученики с рюкзаками за плечами выстроились на берегу реки, а учительница, стоя по колено в воде и погрузив в нее тер-

мометр, с ужасом смотрит на низкий уровень ртутного столбика...

Впрочем, и здесь мы имеем героические примеры. У нас уже выработался современный тип вожатой-«амазонки» — существа доброго, до гроба преданного детям, но почти лишенного признаков пола.

За реакцию опытных воспитательниц на эти сетования я не опасюсь. Они сами теребят роно и райкомы комсомола: подбросьте нам парней... А вот как поймете меня вы, студенты педвузов и молоденькие вожатые из старших классов? Чур-чур, не как попытку изгнать вас из эдема воспитания! В том, что женское начало в педагогике усилилось, есть жадная потребность и тонкая задача века.

Но естественная пропорция в кадрах воспитателей все-таки нарушена, и вся педагогика, в практике и даже концепциях, приобрела ощутимый налет женскости. Это определенным образом сказывается на формировании детей, в особенности мальчиков. Увы, не всегда отрадным образом.

5

В отличие от других наук педагогика редко потрясает наше воображение. Но великие, подобно теории относительности, открытия бывают и у нее.

Игра как необходимый элемент воспитания — одно из таких открытий.

Впервые на широких полигонах ее испытал англичанин Баден-Пауэлл, офицер колониальных войск в отставке. Он создал отряды «юных разведчиков», провозгласил себя их вождем, вывел детей на лесную лужайку. И сказал примерно следующее: «Играйте в войну, в Робин Гуда, шпионов, путешественников, археологов. Все, что происходит в обществе взрослых, вас не касается. Вы здесь, на лесной лужайке, построите свой мир, со своими обычаями и законами — здоровее, чище, прекраснее мира взрослых. Я помогу вам стать сильнее льва, зорче орла, хитрее лисицы»...

Как педагог, Баден-Пауэлл попал в самое яблочко интересов детей. Как проводнику определенной общественной политики, ему повезло меньше. Он хотел детей рабочих и банкиров помирить у яркого лесного костра. Это ему удавалось, но ненадолго. Повзрослев, «юные разведчики» расходились по своим классовым квартирам.

Любой сложности цель, поставленную перед детьми, игра делает приятной и заманчивой — это поняли и сделали своим педагогическим устоем наши друзья-поляки. Я бывал во многих дружинах их детской организации — Союза польских харцеров. Это были встречи со счастливыми детьми. Они строят свои палаточные города, имитируют сходки польских революционеров, обследуют таинственные пещеры и подвалы, открывают в красивых местах киоски по продаже мелочей, необходимых рассеянными туристам. Я был у них зимой. Но уже тогда они жили мечтой о лете. Оно для них та пора, когда можно, блеснув взрослостью, заработать значки «Плавающего как щука», «Повара», «Историка», «Танцора» и т. д.

Понимание того, что жизнь детской организации надо наполнять всей прелестью детства, побеждает и у нас. В предместьях многих городов возникают пионерские «республики бодрых», лагеря труда и отдыха для комсомольцев-старшеклассников. Растут числом дружины юных пограничников, пожарников, моряков, космонавтов. Проводятся всесоюзные игры на приз «Кожаный мяч», «Золотая шайба». Недавно шесть миллионов ребят приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница».

Меняется и образ уличной жизни детей. То там, то здесь появляется какой-нибудь шустрый отряд со штабом в старой пожарной каланче или в заброшенном сарае. (Знатоки детей утверждают, что строительство специальных помещений для детских штабов было бы психологическим просчетом.) Возникла новая отрасль педагогики — дворовая, пока еще не имеющая своей секции в Академии педагогических наук. Она творится людьми, подвижными беззаветной любовью к детям. Среди тех, кого я знаю, почти нет педагогов по образованию. Это главным образом инженеры, ученые, журналисты, комсомольские работники. Все, за редкими исключениями, мужчины. Характерная особенность: у всех детство было нелегким — оно совпало с войной. В свое время не доиграли и вот теперь, незаметно для себя, доигрывают.

Об одном из них, Германе Черном, секретаре Уссурийского горкома комсомола, я уже писал. (Кстати, очерк мой некоторые читатели расценили тогда как критику Черного.) Все-таки мне хочется рассказать о нем еще раз.

Неистовый противник «дамских методов» обращения с детьми, Черный во всем шел от противного. Не делал страшных глаз, когда ребята, чтобы задержать товарный поезд и успеть погрузить декорации своего самодеятельного театра, ложились на рельсы. В ответ на просьбы из школ не записывать в уличные хоккейные команды двоечников он вывесил объявление: «Мальчишки Уссурийска! В соревновании на приз «Золотая шайба» имеют право участвовать все, кто родился в 1951—1953 гг.».

Прошлым летом вместе с городскими подростками он построил лодочную флотилию «Альбатрос» и по реке Суйфун вывел ее в Амурский залив Японского моря. «И, конечно же, мы сразу попали в шторм», — писал он мне позднее. — Я, кажется, поседел от страха за ребят. Благо, что при цвете моих волос (Герман — безнадёжный блондин) этого не видно. Шторм вызвал у моих чад дикарскую ра-



дость. Кто-то орал: «Будет буря, мы поспорим...» Когда все утихло, у них уже было готово решение: в следующий раз идти прямым курсом на Сахалин. Я так и сел...»

Моя ли была вина в том, что к Герману у кого-то возникла антипатия? А может, дело в привычке видеть детей благостными паньками, а воспитателей — важными гусынями?

Каждый может декларировать свою любовь к детям и свои страхи за их здоровье. Но не все умеют из-за них молча сидеть.

Теперь я боюсь другого: как бы кто-то из поведения ребят во время шторма не вывел их пригодность для службы во флоте. Давайте видеть в этом нечто большее.

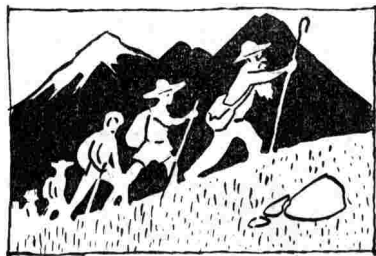
6

Обнажая бесчеловечность философии «сверхчеловека», разоблачая буржуазных кумиров детства типа Джеймса Бонда, мы в пылу спора иногда забываем

добавить: полноценному человеку нелишне быть волевым, смелым, выносливым. Мы в последнее время порядком затаскали такие слова, как «добродетель», «порядочность», «совесть». Я и сам не раз пускал в ход эти дорогие понятия. А теперь вот думаю: не станет ли наша добродетель дряблой, проницаемой для хамства, произвола, унижения, если мы ее, как и мужество, будем воспитывать без отрыва от парты?

В Грузии у меня есть еще один знакомый из племени «дворовых педагогов». Это старый ученый, профессор, этнограф и лингвист по специальности. Из его жизни я знаю одну драматическую деталь: он долго был в опале из-за того, что не отрекся от своего учителя, объявленного шарлатаном в языкознании. Но ни годы, ни пережитое не помешали ему остаться таким же жизнелюбом, каким был роллановский Кола Брюньон. Профессор, отправляясь в очередную экспедицию, берет с собой любознательную детвору. И с прытью юноши лазит с ними по горам. Он показывает им, каких трудов стоит вырастить виноград, предлагает им самим попробовать испечь хлеб, приготовить сыр и т. д. Когда я спросил его, какое все это имеет отношение к этнографии, он ответил: «Самое главное, чтобы они росли реальными людьми, а не догматиками, верящими словам больше, чем фактам...»

Когда видишь лица ребят, впопалку спящих на земле после тридцатикилометрового маршброска, начинаешь понимать, что в этом марафоне они набирались не только физического, но и душевного здоровья. Завтра они станут новыми людьми, познавшими счастье победы над усталостью и своей робостью. В тульском отряде «Искатель» я был свидетелем скромного вроде бы события: командир отряда перед строем сурово отчитывал мальчишку-«комбата» за то, что тот взял себе для ночевки два одеяла вместо положенного каждому одного. Это был



доступный детскому уму урок морали, в тысячу раз более действенный, чем любой диспут о справедливости.

7

Когда я говорил о «республиках бодрых», отрядах «искателей», обо всем этом движении, то чуть было не сказал: оно растет как грибы. Но тут же отказался от этого штампа — и не только по соображениям стилистики.

Это достойно сожаления, но такие отряды пока что только эпизод. И даже игра «Зарница» с ее шестью миллионами участников тоже выглядит как эпизод, если вспомнить, что одних детей пионерского возраста у нас 23 миллиона.

А нам нужна система внешкольного воспитания, не знающая ни пасынков, ни затянувшихся антрактов. Научно продуманная система, обеспечивающая радость детям в дополнение к их счастью ходить в школу, книжки читать, спорить, мечтать. И не только журналистам, дилетантам и забиякам думать о ней, а спокойным и мудрым мужам педагогики. На одном из совещаний раздалось предложение создать лабораторию внешкольного воспитания. Не знаю, как кому, а мне любая лаборатория представляется маленькой комнатой, уставленной колбочками и ретортами. Не в ней, а во дворах с голубятнями, на модельных плотках, на берегах за-

литых солнцем речек надо искать «философский камень» воспитания. Там растет дикая груша детства. Привитая к культурной, она даст нам взрыв плодородия.

Но тут же меня начинают одолевать прозаические мысли. Хорошо, систему разработаем. А чем она будет поддерживаться? Как и ее нынешние зародыши, одним энтузиазмом?

Сопоставим два факта. Первый: наша страна расходует астрономические суммы на обучение и воспитание детей, на строительство дворцов пионеров, детских кинотеатров, стадионов и т. д. И факт второй: знакомый нам Герман Черный многие ребячьи удовольствия оплачивает из своего кармана. При всей поддержке городских властей его отрядам не хватает то ключей, то палаток.

Странно как-то получается: на дворцы у нас хватает, а на палатки нет. Это происходит вот почему. В бюджете многих наук есть статья, финансирующая не предусмотренные планом открытия и изобретения. У педагогики такой статьи нет. Своим добровольцам она может обеспечить только моральную поддержку.

8

На этой ворчливой ноте я и хотел было поставить точку. Но тут меня опять стал донимать внутренний оппонент.

— Разошелся! — насмешливо сказал он. — Я разыграл тебя, а ты и впрямь поверил, что современным детям позарез нужна лесная лужайка. Проснись, на дворе XX век! А ты: назад, в пещеры... Их за уши не оттянешь от телевизора. В нем все можно увидеть: и любовь, и лунные ландшафты, и хижины индейцев, и сто способов спасения утопающих.

— Да? — усомнился я и выглянул в окошко. Дворовые «кентавры» из самодельного лука расстреливали вконец разбитое банджо.

—

СЕСТРЫ ХАУФ

Ираклий
Андроников



Однажды, это было не так давно, с очередной почтой я получил письмо из редакции «Литературной газеты». Распечатав конверт, обнаружил внутри другой, оклеенный западногерманскими марками, со штемпелем «Штутгарт», адресованный через редакцию мне. Но прежде чем сообщить содержание письма, должен вас предупредить.

Дело в том, что в 1962 году я уже побывал в Западной Германии, куда летал за обнаруженными там неизвестными рукописями Михаила Юрьевича Лермонтова и его художественными работами, которые попали за Рейн еще при жизни поэта, когда его родственница и близкий друг Александра Михайловна Верещагина вышла замуж за немецкого дипломата Карла фон Хюгеля и навсегда рассталась с Россией. Это было в 1837 году. С тех пор Верещагина-Хюгель жила в Штутгарте и в замке Хохберг, близ Людвигсбурга. С собою она увезла свои девические альбомы, в которые вписывал стихи юный Лермонтов. Увезла письма Лермонтова. И посвященную ей поэму «Ангел смерти» и лермонтовские рисунки. Впоследствии Верещагиной передала на хранение лермонтовские рисунки и бумаги ее двоюродная сестра Варвара Александровна Лопухина, которую Лермонтов любил до последнего дня своей жизни. Так все это и осталось в Германии. В Германии Верещагина умерла и похоронена в Штутгарте.

В 1934 году, после смерти последнего владельца, в фамильном замке Хюгелей Хохберг была объявлена распродажа. И лермонтовские реликвии приобрел немецкий искусствовед профессор Мартин Винклер. К нему я и ездил осенью 1962 года в городок Фельдаффинг, около Мюнхена, узнав, что принадлежавшие Верещагиной рукописи Лермонтова и его художественные работы перешли в собственность этого известного в Германии знатока русской культуры.

В доме профессора Винклера я увидел не только писанные рукою Лермонтова неизвестные нам стихи, не только акварельные рисунки его, не только картину, исполненную Лермонтовым масляными красками с настоящим искусством... Ученый показал мне три небольших старинных альбома из того же собрания, которые, однако, принадлежали не ему, Винклеру, а правнуку Верещагиной барону Вильгельму фон Кёнигу. В этих альбомах открылись писанные рукою Лермонтова начало баллады, посвященной мужу Александры Михайловны Верещагиной барону фон Хюгелю, под названием «Хюгельский барон»; неизвестное стихотворение Лермонтова «Послание»; неизвестная запись Лермонтова; неизвестный рисунок Лермонтова... Оказалось, что барон доктор Кёниг по просьбе профессора Винклера одолжил ему эти альбомы с тем, чтобы показать их мне...

С рекомендацией профессора Винклера я отправился из Мюнхена к барону фон Кёнигу в его фа-

мильный замок Вартхаузен, возле Ульма (это земля Баден-Вюртемберг, центром которой является Штутгарт). И, познакомившись с правнуком Верещагиной, получил возможность полюбоваться еще и акварельным рисунком Лермонтова, изображающим сцену из времен Отечественной войны 1812 года — стычку русских крестьян с французскими кирасирами. Там же, в замке Вартхаузен, я впервые увидел портрет самой А. М. Верещагиной — в музеях нашей страны ее изображения нет.

Все эти реликвии барон фон Кёниг разрешил сфотографировать и напечатать в советской прессе. Что же касается материалов профессора Винклера, то от него были получены оригиналы. Обо всем этом я рассказал в книге «Лермонтов. Исследования и находки», вышедшей в 1964 году, а также в ряде газетных и журнальных статей; некоторые были перепечатаны в западной прессе: шел юбилей Лермонтова.

И вот я получаю письмо из Штутгарта от неизвестной мне женщины, пересланное «Литературной газетой».

«Уважаемый господин Ираклий Андроников, — начиналось это письмо, написанное по-русски. — Может быть, мое сообщение послужит хоть на малую пользу вашему делу — собиранию материалов о великом нашем поэте М. Ю. Лермонтове.

Года полтора тому назад я стала работать в новом бюро. Стала знакомиться с новыми коллегами. Рядом со мной за столом оказалась пожилая, маленькая, черненькая женщина, фройляйн Юлия Хауф. Она сразу же уловила мой иностранный акцент в немецком языке и спросила, кто я такая. Как всегда откровенно, я ответила, что я русская. «И во мне те-

чет русская кровь, — заметила фройляйн Хауф. — Моя прабабка была русская. Ее звали Александра Верещагина. Я так и привскочила на стуле, поверьте! Только накануне я прочла в одной из газет перепечатанную Вашу статью с сообщением о находках здесь, в Германии, в замках Вартхаузен, около Ульма, и в Хохберг, около Людвигсбурга, неизвестного доселе наследия Лермонтова! Я сейчас же рассказала фройляйн Хауф об этой статье и обо всем, что мне известно о Лермонтове. На другой день фройляйн Хауф принесла на службу и показала мне акварельный портрет своей прабабки. Он в овальной позолоченной рамке размером приблизительно 20 × 12 см. На оборотной стороне есть надпись выцветшими чернилами: «Александра Михайловна Верещагина, родилась тогда-то и там-то, венчалась с бароном Карлом фон Хюгелем в русской посольской церкви в Париже тогда-то...» Фройляйн Хауф рассказала мне также, что у нее и ее младшей сестры Регины — обе они незамужние и живут вместе — сохранилось еще много вещей от прабабки. При Гитлере их преследовали как противников режима, хотя и пассивных. У них были состояние и дом — вилла в Штутгарте, которая является уменьшенной копией родового замка Вартхаузен. Сестры живут весьма небогато, прирабатывая — одна службой в бюро, другая, со сломанным бедром, шьет. Я спрашиваю себя: кому достанутся в случае смерти сестер эти наследственные вещи, вывезенные Верещагиной из России? Продадут ли их с молотка за гроши или они вообще исчезнут бесследно, как исчезло уже без следа многое ценное, хранившееся в замке Хюгелей Хохберг?.. Вот что, многоуважаемый господин профессор Андроников, хотела я Вам сообщить».

И подпись: немецкая фамилия и очень русские имя и отчество.

Весною 1967 года мне снова представилась возможность посетить Западную Германию. И я не удивлю вас, если скажу, что в первый же день по приезде в наше посольство в Бонне позвонил своей корреспондентке по ее штутгартскому телефону и услышал живой, взволнованный голос, чистую русскую речь, но уже с немецкими оборотами:

— Это вы, профессор Андроников? Да? Прошло много времени, и я уже не надеялась на ваш приезд, да? Как мы сможем увидеться, вы дадите ответ? Вы хотели бы побывать в Штутгарте? Я думаю, что мы сможем встретиться в воскресенье и я смогу повести вас к сестрам фройляйн Хауф. Они хотели бы познакомиться: я говорила о вас. Вы будете в машине? Да?..

Мы условились встретиться с нею в Штутгарте перед ратушей, мы — это сотрудница московского журнала «Иностранная литература» Лидия Александровна Сомова, с которой нам предстояли встречи с немецкими издателями и журналистами, секретарь советского посольства в Бонне Анатолий Иванович Грищенко вместе с женою и я.

Наша заочная знакомая — зовут ее Ольгой Николаевной — явилась минута в минуту. Это немолодая, интересная дама, еще совсем недавно, я думаю, блистательной красоты. Очень интеллигентная, оживленная встречей... В 30-х годах она вышла замуж за немца и уехала с ним из России.

Она села в нашу машину и, объясняя дорогу, торопливо рассказывала о зданиях, об улицах, по которым мы проезжали, пока мы не повернули на узенькую гористую улочку Штеллинвег и не остановились возле калитки, ведущей в изящный коттедж.

Здесь сестры Хауф получили квартиру после войны. Живут они... мало сказать, небогато. Фройляйн

Юлия Хауф вынуждена работать в бюро, ибо пенсия ее составляет 32 марки в месяц. Легко представить себе, как невелика эта сумма, если вспомнить, что советский человек, командированный в ФРГ, получает на питание не в месяц, а в сутки почти такую же сумму. Фройляйн Юлия Хауф — скульптор реалистической школы, но уже давно не выставляет своих работ: это направление немодно.

В квартирке уютно и чисто. И скромно. Сестры очень радушные, доброжелательные, тонкоинтеллигентные женщины. По-русски не говорят, но одну из них можно принять за русскую. Беседа вьется вокруг Лермонтова, их прабабки Александры Михайловны Верещагиной, советских литературных музеев, советских читателей, советской литературы, Советской страны, предыдущей моей поездки в ФРГ и реликвий, полученных от профессора Винклера и барона доктора Кёнига.

— Я мог бы познакомиться с вами еще пять лет назад, — говорю я, обращаясь к фройляйн Юлии Хауф. — Но мне никто не назвал тогда вашей фамилии.

Обе сестры улыбаются несколько смущенно и снисходительно.

— Наш прадед со стороны отца, — говорят они мне, — автор известных сказок, переведенных на многие языки. Это Вильгельм Хауф. Он был воспитателем другого нашего прадеда, Карла фон Хюгеля, и, по преданию, для него и сочинял эти сказки. Но, хотя перед фамилией Хауф и не стоит частичка фон Хауф, его имя, по-нашему, более знакомо.

Они полны воспоминаний о родителях, о бабушке Елизабет фон Кёниг, о родных. Мы рассматриваем семейные альбомы: все фотографии подписаны и датированы. На стенах — виды замков Вартхаузен, Хохберг. Портрет Александры Михайловны Верещагиной в старости. На основании записных книжек бабушки они составили перечень всей русской родни Верещагиной, среди которой я нашел несколько мне неизвестных имен. Но главное — те портреты, о которых говорилось в письме. Ольга Николаевна торопит.

— Вот они!

В золоченой овальной рамке молодой круглолицый немец с серьезным лицом — муж Верещагиной барон фон Хюгель, «Югельский барон», о котором, пародируя балладу Шиллера «Смальгольмский барон» в переводе Жуковского, Лермонтов писал:

До рассвета поднявшись, перо очинил
Знаменитый Югельский барон.
И кусал он, и рвал, и писал, и строчил
Письмецо к своей Сашеньке он...

В такой же золоченой овальной рамке под выпуклым стеклом старинный портрет — акварель с белилами на слоновой кости — в великолепной сохранности — Александра Михайловна Верещагина-Хюгель: лицо миловидное, умное, выразительное. Если вы посмотрите на третью страницу обложки этого номера «Юности», то увидите, какой была эта чудесная женщина, верный друг Лермонтова, раньше других разгадавшая в нем великий талант, его заботливая советница, тонкая ценительница его поэзии, знаток его нежной и трудной души. Это она — Верещагина — сумела впервые, пятнадцать лет спустя после гибели Лермонтова, напечатать по-русски «Демона» за границей: на родине не разрешала цензура...

Оба портрета сделаны, очевидно, сразу же после второго венчания в русской православной церкви в Париже — венчание по лютеранским законам происходило в Берлине. Значит, это 1837 год. Портретам по сто тридцать лет!

— Мы привыкли видеть их с детства, когда впервые стали подниматься в наших кроватках, — говорит фройляйн Юлия Хауф.

— Так мало осталось от прошлого, — продолжает фройляйн Регина. — Эти вещи нам бесконечно дороги.

«Они дороги, конечно, и в материальном своем выражении, — думаю я про себя. — Несколько сот долларов, наверное. Надо попросить разрешения сделать цветные фото. А о покупке можно будет повести переговоры потом, через посольство, когда я вернусь в Москву, и, показав фотографии в Министерстве культуры, поговорю обо всем».

— О, фотографии можно сделать цветные и очень хорошие! — заверяет меня фройляйн Юлия. — У нас есть знакомый фотограф. Он сделает очень точные копии. Только...

— Фотография потребует денег, — подсказывает наша посредница. — Это довольно дорого! Сколько? — обращается она к сестрам.

— О, наверное, семьдесят марок. Огромная сумма! Но...

Я выкладываю нужную сумму.

— Фотограф вернет все, до последнего пфеннига, сверх тарифа, — заверяет нас фройляйн Хауф. — Но, может быть, он должен выписать счет?..

— Да, счет нужен.

— Как неудачно. В воскресенье его ателье закрыто. Счет может быть выписан только завтра. Вам придется заехать снова!

— Вы не хотели бы купить эти портреты? Разве нет? — спрашивает Ольга Николаевна, наша посредница. — Я могу поговорить с ними.

— Не надо, — отвечаю я ей. — Я обойдусь пока фотографиями, а позже решим.

— Я могу намекнуть! Это же будет лучше, чем фотографии.

— Надо подумать, — уклончиво отвечаю я ей.

На следующий день мы снова встречаемся в прежнем составе в уютной комнатке гостеприимных сестер. Ольга Николаевна тоже здесь — на диванчике, на своем месте.

Фотографии готовы. Выполнены отлично. И вставлены в такие же точно рамки. Я готовлюсь принять... Фройляйн Юлия откладывает их.

— Нет, — говорит она. — Мы раздумали.

И совсем на другую тему:

— Вчера был незабываемый вечер!

— Мы ведь так мало видим людей, — добавляет фройляйн Регина.

— Четыре часа увлекательнейшей беседы. Столько интересного рассказала нам фрау Сомова. Она пояснила нам многое, о чем мы не знали. И господин Грищенко с его милой женой так были с нами любезны. И ваши рассказы, господин профессор, о Лермонтове, о нашей прабабке, о Москве того времени. И о современной столице.

— О! Мы находимся под большим впечатлением! — вторит сестра.

— Ольга Николаевна намекнула нам, что вы можете приобрести портреты, которые вам так понравились. Нас это очень смутило... Как назначить цену за то, что так дорого сердцу и памяти? Нет, есть вещи, за которые нельзя получать деньги. Это совет. И то, что особенно дорого душе. Но мысль о том, что мы назначим цену, а она покажется вам слишком высокой и вы вынуждены будете назвать более скромную сумму и это смутит вас, опасение, что мы поставим вас в неловкое положение в благодарность за этот прекрасный вечер, окончательно убедили нас, что мы не должны продавать эти вещи! Мы дарим их вам! Передаем для Лермонтовского музея, который должен открыться в Москве, в доме, где

Лермонтов так часто беседовал с нашей прабабкой. Вы говорили вчера, что в музее эти портреты будут видеть тысячи глаз, а нас... только две пожилых женщины. После нас это никому не будет ни интересно, ни дорого. Вы столько знаете про Верещагину, сколько даже мы не знаем о ней. В вашей стране столько сделано для того, чтобы она заняла свое место в биографии Лермонтова, что ей, по существу, обеспечена ныне бессмертная жизнь. Пусть она вернется в Россию, откуда уехала сто тридцать лет назад. И пусть с ней отправится тот, ради кого она покинула Москву и друзей, потому что слишком любила. Конечно, нам грустно будет без этих портретов. Мы к ним так привыкли. Но мы оставим себе фотографии, а оригиналы вы увезете с собой. Не предлагайте нам денег, не нужно... Когда вы будете в Москве отдавать эти портреты в музей, скажите, что две немецкие пожилые женщины просят принять их в знак того, чтобы не было споров между нашими народами. И не было разногласий между нашими государствами. Возьмите!

— Как я завидую ей, — сказала Ольга Николаевна, улыбаясь, но взволнованная до глубины души.

— Завидуете? Кому?

— Верещагиной!

С благодарностью взял я эти золотые портреты и положил в свой портфель, впервые возмев к нему глубокое уважение.

— Счастливого пути этим картинкам, — с улыбкой говорили нам сестры Хауф, прощаясь.

В Бонне я показал подарок послу Семену Константиновичу Царапкину.

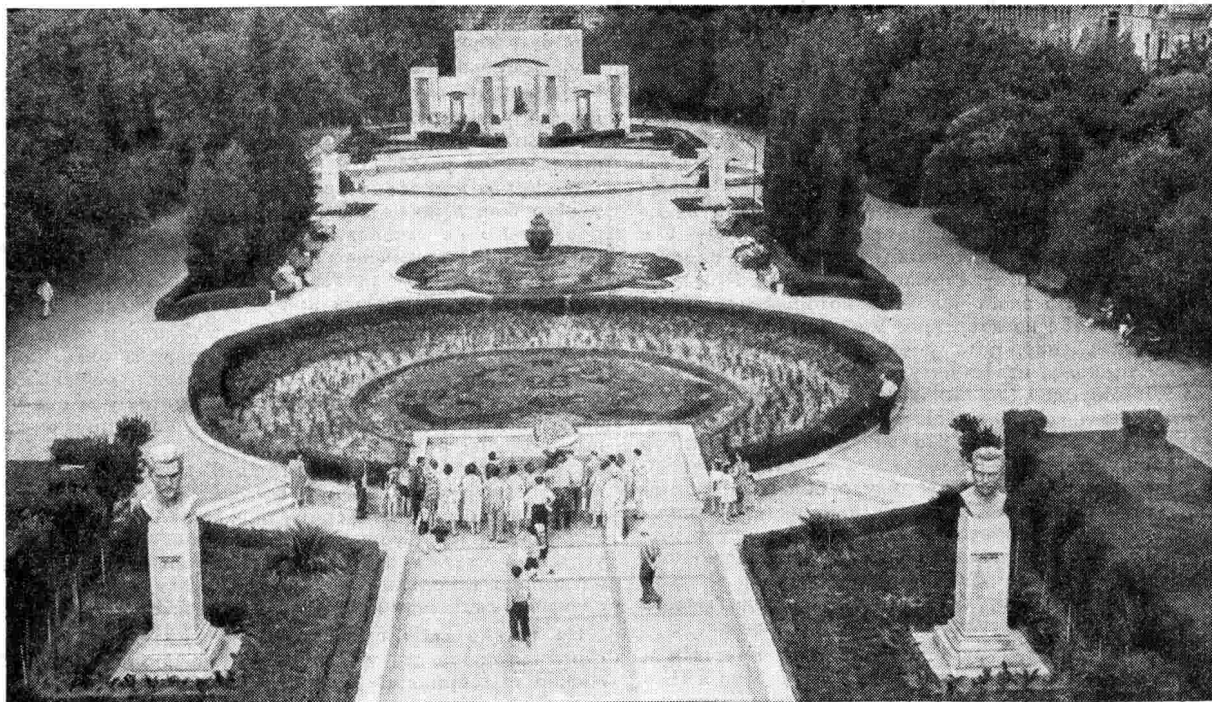
— Попросите Константина Александровича Федина как главу Союза писателей, — посоветовал он мне, — и попросите Екатерину Алексеевну Фурцеву обратиться с письмами к сестрам Хауф. Вы перешлете их нам, а мы отправим в Штутгарт кого-нибудь из наших сотрудников, который им эти письма вручит в присутствии официальных лиц или даже, может быть, прессы. Надо оказать уважение: хорошие женщины!

По приезде в Москву, прежде чем отнести портреты в Литературный музей с условием о передаче их со временем в музей Лермонтова, я записался на прием к министру культуры СССР.

— Разумеется, мы отправим письмо, — сказала Екатерина Алексеевна Фурцева, выслушав эту историю и очень довольная. — Но этого мало. Раз уж они отказались от денег, надо послать им подарков — побольше, поинтереснее!.. Чтобы выразить им признательность за щедрое приношение, за добрые чувства, которые они выразили по отношению к нашей стране. И Федина попросите подписать письмо с благодарностью. И не откладывать эту посылку надолго, — говорила она, обращаясь к одному из своих помощников. — Надо послать сейчас же, с группой Большого театра, которая едет на днях!

...Пакет Министерства культуры и оба письма получены в Бонне, отправлены в Штутгарт и вручены. Об этом пишет мне славный и умный, образованный и блестяще воспитанный Грищенко Анатолий Иванович, вспоминая наше совместное путешествие в Штутгарт и знакомство с сестрами Хауф.

Обстановка в ФРГ сейчас непростая: на улицах некоторых городов мы встречали бойких субъектов из неонацистской партии, которая рвется к распорядительным креслам в ландтагах. Они совали нам в руки свои предвыборные листовки. Но, как видим, можно встретить в Федеративной республике и других — благородных и прогрессивных людей. Будем думать, что это не одни сестры Хауф!



Анастас Микоян

О днях Бакинской коммуны

(Из воспоминаний)

IV

Прежде чем отчалить от пристани, мы более двух часов пробыли на пароходе. Вскоре, узнав, что освобожденные из тюрьмы находятся на пароходе, к нам пришли Сурен Шаумян и другие члены отряда, который был снаряжен для насильственного освобождения комиссаров из тюрьмы (если бы это не удалось сделать другим путем), но был задержан.

В своей книге «Бакинская коммуна» Сурен Шаумян так описывал связанные с этим события:

«Вечером четырнадцатого сентября тов. Микоян отправился в помещение Диктатуры, надеясь в последний раз вырвать приказание об эвакуации арестованных. Одновременно группа товарищей в шесть-семь человек, вооружившись револьверами и ручными гранатами, пошла к тюрьме, дабы в случае неудачи тов. Микояна попытаться силой вывести из тюрьмы арестованных товарищей. Возлагать большие надежды на это предприятие, конечно, не приходилось. Слишком ничтожна была сила в три-четыре револьвера и две-три ручных гранаты. Но товарищи считали, что они не имеют никакого права пренебрегать даже этой возможностью, так как в противном случае, без сомнения, все арестованные были бы растерзаны. Группа поджидала прихода тов. Микояна около тюрьмы. Неожиданно она была задержана матросами, заподозрившими в них турецких шпионов. Пока выяснилась личность этих товарищей (конечно, назвавшихся другими фамилиями), тов. Микоян пришел к тюрьме...»

Окончание. Начало см. в журнале «Юность» №№ 11 и 12 за 1967 год и № 1 за 1968 год.

Баку. Площадь имени 26-ти бакинских комиссаров.
Фото В. Савостьянова.

АНАСТАС МИКОЯН. О ДНЯХ БАКИНСКОЙ КОММУНЫ.

81

Вместе с нами на пароходе был и Лев Шаумян, который до этого, все последние дни после освобождения из тюрьмы (под поручительство комитета левых эсеров), жил на квартире Татевоса Амирова. Джапаридзе послал его на квартиру старого большевика Серго Мартияна, где в ту пору находились жена Джапаридзе и жены других наших товарищей. Вскоре Лева привел их всех к нам на пароход.

В присутствии всех нас, сидевших тогда в кают-компании, жена Джапаридзе обратилась к мужу с настоятельной просьбой, чтобы он сошел с парохода и оставался в Баку, скрываясь от турок. При этом она сказала, что знает человека, который может его спрятать у себя на квартире. Это вызвало у многих из нас удивление, потому что надежно спрятаться такому видному, известному в Баку человеку, каким был Джапаридзе, практически было невозможно. К тому же никакой предварительной подготовки к этому не проводилось. Что за человек берется за это дело, насколько надежна его квартира, не было известно. Товарищи говорили о большой опасности такого шага для Джапаридзе. В результате обсуждения этого вопроса ни у кого не возникло желания сойти с парохода на берег и пытаться спрятаться в Баку. Сам Джапаридзе отклонил просьбу жены, сказав, что он остается на пароходе вместе с товарищами.

Когда наконец «Туркмен» отчалил от пристани и стал выходить из бакинской бухты, я подошел к Степану Шаумяну и сказал, что капитаны всех пароходов имеют предписание идти в Петровск, куда эвакуировалось правительство Центрокаспия и где орудовал Бичерахов. Чтобы уйти от опасности, я предложил Шаумяну уговорить капитана «Туркмена», пользуясь покровом ночи, постепенно отделиться от каравана судов и взять курс прямо на Астрахань. Вряд ли при сложившейся обстановке военная флотилия окажется в состоянии преследовать нас.

Шаумян поставил вопрос на обсуждение. Все отнеслись к этому предложению одобрительно. А затем Шаумян повел разговор с капитаном один на один. Капитан оказался сговорчивым человеком: сам он латыш, семья его живет в Риге, и он рвется в Астрахань, надеясь оттуда пробраться к семье. Вот почему он и дал согласие Шаумяну направить «Туркмен» на Астрахань. Он только попросил, чтобы Шаумян обеспечил ему самому возможность эвакуации из Астрахани в Латвию. Шаумян, как представитель центральной власти, дал на это капитану полную гарантию.

Нас охватило радостное настроение, все, конечно, мечтали поскорее попасть в Астрахань, в Советскую Россию. Эта мечта казалась тогда такой близкой и возможной...

Погода была хорошая, море спокойное. Мы вышли на палубу и увидели, как постепенно наш пароход удаляется от огней других пароходов каравана. Вскоре мы оказались в открытом море. Никаких других огней пароходов не было видно.

Однако наше ликование продолжалось недолго.

Неожиданно в кают-компании появился капитан судна и, обратившись к Шаумяну, стал показывать ему на карте, где находится пароход «Туркмен», а где караван, идущий в Петровск. Было видно, что мы оторвались от каравана и находимся на прямом курсе в Астрахань. Но, оказывается, судовой комитет нашего парохода, состоявший из эсеров, узнав, что мы изменили курс и идем на Астрахань, собрался и принял решение на Астрахань не идти, а повернуть на Красноводск. «Матросы говорят,— сказал капитан,— что в Астрахани голод, а, по их данным,

в Красноводске продовольствия хватает, и поэтому они отказались идти в Астрахань». Это было для нас полной неожиданностью.

Тогда Шаумян предложил Полухину, представителю центральной морской власти, пойти с капитаном и попытаться убедить судовой комитет отменить принятое им решение и продолжать путь на Астрахань. Через некоторое время Полухин вернулся. Вид у него был мрачный. Он сказал, что из его уговоров ничего не вышло; матросы упрямо настаивают на своем и не желают никому подчиняться. Оказалось, что главным заправилкой у них был механик парохода — законренный контрреволюционер.

Выяснилось, что и беженцы, находившиеся на пароходе, и многие эвакуирующиеся солдаты тоже не хотят идти в Астрахань и поддерживают решение судового комитета. Таким образом, против нас оказалась не только команда парохода, но вооруженные солдаты и беженцы, фактически занимавшие весь пароход (кроме верхней палубы). Только позже мы узнали, какую бешеную агитационную кампанию против нас развернули среди беженцев и солдат находившиеся на «Туркмене» дашнакские командиры, успевшие спеться с двумя английскими офицерами из отряда генерала Дейстервиля, по-видимому, не случайно оказавшимися на нашем пароходе.

Не трудно себе представить, какое тяжелое настроение создалось у всех нас. Думали, гадали: что можно предпринять? До этого я не принимал участия в обсуждении создавшегося положения, так как полагал, что более опытные товарищи и без меня найдут правильные решения. Но когда они стали обсуждать, каким путем избежать захода в Красноводск, я не сдержался и сказал, что, учитывая опасность, которая нам грозит, если мы попадем в оккупированный англичанами Красноводск, надо силой заставить команду подчиниться нам и продолжать курс на Астрахань. «Но где взять такую силу?» — задали мне вопрос. Я ответил, что у начальника отряда Амирова найдется на пароходе десятка два верных ему вооруженных людей, которых он может незаметно, по одному, вызвать на верхнюю палубу и с их помощью разоружить всех тех военных, которые не хотят идти в Астрахань, а их оружие передать нам. Вооруженные, мы сможем добиться от команды подчинения, пригрозив, на всякий случай, выбросить в море тех, кто будет наиболее яростно сопротивляться.

Алеша Джапаридзе, наиболее экспансивный среди нас, закричал на меня: «Ты зверь, что ли? Как это выбросить в море?...» Надо сказать, что я любил, даже больше, обожал Алешу, но его слова показались мне тогда очень обидными. Я ничего ему не ответил, только замкнулся в себе. Конечно, я понимал, что разоружение солдат — дело не простое; могло произойти столкновение, и полной гарантии в успехе у нас не было. Но все же были определенные шансы одержать верх и попытаться силой оружия сломить сопротивление отдельных враждебно настроенных против нас матросов. Так я думал тогда «про себя». Остальные товарищи тоже молчали. Наступила гнетущая тишина. Тогда я подумал: «Зачем кипячусь?... Ведь они опытнее меня, знают, что делают!» И, чувствуя себя каким-то разбитым, подавленным и усталым, молча пролез под стол в кают-компании, лег там и скоро заснул.

Спал очень долго. Проснулся я поздно, когда был уже день. В кают-компании никого не было. Вышел на палубу. Море было совершенно спокойное. Ясное небо, солнце приятно грело, но не было жарко. Некоторые наши товарищи сидели на палубе группами

по два-три человека, разговаривали, другие просто прогуливались. Все было очень спокойны.

У меня сохранилось в памяти, как на возвышавшейся над палубой низкой надстройке лежал на спине Петров. Заложив руки за голову, он задумчиво смотрел в безоблачное синее небо. Это продолжалось довольно долго. Я думал о нем, храбром революционном командире. Петров был из левых эсеров, но он не пошел за вожаками своей партии по пути предательства Советской власти и добросовестно служил в Красной Армии. В Баку я лично с ним не сталкивался. Близко к нему я присмотрелся на Петровской площади, в день, когда его артиллерия разгромила турецкие позиции и предотвратила вторжение турок в город. Петров был спокойным, хладнокровным боевым командиром, которого уважали подчиненные. Мне рассказывали, что иной раз в его поведении проявлялись элементы стихийности, но в целом он вел себя дисциплинированно и преданно по отношению к Бакинскому Совету Народных Комиссаров и чрезвычайному комиссару Кавказа Шаумяну.

Тогда, глядя на Петрова, я думал: «Почему вчера, при обсуждении вопроса, как пробраться в Астрахань, он не внес ни одного предложения, а сидел молча?» Видя его задумчиво лежащим на спине, я хотел узнать, о чем он думал, какие у него были мысли. Мечтал ли он о своей далекой родине или вспоминал славные эпизоды борьбы, участником которых он был не один раз? А может быть, он вспоминал павших в бою товарищей или строил догадки, чем закончится вся эта эпопея с бакинскими товарищами?..

Никак не мог я понять и того, почему такие опытные военные руководители, как Корганов и другие, тоже не вмешались в обсуждение этого вопроса и не поддержали моего предложения о насильственном угоне парохода в Астрахань.

Глядя на спокойные лица окружавших меня товарищей, я думал: только ли личной храбростью и мужеством объясняется такой их безмятежный вид и внешнее спокойствие? Или, может быть, у них есть еще надежда, что английское командование, представляющее, так сказать, цивилизованное европейское государство, будет руководствоваться в своих поступках установленными нормами международного права?

На душе у меня оставалась тревога за судьбу товарищей, хотя их спокойное и мужественное поведение настраивало и меня на бодрый лад. Да и длительный сон успокоил нервы. К тому же я был первый раз в жизни на пароходе в открытом море. Я наслаждался чудесным морским пейзажем, любовался синим небом и лазурной гладью Каспийского моря, освещенного ярким солнцем. Невольно вспомнились красоты природы родного горного села, где я летом, около года назад, отдыхал после болезни.

Со своей стороны, в беседах с товарищами я считал неуместным возвращаться к обсуждавшемуся вчера вопросу, хотя все это продолжало меня волновать. Но было уже невозможно изменить ход событий, поэтому мне не хотелось расстраивать товарищей. Удивительное спокойствие в их поведении являлось прямым выражением мужества и беспримерной храбрости этих замечательных революционеров. Кроме того, мне тогда казалось, что в душе каждого из них еще тлеет какая-то надежда, сознательная или бессознательная, что все уж не так плохо кончится. Они, видимо, еще не представляли себе той грозной опасности, что уже нависала над их жизнями.

К вечеру 16 сентября, еще засветло, мы подошли к рейду Красноводска, где были остановлены портовым баркасом «Бугас» с какими-то вооруженными военными. Они приказали нашему капитану стать на якорь на рейде якобы для проведения карантина во избежание «заноса» заразных болезней. С парохода разрешили сойти только двум английским офицерам (обстоятельства появления которых на пароходе были неизвестны) и армянину с георгиевским крестом, который заявил, что «имеет сообщить местным властям важные сведения».

Все это было для нас первым тревожным сигналом. В нормальных условиях пароход должен был спокойно войти в порт и стать на разгрузку. Здесь же готовилось что-то неладное, но что именно, мы не могли догадаться. Как и в предыдущую ночь, наши товарищи спали — кто сидя за столом в кают-компании, кто устроился на полу по углам.

Утром, когда мы встали, был яркий солнечный день. К нашему пароходу вновь подошел баркас «Бугас». По его приказу «Туркмен» медленно двинулся к пристани Урфа, находящейся в нескольких километрах от Красноводска. На пристани мы увидели необычайную картину. По обеим сторонам причала стояли шеренги солдат в туркменских папахах с винтовками, а перед ними — 3—4 офицера, отряд милиции и местная эсеровская боевая дружина. В стороне стояла английская артиллерийская батарея, а по пристани расхаживало несколько английских офицеров, среди которых были и те два офицера, которые накануне сошли с «Туркмена»; однако открыто они ни во что не вмешивались. Кроме того, на пристани были члены красноводского правительства во главе с Кондаковым и армянин с георгиевским крестом, о котором я говорил выше. Стало очевидным, что нам предстоит арест.

Мы собрались в кают-компании. Шаумян сказал, что, видимо, нас будут арестовывать, поэтому надо сейчас же спуститься вниз, смешаться с пассажирами-беженцами, стараться быть неузнанными, попытаться проскочить через контрольные пункты, пробраться в город и скрыться от властей с тем, чтобы потом добираться до Астрахани или Ташкента, где была Советская власть. Никто не внес других предложений, да их и не могло быть в создавшейся обстановке.

Тогда я сообщил всем (до этого я говорил об этом только Шаумяну), что у меня находятся деньги из партийной кассы. Ввиду создавшегося положения эти деньги следует раздать нашим товарищам. Шаумян предложил, чтобы деньги были розданы всем поровну. Я это выполнил. Помнится, каждому досталось что-то по 500 рублей тогдашних денег, что равнялось примерно месячному жалованью среднего служащего.

Вещей у наших товарищей не было никаких, кроме пальто и некоторых мелочей, да и то не у всех. Исключение составлял Сурен Осемян, который последние месяцы был редактором газеты «Известия» Совета рабочих депутатов Баку. С ним был довольно тяжелый ящик. Когда, еще в Баку, мы шли из тюрьмы под турецкими пулями и вынуждены были перебегать опасные места, он нес этот ящик на плечах, хотя это очень затрудняло его движения. Учитывая обстановку, я сказал Сурену: «Брось, пожалуйста, свой ящик! Мы не знаем, куда идем, что с нами случится, где мы спрячемся, а ты мучаешься и тащишь этот груз!» Помню, он тогда даже немножко обиделся на меня за такое «пренебрежительное»

отношение к его грузу. Я почувствовал это по интонациям его голоса. В ящике были его научные труды. Он сказал, что нести ящик не так уж трудно и он его не бросит, так как в нем очень ценный для него груз. И он действительно принес его на пароход.

Нижняя палуба была забита людьми; негде было, как говорится, упасть иголке. Мы смешались с публикой. Было очень тесно. Близко около себя никого из наших товарищей я не увидел.

Чем ближе мы подходили к пристани, тем яснее для нас становилась обстановка.

Когда «Туркмен» подошел к пристани и был поставлен трап, стали выпускать пассажиров. Внешне казалось, что идет нормальная их проверка. Люди медленно проходили один за другим. Подошла моя очередь. Меня обыскали быстро, потому что у меня ничего не было. Одет я был в суконную гимнастерку военного образца, подтянутую ремнем, галифе и сапоги, на голове — форменная фуражка без кокарды. В руках тоже ничего не было. Только за поясом у меня был заткнут револьвер «кольт». Я был тогда очень худым и надеялся, что при обыске револьвера у меня не обнаружат. Так и случилось. При первой проверке я поднял руки вверх, какой-то военный быстро ощупал меня и, ничего не обнаружив, отпустил.

Пройдя 20—30 шагов по пристани, я увидел, что есть второй пункт проверки, и встал в очередь. Меня вновь бегло ощупали и, ничего не найдя, пропустили дальше. Документов вообще у нас не спрашивали: пассажирами парохода были беженцы, спасавшиеся от турок, и, естественно, у многих из них документов не было. Поэтому о документах при проверке даже не заговаривали. Пройдя еще шагов десять, я увидел, что есть и третий пункт проверки. Я уже не волновался, думая, что если два раза меня удачно «проверили», то и на третий раз сойдет.

Не замечая ничего подозрительного, я все же осторожно, чтобы не привлекать внимания, осматривался вокруг. Вдруг, когда я подошел к третьему пункту проверки, кто-то схватил меня за плечо. Обернувшись, я увидел чиновника порта в белоснежном форменном кителе и морской фуражке. Он сделал мне знак головой и сказал: «Идите за мной». Я пошел, решив, что бессмысленно спрашивать его, куда и зачем мне идти. Я понял, что кто-то меня выдал и сейчас меня арестуют. Мы шли молча. Он подвел меня к краю пристани, где стоял небольшой портовый пароходик «Вятка».

Неожиданно на палубе «Вятки» я увидел сидящих за столом и тихо беседовавших между собой Шаумяна и Джапаридзе. За другим столиком сидел Фиолетов с женой. Там была также жена Джапаридзе. Я увидел, как Азизбеков спустился в нижнее помещение парохода с чайником в руках. Вскоре он поднялся на палубу и, держа чайник и стаканы, довольно бодро сказал: «Друзья, я приготовил вам хороший чай. Давайте пить». По всему его поведению было видно, что он хотел подбодрить товарищей, создать у них хорошее настроение.

Заметив меня, все обернулись, но посмотрели на меня без удивления: оказалось, что на этом пароходе уже находится много наших товарищей; постепенно приводили остальных. Стали рассказывать, кто и при каких обстоятельствах был задержан. Оказалось, что среди беженцев были провокаторы (в первую очередь человек с георгиевским крестом), которые знали в лицо многих наших товарищей и указывали на них, а полиция задерживала и препровождала их на «Вятку».

Скоро число арестованных достигло 35 человек. Все сидели спокойно, разговаривали между собой, не зная, что их ждет. Было ясно, что отпираться бессмысленно.

Когда причал опустел, всех обысканных и разоруженных пассажиров загнали опять на «Туркмен». К нам же пришло начальство с вооруженными людьми, и начался обыск. Обыскивали каждого в отдельности, очень тщательно. Заставляли снимать верхнюю одежду, ощупывали с головы до ног. По всему было видно, что искали деньги. Строго обыскивали те немногие скудные вещи, которые были у некоторых наших товарищей. Искали, не зашиты ли документы и ценности в одежде.

Особенно тщательно обыскивали Шаумяна, Джапаридзе, Азизбекова, Петрова, Корганова, Везирова и Фиолетова. У товарищей оказались только те деньги, которые я роздал им. Лишь у Петрова обнаружили еще какую-то небольшую сумму денег.

Подходила и моя очередь быть обысканным. Я все думал, что мне делать с кольт, спрятанным под гимнастеркой за брючным ремнем. Ведь он мог пригодиться и в тюрьме, я не хотел с ним расставаться. Решил где-нибудь его спрятать, чтобы потом забрать обратно. Попросился вниз в туалет: хотел поискать уголок, где можно было бы припрятать кольт. Оказалось, там стоит часовая. Пришлось «ни с чем» вернуться наверх. Наблюдая за тем, как чиновники производили обыск, я заметил, что когда они подходили к человеку, которого собирались обыскивать, они спрашивали: «Где ваши вещи?» У кого что было — показывали. Я ждал, что так поступят и со мной, и решил напугать этих мерзавцев.

Подошли ко мне и спросили: «Ваши вещи?» Я сунул руку за пояс, достал кольт и, направив его на обыскивавших, сказал: «Вот мои вещи, других нет». Все это я проделал так, что создалось впечатление, будто я собираюсь стрелять. Обыскивавшие в страхе отпрянули с криком: «Что вы делаете?» Я спокойно ответил: «Отдаю вам мою единственную вещь. Других у меня нет».

Никаких грубостей при обыске не было. Допросов — тоже. Обыскивавшие были только явно разочарованы, что у нас не оказалось никаких ценностей, а найти их они мечтали. Женщин, которые были с нами, тоже подвергли обыску, но производили его не на палубе, а внизу, в каютах, и делали обыск женщины из полиции.

Наконец наш пароходик отошел в сторону от пристани и бросил якорь. Оказалось, что красноводские власти, опасаясь реакции населения на отправку арестованных комиссаров в тюрьму, распорядились задержать нас до темноты на «Вятке» и только ночью водворить в тюрьму.

После окончания обыска нам было объявлено, что мы арестованы и находимся в распоряжении Красноводского Стачкома (так называлось контрреволюционное правительство города, руководимое эсерами). Шаумян заявил протест против насилия, сказав, что за нами нет никакой вины, а, кроме того, местное правительство не имеет к нам никакого отношения и тем более не имеет права нас арестовывать, поскольку мы еще даже не вступили на территорию Закаспия.

Старший из чиновников, нас арестовавших, Кондаков, сказал, что он не имеет намерения вступать с нами в дискуссию по этому вопросу, так как выполняет распоряжение своего правительства.

Когда Кондаков куда-то удалился, мы стали обсуждать, какие меры можно принять в создавшемся по-

ложении. Пришли к выводу, что мы оказались в еще более опасном положении, попав в лапы закаспийских правых эсеров и английского командования, чем если бы мы оставались в распоряжении «Диктатуры Центрокаспия». Нам казалось тогда, что бакинские меньшевики и эсеры, входившие в Центрокаспий, не находясь в прямой зависимости от английского военного командования и боясь ответственности перед бакинским рабочим классом, могли испугаться и не пойти на расправу с нами. Правда, в Петровске находился Бичерахов с отрядом, но нам казалось, что отношение Советской власти к нему не давало ему повода для зверской расправы над нами.

Я высказал мнение, что мне следует использовать положение члена меньшевистско-эсеровского Бакинского совета и имеющееся у меня официальное разрешение на эвакуацию арестованных комиссаров и послать телеграмму «Диктатуре Центрокаспия» в Петровск, с тем чтобы они потребовали отправить нас из Красноводска в Петровск.

Шаумян сказал, что это надо сделать, но этого мало. Необходимо всем официальным представителям Советской власти, арестованным Центрокаспием, так же прямо обратиться к «Диктатуре Центрокаспия» по радио. С этим все согласились. Шаумян вызвал представителя местной власти и потребовал, чтобы он принял радиотелеграмму для передачи в Петровск. Согласие было получено. Шаумян вместе с Джапаридзе стали составлять текст радиogramмы, который сохранился в архивах.

«Радиogramма Диктатуре Центрокаспия.

Четырнадцатого ночью постановлением Диктатуры и по распоряжению товарища председателя Чрезвычайной комиссии Далина мы были освобождены из Баилловской тюрьмы. Охрана, пришедшая за нами, заявила, что нам разрешено сесть на пароход «Севан», на котором находилась делегация Астраханского совета и флотилии, приехавшая по вопросу об освобождении нас. Так как «Севан» не оказался в военном порту, где он должен был принять нас, охрана доставила нас в город в Чрезвычайную комиссию. Здесь уже никого не оказалось, и охрана доставила нас на ближайшую пристань Камво на пароход «Туркмен». Здесь охрана из 10 человек, ввиду эвакуации Чрезвычайной комиссии и отсутствия других пароходов, просила начальника отряда принять и их на «Туркмен», что было им разрешено. Пароход «Туркмен» в числе многих пароходов по указанию военных судов после временной стоянки у Наргена и Жилого 15 числа направился в Петровск. Утром 16 числа мы узнали, что пароход направляется в Красноводск, так как поднявшийся норд затруднял движение на север, воды и топлива на пароходе было мало, в то время как на пароходе оказалось до 800 человек, преимущественно женщин и детей, севших совсем без провизии. Как оказалось, администрация парохода и начальник отряда, ввиду этих условий, решили ехать напротив ветра и направиться в Красноводск, высадить скорее беженцев и, получив топливо, воду в Красноводске, возвратиться обратно в Петровск.

Утром матросы нам заявляют, что Красноводск беженцев не примет и, с другой стороны, погода улучшилась. Возник вопрос о том, что беженцев было бы лучше всего доставить в Астрахань, но опасались, что в Астрахани большевики не примут беженцев, а пароход задержат и т. д. Нам, конечно, было бы также лучше всего поехать в Астрахань во избежание первых возможных неприятностей в Красноводске, где идет борьба против большевиков, и мы обещали настоять в Астрахани на принятии беженцев и возвращении «Туркмена» в Петровск. После этого пароход взял курс на Астрахань. Но ввиду того, что судовой комитет заявил протест и нежелание ехать в Астрахань, курс вновь был взят на Красноводск, куда мы прибыли 16-го вечером. Здесь благодаря провокационным заявлениям некоторых пассажиров у местной власти возникли сомнения о том, что мы во время паники бежали из тюрьмы и уехали из Баку без ведома Диктатуры. Это вызвало наш арест, вместе с нами арестовали еще десяток других лиц, в их числе и самого начальника отряда Амирова.

Просим Диктатуру Центрокаспия подтвердить, что мы были освобождены и выехали по вашему распоряжению. Если не найдете возможным распорядиться, чтобы нас отправили в Астрахань, пусть пошлют нас в Петровск. Вы в курсе нашего дела, там же можете выяснить все обстоятельства нашей поездки в Красноводск через пассажиров и команду парохода «Туркмен», которые отправляются в Петровск. Просим вашего срочного распоряжения.

По уполномочию всех: ДЖАПАРИДЗЕ, ФИОЛЕТОВ, ШАУМЯН, КОРГАНОВ, ПЕТРОВ, Я. ЗЕВИН».

Отдельные несовпадения в некоторых местах этой радиogramмы с тем, что действительно было и описано мною, объясняются тактическими соображениями, из которых мы все тогда исходили, с учетом своего положения, и того, кому эта радиogramма была адресована. Я написал свою телеграмму отдельно в том же духе, с теми же требованиями, но короче.

Местные власти приняли наши телеграммы для передачи, но у нас не было уверенности, что они их передадут. Шло время, ответа на телеграммы не поступало. Мы стали думать, что нас обманули и что наши телеграммы никуда не посланы. Только через несколько лет телеграмма Шаумяна и других товарищей была обнаружена в архивах. Моя же так и осталась найденной.

Вечером наш пароходик двинулся к городской пристани. Нам сообщили, что, поскольку в тюрьме на всех арестованных мест не хватит, некоторые из нас будут помещены в городском арестном доме. Начальник красноводской полиции Алания зачитал список арестованных, которые подлежали помещению в этот дом. Все остальные были размещены в тюрьме. В списке направляемых в арестный дом значились Шаумян, еще 11 мужчин и пять арестованных с ними женщин. Меня в этом списке не было.

Я понял, что меня отправляют в тюрьму. Я подошел к Шаумяну и сказал, что хочу находиться вместе с ним, так как не исключена возможность организации побега, а в таком деле я мог бы быть полезным. Шаумян ответил: «Хорошо, попробуй, что выйдет!» Обратившись к Алания, я сказал, что очень прошу поместить меня не в тюрьму, а в арестный дом. Он внимательно посмотрел на меня и, не спросив ни о чем, сказал: «Хорошо». Я очень этому обрадовался.



Красноводск — город маленький. Арестный дом оказался недалеко от пристани, и нас пешком под конвоем быстро туда доставили. Мужчин разместили в одной камере, а женщин — в другой.

Дом этот был одноэтажный, в нем, насколько я помню, было 6 камер — по три с каждой стороны коридора. Дворик маленький, в нем находился небольшой домик, где жил начальник арестного дома. Камера, в которую нас поместили, была относительно небольшой, со сплошными нарами вдоль одной стены. Асфальтовый пол. Не было ни матрацев, ни подушек, ни одеял и никакой мебели, кроме обычной тюремной параша в углу. Старшие товарищи, устроившись на нарах, легли спать, а кто помоложе — человек шесть — легли прямо на пол.

Прошло три томительных дня. В Красноводске стояла душная жара. В камере было крайне тесно. На прогулки нас не выпускали, кормили плохо. Однако все это нас не очень волновало. Чувствовалось, что каждый про себя думает прежде всего о неопределенности нашей судьбы. Внешне непринужденно и даже весело вели себя Джапаридзе, Азизбеков, Фиолетов, Амиров, которые расположились на нарах и стали шумно играть в преферанс. Карты нашлись у Амирова.

В подавленном настроении находился Арсен Амирян, старый коммунист, редактор газеты «Бакинский рабочий». С нами в камере сидел его родной брат Татевос Амиров. Через одну-две недели к нам в камеру привели еще двух их беспартийных братьев. Старший — Александр — был болен туберкулезом; он все время тяжело кашлял. С младшим братом — Арменак — я впервые встретился в камере. Из его рассказов я узнал, что он большой любитель игры на бильярде и все время проводил в бильярдных Баку. Жил он за счет материальной поддержки Татевоса. Тогда об игре на бильярде я не имел ни малейшего представления и удивлялся его азартному интересу к ней. К слову сказать, оба эти брата Амиряна никакой политической роли не играли.

Арсен Амирян ходил взад и вперед по камере, делая пять-шесть шагов по диагонали, с угрюмым лицом, весь какой-то сосредоточенный. У меня сложилось тогда впечатление, что Арсен был крайне пессимистически настроен и, возможно, один из всех был уверен в самом плохом конце, считая наше положение безнадежным. Он ни с кем не заговаривал, и никто не мешал его раздумьям. Никак не реагировал он и на разговоры других товарищей, оставаясь равнодушным даже к очень остроумным, почти анекдотическим рассказам «из своей жизни» прапорщика Авакяна. Я уже ранее упоминал о некоторых странностях Авакяна. Он и в камере оказался неразлучным со своим треножным складным стульчиком. В то время, когда одни сидели на нарах, другие — на полу, Авакян водрузил свой стульчик на нары и восседал на нем. У него сохранился и стакан с подстаканником. Меня удивило, как эти вещи у него не отняли при обыске. Оказалось, что он очень об этом просил, и ему уступили. Но он жалел, что еще при первом аресте, в Баку, у него отняли... клетку с канарейкой, которая раньше была неразлучна с ним. С большим сожалением и горечью вспоминал он о своей любимой канарейке, как об очень большой потере...

Авакян водрузил свой стульчик по соседству с Шаумяном, который обычно сидел на нарах, прислонившись спиной к стене. Авакян занимал его своими рассказами, которым, казалось, не было конца. Он был мастером слова, любил рассказывать и, видимо, сам получал от этого большое удовольствие. Мы слушали его с большим интересом. Особенно запомнился мне один эпизод из жизни Авакяна, который впоследствии я часто вспоминал и пересказывал своим товарищам. Авакян с юмором рассказывал, как много лет он был «вечным студентом» Московского университета. Будучи социал-демократом, он участвовал в студенческом движении, был активным и даже несколько буйным молодым человеком. Как-то накануне первой империалистической войны он присутствовал на Всероссийском пироговском съезде врачей. Ему удалось устроиться с группой студентов на галерке в зале заседаний съезда. В один из дней съезда, когда уже было заслушано несколько докладов и выступлений участников съезда, Авакян поднялся с места и своим громовым голосом властно крикнул: «Господа, прошу слова!» Весь зал слышал этот возглас, но президиум не обратил на него внимания. Авакян вновь, еще громче повторил: «Господа, я прошу слова!» Председатель, желая уйти от явно неприятного инцидента, намеревался уже предоставить слово очередному оратору. Однако Авакян в третий раз, еще громче и настойчивее потребовал слова, спустился в зал и поднялся на трибуну. Обращаясь к собранию, он сказал примерно следующее:

— Уважаемые господа! Здесь много говорилось

об охране здоровья народа, о том, в каких тяжелых условиях, нищете и отсталости живут простые люди в деревнях и многих городах, как ничтожно мало больниц, врачей, медикаментов, как много деревень и поселков, лишенных какой бы то ни было медицинской помощи. Уважаемые ораторы, выступавшие здесь, выдвинули много всяких предложений, направленных на то, как выбраться из этого нетерпимого положения, как поставить на современный уровень охрану здоровья нашего народа. Думаю, что все здесь сказанное и предложенное правильно. Но, чтобы быть честным перед своим народом и своей совестью, надо сказать, что все здесь предложенное — это только жалкие паллиативы. Для излечения тяжелых недугов нашего народа надо сделать главное. А это главное заключается в том, чтобы свергнуть самодержавие, этот источник всех бед нашей жизни. Долой самодержавие!

Авакяна слушали напряженно, с большим вниманием. Когда же он дошел до последних фраз, в зале началось что-то невообразимое. Одни кричали, другие размахивали руками и т. п. Поняв, чем все это может кончиться, Авакян быстро сошел с трибуны и, пользуясь суматохой, прошмыгнув за кулисы и черным ходом выбежал из здания. Так он спасся от неминуемого ареста. Все это он рассказывал нам с большим воодушевлением и присущим ему талантом опытного рассказчика.

Шаумян разговаривал мало. Он лишь отвечал на вопросы, но сам каких-либо серьезных проблем не затрагивал.

Большинство сидевших в камере были в тюрьме не впервые, обстановка для них была привычной. Вели они себя спокойно, с достоинством и, как мне казалось, с каким-то подсознательным чувством оптимизма.

В первый же день нашего пребывания в арестном доме, под вечер, дверь камеры открылась, и к нам вошел плотный мужчина в полувоенной форме, лет под пятьдесят и с ним еще два или три человека. Как потом мы узнали, это был глава красноводского контрреволюционного правительства Кун со своей «свитой».

Они стали выяснять, кто из нас Шаумян, Джапаридзе, Азизбеков... Каждого они осматривали, как бы изучая. Особых вопросов не задавали. Джапаридзе спросил о причинах нашего ареста, требуя объяснить, какие нам предъявляются обвинения. Они ответили, что этого не знают. О нашем аресте они-де донесли правительству Закаспийской области и ждут ответа, что с нами делать.

На второй день вечером пришел начальник красноводской полиции Алания с какими-то высшими чинами, которым он показал наших руководящих товарищей. Потом Алания сообщил, что наши товарищи, которые сидят в тюремном здании, предъявили за подписями Корганова и других письменное требование — обеспечить всех арестантов матрацами и подушками, нормальным питанием и всем тем, что арестованным положено по закону. (На другой день мы узнали от того же Алания, что на этом заявлении наших товарищей Кун наложил «глубокомысленную» резолюцию: «Тюрьма не место для комфорта!»)

Алания с каким-то пренебрежением, ехидством и издевкой сказал тогда нам: «Что касается подушек, то мы их вам дадим!» Он явно вкладывал зловещий смысл в эти свои слова. На вопрос Джапаридзе, есть ли от «Диктатуры Центрокаспия» ответ на нашу радиотелеграмму, Алания лаконично ответил: «Нет».

В первом часу ночи с 19 на 20 сентября нас разбудили. Пришел опять Алания с группой каких-то

высших чинов. Некоторые из них были явно навеселе. Как потом мы узнали от надзирателя, среди них были председатель эсеровского закаспийского правительства в Ашхабаде Фунтиков, Кун и еще несколько членов их правительства.

Наши ночные посетители, войдя в камеру, стали у полуоткрытой двери. Мы оставались на своих местах. Аляния объявил, что по решению закаспийского правительства часть арестованных должна быть сегодня переведена в Ашхабадскую центральную областную тюрьму, где их будут судить, а остальные будут освобождены. Он стал зачитывать список товарищей, подлежащих переводу в Ашхабадскую тюрьму. Все мы встали с мест. Шаумян, Джапаридзе и другие подошли к Аляния и слушали фамилии тех, кто переводится в Ашхабадскую тюрьму.

Когда список был зачитан и меня в нем не оказалось, я понял, что попал в группу, подлежащую освобождению. Подойдя к Шаумяну, я сказал, что хочу просить, чтобы меня включили в их группу: меня не покидала мысль об организации побега. Посмотрев на меня, Шаумян ответил: «Попробуй».

Обратившись к Аляния, я сказал, что хочу быть с товарищами, переводимыми в Ашхабад. Он ответил, что не имеет права вносить какие-либо изменения в этот список.

Тогда Шаумян, отведя меня в сторону, сказал: «Это ничего, что твою просьбу отклонили. Вас освободят — ты вместе с Суриком и Левого (сыновья Шаумяна) постарайся пробраться в Астрахань, оттуда в Москву, встретишься с Лениным, расскажешь ему обо всем, что здесь с нами произошло. От моего имени ты сделаешь предложение — арестовать нескольких видных правых эсеров и меньшевиков (если нет уже арестованных), объявить их заложниками и предложить закаспийскому правительству в обмен на нас».

Я ответил, что, конечно, все это сделаю. Тогда Шаумян подошел к Сурику и Лево, положил им руки на плечи и сказал: «Вам надо вместе с Анастасом добраться до Астрахани, а затем в Москву, к Ленину». Он поручил им передать привет матери, беречь ее, а также передать привет Мане и Сереже (другим его детям). «Передайте маме, — сказал он, — чтобы она не волновалась. С нами ничего страшного не случится. Ленин добьется, чтобы нас обменяли на арестованных эсеров и меньшевиков. Скоро мы будем вместе».

Мы стали тепло, по-братски прощаться. Надо сказать, что, несмотря ни на что, настроение у всех нас было довольно бодрое. Мы (правда, несколько тогда наивно) думали, что раз для одних обещано освобождение, а для других — суд, то наши дела не так уж плохи, потому что товарищи, идущие на суд, никаких преступлений не совершали. Мы еще не осознавали всей опасности назревавшей трагедии. В те минуты мы не сомневались, что нас освободят, и нам в голову даже не могла прийти мысль, что на следующий день наших товарищей уже не будет в живых. Только во взгляде Шаумяна, когда он со мной прощался, я почувствовал какую-то скрытую тревогу...



Чем руководствовались закаспийское правительство и представители английского командования, составляя список 26 из 35 арестованных товарищей, видно из письменного показания, данного в июне 1925 года Суреном Шаумяном, допрошенным в качестве свидетеля по уголовному делу Фунтикова.

«...В середине августа 1918 года мы были арестованы в Баку правительством англо-эсеров-меньшевиков. В числе арестованных были, кроме 25 погибших впоследствии товарищей, еще: Мудрый, Месхи, я — Сурен Шаумян, Самсон Канделаки, Клевцов — итого 30 человек.

Тюремным старостой был Павел Зевин¹ (из 26), у которого находился список всех арестованных, по которому он раздавал провизию, принесенную нам товарищами с воли.

За несколько дней до занятия турками Баку и нашим «освобождением» из тюрьмы заболел дизентерией тов. Канделаки, и его поместили в тюремную больницу. Поэтому из списка довольствующихся он был вычеркнут.

Я был освобожден за два дня до эвакуации из Баку на поруки. Моя фамилия также была вычеркнута из списка.

Месхи, Мудрый и Клевцов с нами на Красноводск на наш пароход не попали и на каком-то другом судне вместе с беженцами попали в Петровск (к би-чераховцам), а оттуда пробрались в Советскую Россию.

Когда нас арестовали в Красноводске, у старосты тов. Зевина при обыске случайно нашли список, о котором я говорил выше. После этого уже стали арестовывать и вылавливать из общей массы беженцев (600 чел.) по этому списку.

Кроме имевшихся в списке, арестовали еще нескольких товарищей, а именно: 1) Анастаса Микояна, 2) Самсона Канделаки, 3) Варвару Джапаридзе, 4) меня, 5) моего младшего брата — Леона, 6) Ольгу Фиолетову, 7) Татевоса Амирова, 8) Марию Амирову, 9) Сатеник Мартикян и 10) Маро Туманян. Всех перечисленных красноводские власти не знали и арестовали лишь по указаниям провокаторов из числа беженцев. Лишь Татевоса Амирова они знали как известного советского партизана, поэтому его впоследствии добавили к цифре «25», и, таким образом, получилась цифра «26».

Этим объясняется то обстоятельство, что такие видные большевики, как Анастас Микоян и Самсон Канделаки, остались живы, тогда как в число 26-ти попали несколько работников незначительной величины (Николайшвили, Метакса, младший Богданов) и даже случайные т.т. (Мишне), арестованные в Баку по недоразумению. Будучи случайно арестованными в Баку, они попали в список старосты, впоследствии оказавшийся проскрипционным.

Не будь у тов. Канделаки дизентерии — попал бы и он так же, как попал бы и я, если бы меня не освободили на поруки накануне эвакуации.

Красноводские же эсеры рассуждали так, что раз лица, перечисленные в списке, были арестованы в Баку, — значит, это и есть то, что им нужно, и их следует уничтожить.

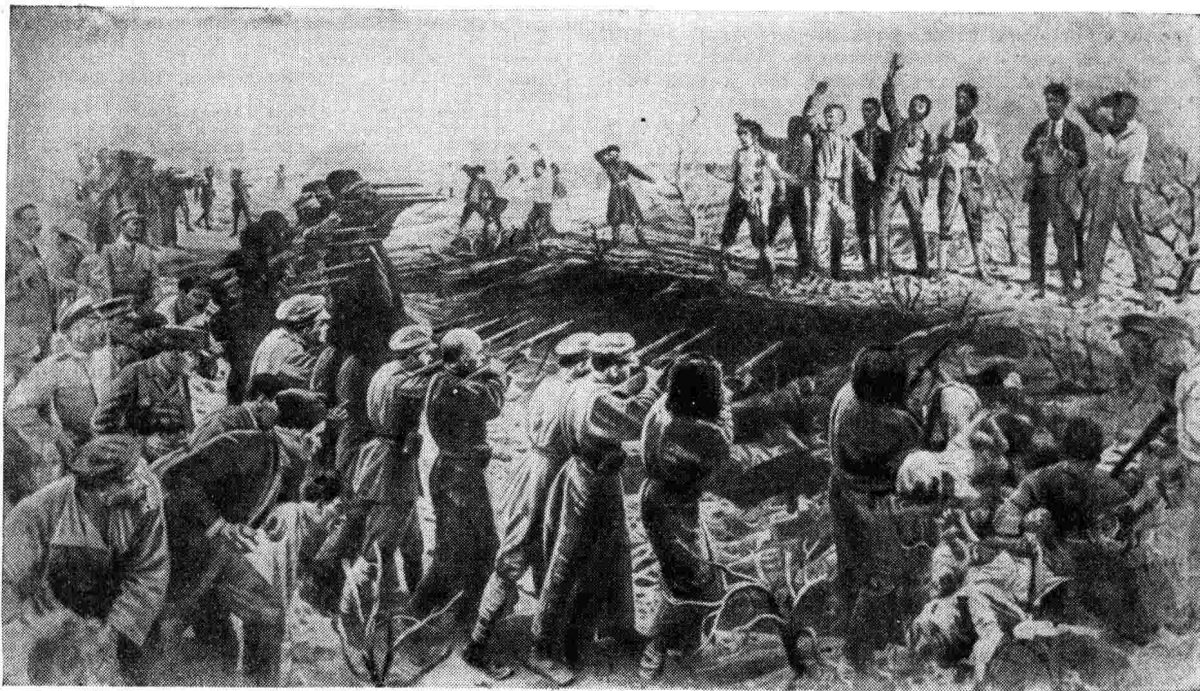
В случае, если бы этого списка у тов. Зевина не нашли, то могло бы случиться, что 1) расстреляли бы всех арестованных 35 человек или 2) расстреляли бы наиболее крупных работников, фамилии коих им были известны...



Проводив наших товарищей, ночь мы спали спокойно. Проснулись бодрые, полные надежд, что скоро нас освободят. Мы знали, что в городе находятся некоторые наши товарищи, которые приехали с нами на пароходе и сумели избежать ареста. Среди них, в частности, был старый коммунист Серго Мартикян. Жена его была арестована вместе с нами, а ему как-то удалось проскользнуть через все пропускные пункты. В ожидании освобождения мы думали о том, как, выйдя на свободу и связавшись с местными товарищами, мы будем искать какой-либо транспорт, чтобы добраться до Астрахани... Словом, нас одолевали всякие мечты и планы.

Когда днем появился наконец надзиратель, мы спросили его: когда же нас освободят? Он ответил, что на этот счет никаких распоряжений не имеет. Это вызвало у нас недоумение. Но мы все еще обманывались, полагая, что бумага о нашем освобождении еще не оформлена. Тогда мы не думали, что

¹ Это ошибка или оговорка: тюремным старостой был не Зевин, а Корганов. — А. М.



И. БРОДСКИЙ. Расстрел 26-ти бакинских комиссаров.

нас обманули, и продолжали надеяться на освобождение. Мы думали: «Какой им смысл обманывать нас? Они могли вообще ничего не говорить нам об освобождении».

Через 2—3 дня в камеру попали ашхабадские газеты за 19 или 20 сентября. В них были напечатаны сообщения о том, что в Красноводске арестованы бакинские большевики во главе с «кавказским Лениным» — Степаном Шаумяном и что при аресте у них найдено громадное количество денег и оружия. Такая грязная клевета нас крайне поразила и возмутила: ведь это гнусное сообщение распространялось уже после тщательных обысков у всех арестованных, когда ничего подобного обнаружено не было.

В газете содержалась угроза, что закаспийское правительство расправится с комиссарами, отомстит большевикам «за их зверства в России» и не остановится даже перед их четвертованием. Это вызвало у нас большую тревогу за судьбы наших товарищей.

Примерно через неделю один новый арестованный, приведенный в нашу камеру, сообщил, что в Красноводске широко распространен слух о том, будто арестованные бакинские комиссары вывезены из Красноводска, переданы английскому командованию, которое переправило их через Персию в Индию. Мы ломали головы над тем, что лучше: суд в Ашхабаде, могущий окончиться вынесением им смертного приговора, или то, что их отправили в Индию? Иной раз нам даже казалось, что их отправка в Индию лучше, ибо тем самым выигрывалось время для их обмена.

Прошло еще около месяца, и в нашу камеру пришла ужасная весть. Проводник с железной дороги рассказал красноводским товарищам, что он был в поезде, где везли бакинских комиссаров, и стал очевидцем, как на рассвете 20 сентября между станциями Ахча-Куйма и Перевал, на 207-й версте от Красноводска, комиссары были выведены из вагона

в пески и частью расстреляны, а частью зарублены. Это ужасное известие мы всеми силами старались скрыть от Левы Шаумяна, и на какое-то время нам это удалось, пока он случайно не услышал об этом от одного из арестованных. К слову сказать, Лева, несмотря на свой возраст, так же стойко, как все мы, перенес этот удар.

Возглавивший расправу над 26 бакинскими комиссарами глава закаспийского правительства Фунтиков уже имел до этого гнусный опыт палача, обезглавившего многих видных большевистских деятелей Закаспия. Этот Фунтиков — выходец из крестьян Саратовской губернии, работал машинистом на Туркестанской железной дороге. Он считался с 1905 года членом партии социалистов-революционеров. Под этой личиной, используя часть отсталых железнодорожных рабочих и опираясь на поддержку местных меньшевиков, Фунтиков организовал в июне 1918 года выступление против Советской власти в Кизил-Арвате, потом в Ашхабаде, а затем в Казанджике и Красноводске. Там были организованы так называемые стачечные комитеты (стачкомы) рабочих, ставшие фактически органами контрреволюционной власти. Стачкомы производили повальные аресты большевиков.

В связи с этим Советское правительство Туркестанской республики направило из Ташкента в Закаспийскую область народного комиссара труда, видного революционера-большевика, рабочего Полторацкого, для выяснения обстановки на месте и наведения порядка.

Полторацкий прибыл в город Мерв (Мары), где еще была Советская власть. Обманным путем Фунтиков пригласил Полторацкого приехать в Ашхабад для беседы. По дороге Полторацкий был арестован отрядом эсеровских головорезов Фунтикова и без следствия и суда расстрелян.

Через несколько дней тот же Фунтиков органи-

зовал убийство — также без следствия и суда — девяти арестованных ашхабадских комиссаров: Малибошко, Розанова, Батминова, Житникова, Телия, Петросова, Холостова, Смелянского и Хренникова, которые в ночь на 23 июля были вывезены в специальном поезде на перегон Аннау и Гяуре и под личным руководством Фунтикова расстреляны.



В тот трагический день, 20 сентября 1918 года, по злодейскому плану, составленному эсеровскими наймитами сообща с английским командованием и по указке последнего, от рук палачей Фунтикова, Седых и их подручных пали смертью храбрых:

Степан ШАУМЯН — чрезвычайный комиссар Кавказа, председатель Бакинского Совнаркома, член ЦК Коммунистической партии, народный комиссар иностранных дел, член Военно-Революционного Комитета Кавказской армии, член Учредительного собрания;

Прокопий ДЖАПАРИДЗЕ (Алеша) — председатель Бакинского Совета рабочих, крестьянских, солдатских и матросских депутатов, народный комиссар внутренних дел и народный комиссар продовольствия, кандидат в члены ЦК Коммунистической партии;

Мешади АЗИЗБЕКОВ — бакинский губернский комиссар, председатель Исполкома крестьянского Совета, заместитель народного комиссара внутренних дел, старый большевик;

Иван ФИОЛЕТОВ — председатель Совета народного хозяйства, старый большевик;

Мир-Гасан ВЕЗИРОВ — народный комиссар земледелия, левый эсер;

Григорий КОРГАНОВ — председатель Военно-Революционного Комитета Кавказской армии, комиссар по военно-морским делам Бакинского Совнаркома, коммунист;

Павел ЗЕВИН — народный комиссар труда, коммунист;

Григорий ПЕТРОВ — представитель центральной военной власти в Баку, командир отряда, левый эсер;

Владимир ПОЛУХИН — комиссар по военно-морским делам из Центра, коммунист;

Арсен АМИРЯН — редактор газеты «Бакинский рабочий», коммунист;

Сурен ОСЕПЯН — редактор газеты «Известия» Бакинского Совета, член Военно-Революционного Комитета, коммунист;

Иван МАЛЫГИН — заместитель председателя Военно-Революционного Комитета Кавказской армии, коммунист;

Багдасар АВАКЯН — комендант города Баку, коммунист;

Меер БАСИН — член Военно-Революционного Комитета Кавказской армии, коммунист;

Марк КОГАНОВ — член Военно-Революционного Комитета, коммунист;

Федор СОЛНЦЕВ — военный работник, коммунист;

Арам КОСТАНДЯН — заместитель народного комиссара продовольствия, балаханский районный продовольственный комиссар, коммунист;

Анатолий БОГДАНОВ — член Военно-Революционного Комитета, коммунист;

Соломон БОГДАНОВ — советский служащий, коммунист;

Арменак БОРЯН — советский работник, журналист, коммунист;

Эйжен БЕРГ — матрос, начальник связи Кавказской армии, коммунист;

Иван ГАБЫШЕВ — бригадный комиссар, коммунист;

Татевос АМИРОВ — командир кавалерийского отряда, входившего в 1-й Кавказский красный корпус;

Иван НИКОЛАЙШВИЛИ и Ираклий МЕТАКСА — коммунисты, назначенные партией для личной охраны Шаумяна и Джапаридзе;

Исай МИШНЕ — делопроизводитель Военно-Революционного Комитета, беспартийный.

У каждого из погибших была своя яркая революционная биография, годы героической борьбы с царизмом, крепкие связи с рабочим классом. Выходцы из народа, люди в расцвете сил, молодые, у которых все еще было впереди, бакинские комиссары были беззаветно преданы делу борьбы пролетариата. Непосредственные организаторы и участники многих революционных событий, представители восьми различных национальностей, начавшие свой революционный путь в различных концах России. Судьба свела всех их на земле Азербайджана, в стенах древнего Баку, где они создали и в кровопролитных боях отстаивали Бакинскую коммуну — оплот Советской власти в Закавказье.

Они пали на боевом посту. Но они не умерли для революции. Их имена и их дела стали знаменем бакинских рабочих и всех трудящихся Кавказа в их борьбе за дальнейшее сплочение революционных сил против буржуазных, контрреволюционных, националистических правительств в Закавказье, за окончательную победу Советской власти на Кавказе.

Уходя из Баку, Шаумян заявил от имени большевиков: «Мы уходим, но скоро мы вернемся».

И эти слова оказались поистине пророческими. Через год и девять месяцев, в ночь на 28 апреля 1920 года в Азербайджане была провозглашена Советская власть — был создан Советский Азербайджан. 29 ноября 1920 года Советская власть победила в Армении. В конце февраля 1921 года красное знамя революции стало развеиваться над Тбилиси. Кавказ стал советским.



Возвращаясь несколько назад, хочу напомнить, что после поражения немецко-турецкой коалиции в империалистической войне (ноябрь 1918 года) англичане вновь вернулись со своими войсками в Баку и оккупировали Закавказье. В Баку свирепствовал жестокий оккупационный режим «цивилизованных» англичан.

Доведенные до отчаяния бакинские рабочие прибегли к всеобщей забастовке, вынудив оккупантов внести некоторое облегчение в установленный ими режим, и добились как освобождения вновь арестованных рабочих деятелей, так и возвращения из-за Каспия нас — тех, кто был арестован в сентябре 1918 года вместе с бакинскими комиссарами и продолжал еще томиться в тюрьмах Закаспия. Нас освободили 28 февраля 1919 года, доставив под конвоем английских солдат в Баку.

Вернувшись в Баку, мы решили 20 марта 1919 года отметить полугодие со дня гибели бакинских комиссаров. Уже семь месяцев мы не имели партийной газеты. С большим трудом нам удалось издать специальный листок, посвященный памяти 26 бакинских комиссаров. Он вышел отпечатанным на двух



страницах газетного листа. Материал для этого номера был подготовлен мною.

Вспоминая в тот траурный день светлые образы наших незабвенных товарищей, я писал о каждом из них.

«...**Шаумян** был крупным революционером и выдающейся личностью не только в русском, но и международном масштабе. Он обладал неоценимыми сокровищами души и ума, умел вникнуть в сущность вещей, понимать и определять причины каждого проявления общественной жизни, легко и скоро ориентироваться в многочисленных вопросах политики, обнаруживать классовую подоплеку всех явлений и определять правильную линию поведения по отношению к ним с точки зрения интересов международного пролетариата. У него была редко встречающаяся у других — хладнокровная уверенность — как при победе, так и при поражении, — связанная с горячим энтузиазмом и непреклонным фанатизмом...»

Джапаридзе (товарищ Алеша) — весь огонь, весь благородный порыв. Он буквально горел на революционно-созидательной работе. Как трезвый революционер, подлинный вождь и стойкий коммунист, Алеша был всюду. В профессиональных вопросах, в учреждениях рабочего правительства он вносил порядок, деловое оживление, честное отношение к своим обязанностям, заражал работников своей неутомимой и революционной энергией... Это был замечательный организатор и практический деятель, прекрасный знаток закавказской действительности и души кавказского пролетариата, горевший непоборимым желанием разрушения власти феодалов, буржуазии и распространения власти рабочих и крестьян социалистической России...

Иван Фиолетов. Кто не знал в то время молодого, энергичного, неутомимого в работе, любимого всеми Ванечку!.. Фиолетов со многими другими вождями бакинского пролетариата расстрелян, и в его лице не только бакинский пролетариат, но и все рабочее-крестьянское Закавказье потеряло крупного, опытного и преданного работника...

Мешади Азизбеков. Мусульманская пролетарская демократия, так хорошо знакомая с деятельностью своего вождя, революционера, с особенным сознательным упорством посылала Азизбекова в Совет рабочих депутатов, и Азизбеков был деятельнейшим членом рабочего парламента и социалистического правительства. Но Азизбеков остался не только вождь и защитником интересов городского пролетариата; невидя ни на какие опасности, ни на угрозы контрреволюционного «мусавата», ходил он по деревням и селам, ведя энергичную социалистическую пропаганду в пользу Совета...

Григорий Петров. Беззаветно храбрый, бесконечно преданный революции, пришедший к нам со своим отрядом с далекого севера — в знак солидарности и

помощи Советской России изнывавшему в неравной борьбе бакинскому пролетариату — бок о бок с нами он отстаивал позиции Совета, бился вместе с нами... И как он бился — еще не стерлось в памяти бакинских рабочих...

Арсен Амирян. Он не обладал даром красноречия, его не видно было на собраниях Комитета, в Совете, но мятущаяся, чуткая мысль его проникала во все поры партийной жизни... Он был непримирим, его неуступчивость, прозорливость в многосложной обстановке бакинской действительности поражала многих из нас, знавших его как наивного ребенка в обычных житейских вопросах...

Сурен Осеян. Искушенный в политике с гимназических лет, с большой энергией, товарищ Сурен выступал то как организатор, то как пропагандист... И в тюрьмах Баку и Закаспия и на месте казни везде он был с кипой рукописей и номеров «Известий»...

Я писал тогда в газете:

«Память о бакинских комиссарах навеки будет жива в наших сердцах... И может быть, как и они, — мы падём на полпути, ляжем рядом с нашими товарищами, но с той же светлой надеждой в душе, как и они, что нас сменят новые борцы и доведут дело до победного конца, — падём с тем же возгласом в устах, который в последнюю секунду вырвался из их уст, но был заглушен залпом винтовок и свистом пуль:

Мы умираем за коммунистическую революцию!
Да здравствует Коммуна!..»



В конце августа 1920 года из Баку в Закаспий была направлена специальная комиссия, в составе которой были Сурен Шаумян, старый бакинский революционер Гандюрин и другие товарищи, для того, чтобы перевезти останки погибших товарищей и захоронить их с почетом в Баку.

Похороны состоялись 8 сентября. Накануне было опубликовано обращение Бакинского Совета и Бакинского комитета Компартии Азербайджана, в котором день похорон — 8 сентября — был объявлен днем всеобщего траура бакинских рабочих.

Газета «Азербайджанская беднота» писала накануне:

«Завтра день траура. Завтра бакинский пролетариат будет предавать земле прах 26 наших товарищей, зверски расстрелянных английскими палачами и белогвардейцами. 26 самоотверженных борцов коммунизма были предательски захвачены, увезены и подло, воровски расстреляны агентами империализма.

Какой удар для пролетариата... Сколько революционной энергии и любви, сколько возможностей погибло вместе с ними.

В Баку вряд ли найдется хоть один рабочий, который не помнил бы фигуры товарищей Шаумяна, Джапаридзе, Фиолетова, Азизбекова и других.

Их нет среди нас, но их светлые тени неразрывно реют над нами. Они будут с нами всегда, везде, где будут развеваться победные знамена Третьего Интернационала, родившегося в громе и молнии гражданской войны.

А завтра, завтра, в день скорби и печали, в день похорон убитых братьев наших, мы тихо преклоним колено перед их свежей могилой».

8 сентября, на последнем заседании Съезда народов Востока, после краткой речи о заслугах замученных империалистами 26 бакинских комиссаров съезд почтил их память вставанием. Был исполнен похоронный марш.

8 сентября в Баку был ясный, солнечный день. Улицы заполнены бесчисленными колоннами трудящихся, идущих с траурными флагами, с портретами бакинских комиссаров.

На похороны прибыли семьи погибших. В траурной процессии участвовали делегаты Съезда народов Востока и члены Исполкома Коминтерна, присутствовавшие на этом съезде.

К пристани медленно подошел пароход, доставивший 26 гробов с останками погибших.

Партийные и государственные деятели Азербайджана, соратники павших комиссаров, делегаты Съезда народов Востока, передовые рабочие по очереди несли на своих руках их гробы.

Процессия двигалась по главным улицам Баку, под звуки траурных и революционных маршей, направляясь к площади Свободы, к месту погребения.

Состоялся траурный митинг. Выступали и местные деятели и представители Коминтерна.

От имени Правительства Советского Азербайджана и ЦК Компартии Азербайджана Нариман Нариманов сказал:

«Сейчас мы предаем земле Советского Азербайджана наших лучших, дорогих товарищей, доблестно стоявших до последнего момента на своих революционных постах. Эти стойкие, честные герои пали от руки Англии, той Англии, которая всегда говорит о своей человечности. Вот результат этой человечности — 26 гробов. Сегодня судьбе угодно было продемонстрировать эту человечность перед Востоком. Пусть Восток знает о ней. Но знайте, что приближается час возмездия. Вчера Восток дал клятву объединенными силами свалить этих мировых разбойников. И в скором времени проснется седой Восток и со своих плеч легко сбросит этот гнет. Спите, дорогие товарищи! Идеи, за которые вы боролись, воссияют ярко по всей земле!»

Слушая и читая эту взволнованную речь Нариманова о наших погибших товарищах, многие из нас вспоминали, как тесно был связан и сам Нариманов с многолетней революционной борьбой бакинского пролетариата и с теми лучшими его сынами, останки которых с таким почетом хоронили в тот день в Баку, на площади Свободы.

Возглавив большевистскую организацию «Гуммет», Нариман Нариманов всегда получал неизменную поддержку от Джапаридзе и Шаумяна, был с ними тесно связан дружескими узами. Совместная борьба в рядах бакинского пролетариата сблизила их, как братьев. Еще до Февральской революции, при царизме, когда Шаумян и Нариманов находились в астраханской ссылке, между ними установилась и личная дружба и атмосфера взаимопомощи. Нариманов не раз помогал Шаумяну и его семье, когда они в этом нуждались.

В первый же день мартовского мусаватского мятежа в 1918 году в Баку, когда Шаумян узнал о том, что дом, в котором живет Нариманов с семьей, находится в зоне обстрела, он немедленно направил туда группу красногвардейцев во главе со своим старшим сыном — Суреном. Им удалось переправить семью Нариманова на квартиру Шаумяна, находившуюся в безопасной зоне. Несколько тревожных дней семья Нариманова вместе с семьей Азизбекова провела у Шаумяна.

Летом 1918 года Нариманов заболел. Шаумян проявил о нем поистине братскую заботу. Несмотря на крайнюю необходимость в те дни в Азербайджане такого опытного и авторитетного деятеля партии, каким был Нариманов, Шаумян добился направления его в Россию для лечения. Это помогло Нариманову не только поправить здоровье, но и избежать, к счастью, трагической участи бакинских комиссаров.

По образованию Союза Советских Социалистических Республик Нариманов стал одним из председателей ЦИК СССР. Он умер на своем посту в 1925 году в Москве и похоронен на Красной площади.

Получилось так, что Шаумян, помимо Нариманова, фактически спас жизнь еще двум бакинским народным комиссарам, заставив их эвакуироваться из Баку

в Астрахань за несколько дней до падения там Советской власти.

Это народный комиссар просвещения Надежда Николаевна Колесникова, сразу после рождения ребенка выехавшая в Астрахань, где была избрана председателем Астраханского губкома и в тяжелое для Астрахани время работала там вместе с С. М. Кировым. Впоследствии она жила в Москве, где и умерла несколько лет назад. Ее муж, народный комиссар труда Яков Зевин (партийная кличка «Павел»), погиб в числе 26 бакинских комиссаров. Их сын Владимир находится в Москве на партийной работе.

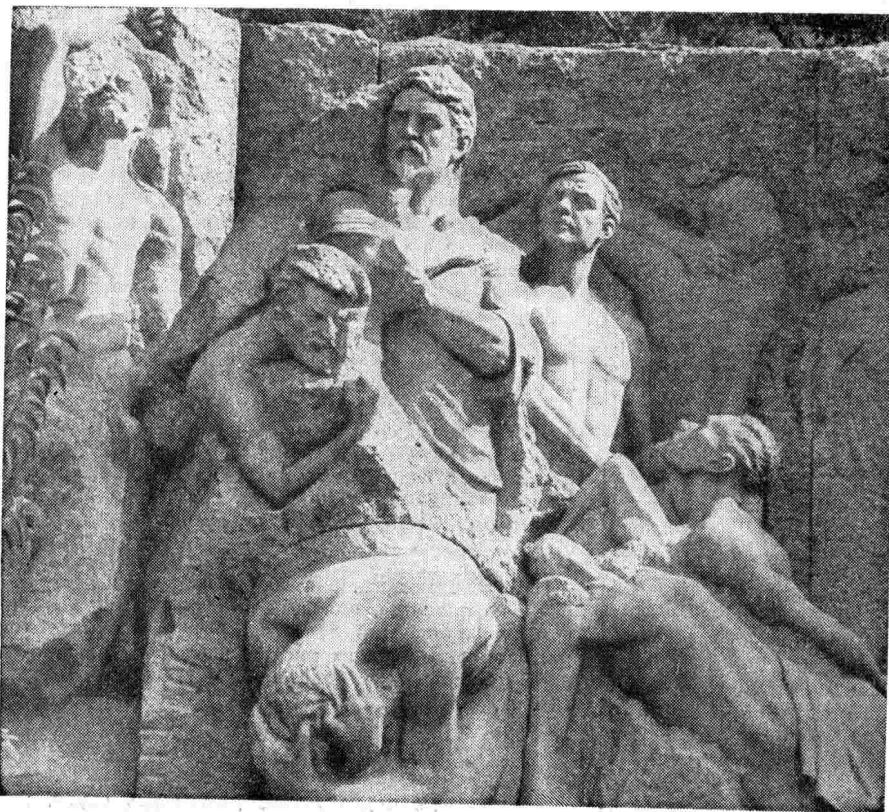
Другой — Арташес Каринян, народный комиссар юстиции Бакинской коммуны, которого Шаумян за несколько дней до кризиса по какому-то делу отправил в Астрахань. Одно время Каринян работал в Москве, потом переехал в Армению, где живет и работает в настоящее время. Он действительный член Академии наук Армянской ССР. На торжественном заседании в Баку 15 ноября 1967 года, посвященном 50-летию провозглашения Советской власти в Баку (2 ноября), Каринян выступил с речью.

На месте захоронения 26 бакинских комиссаров в Баку, на площади, носящей теперь их имя, воздвигнут величественный памятник — групповая скульптура, изображающая их расстрел. Скульптура эта создана выдающимся советским скульптором Меркуровым.

Менее чем через месяц рассеялись слухи, распущенные англичанами и эсерами о том, что бакинских комиссаров вывезли в Индию. Стало очевидным, что над ними учинена жестокая расправа, и всех волновал вопрос: кто же прямой виновник этого? Кто фактически и юридически несет ответственность за это злодеяние?

Арест бакинских комиссаров, предание их военно-полевому суду, создание для этого специального военного трибунала и утверждение положения о нем, предусматривающего смертную казнь, — было проведено «Диктатурой Центрокаспия» специально для расправы над бакинскими комиссарами. Эта «Диктатура», как я уже говорил, состояла из лидеров трех политических партий Баку — правых эсеров, меньшевиков и дашнаков, действовавших с согласия и по прямому указанию командования английских оккупационных войск, возглавляемых генералом Денстервилем и консулом Мак-Доннелом.

Адский план уничтожения комиссаров под флагом «законности», со всей этой процедурой военно-полевого суда, не был выполнен вопреки воле его вдохновителей: неожиданно для них самих турки прорвали фронт, и деятели «Диктатуры» вместе с английским командованием в панике бежали из Баку. Как потом стало известно, после ареста бакинских комиссаров в Красноводске руководитель местной контрреволюционной власти Кун направил радиотелеграмму в Петровск «Диктатуре Центрокаспия» и командующему ее войсками Бичерахову. Кун просил их согласия на предание арестованных военно-полевому суду и сразу же получил ответ Бичерахова о том, что он, Бичерахов, и «Диктатура Центрокаспия» согласны на это. Но уже через три дня закаспийское правительство, возглавляемое правым эсером Фунтиковым, по указанию английского командования по-воровски, тайком, без суда физически уничтожило 26 бакинских комиссаров.



Фрагмент памятника
26-ти бакинским комиссарам в Баку.

Фото Ю. Рахия.

В марте 1919 года, когда мы только что вернулись из тюрьмы, в Баку появился Вадим Чайкин. Это был видный юрист, член Центрального комитета партии эсеров, избранный по их спискам в Учредительное собрание от Туркестана. Он добивался встречи со мной, и мы встретились на нелегальной квартире.

Беседа была продолжительной и интересной. Припоминаю: Чайкин был высокого роста, видный и стройный мужчина средних лет, с крупными чертами лица. Говорил он спокойным, размеренным тоном. В нем сразу чувствовался опытный адвокат.

Не касаясь содержания всей нашей беседы, скажу лишь о трех моментах, которые произвели на меня наибольшее впечатление и невольно расположили к моему собеседнику.

Чайкин сообщил, что находился более месяца в Закаспии, стараясь выяснить все фактические обстоятельства расправы над бакинскими комиссарами. Делал он это не только как профессиональный юрист, но и как член партии эсеров, желая лично убедиться, принимал ли кто-либо из членов его партии, входивших в правительство, участие в этом убийстве. Он хотел первым разоблачить их, осудить и тем самым смыть позорное пятно, падающее на всю партию эсеров, в которую он верил, хотя и не одобрял многих ее действий.

Второе. Чайкин считал, что, не будь за спиной закаспийского эсеровского правительства английско-го командования, само это правительство не осмелилось бы на такое гнусное преступление. Тут я прервал Чайкина, сказав, что не могу согласиться с ним: хотя и правильно, что англичане — главные виновники, но Фунтиков и его друзья — такие прожженные мерзавцы, что и сами были способны на такое преступление.

В заключение Чайкин заявил мне, что он считает своим моральным долгом организовать в международном масштабе кампанию по разоблачению и привлечению к судебной ответственности всех действительных виновников этого злодеяния — как граждан России, так и англичан.

Надо сказать, что это были не пустые слова. Чайкин сразу начал активно действовать в этом направлении в Баку и в Тбилиси, и мы оказывали ему в этом всяческую поддержку. Небезынтересно привести выдержку из письма Чайкина, направленного им 3 апреля 1919 года, вскоре после нашей беседы, в Лондон, председателю Палаты общин:

«Месяц назад я, в качестве члена Всероссийского Учредительного собрания от Туркестана и секретаря Комитета по созыву Туркестанского Учредительного собрания, посетил Закаспийскую область, где обнаружил тяжкое уголовное преступление, организованное в сентябре прошлого года при участии главы Великобританской миссии в Ашхабаде капитана Реджинальда Тиг-Джонса и председателя Закаспийского розыскного бюро Семена Дружкина, впоследствии делегированного английской миссией в качестве ее представителя в Закаспийскую директорию. Получив доказательство виновности Тиг-Джонса, Дружкина и других лиц в позорном преступлении — организации убийства на территории Туркестана 26-ти пленных бакинских комиссаров, — я счел своей гражданской обязанностью выступить в местной прессе с открытым обвинением преступников и параллельно обратиться к генералу Маллесону, высшему дипломатическому и военному представителю Великобритании в Туркестане и Персии, с заявлением о необходимости начатия по делу предварительного следствия. Вместо способствования интересам правосудия генерал Маллесон взял на себя решимость поспешно отправить одного из главных преступников Семена Дружкина из Ашхабада в Англию, снабдив его охранной грамотой великобританской миссии Туркестана из Закаспийской области до Константинополя. Учитывая

такой образ действия генерала Маллесона, которому во время совершения преступления непосредственно был подчинен капитан Тиг-Джонс, я обратился к высшему в настоящее время представителю великобританского командования в Закавказье генералу Томсону с новым заявлением о необходимости срочного образования по данному делу следственной комиссии из представителей Англии, Туркестана и Баку, наковой комиссии я буду в состоянии сообщить имеющиеся у меня доказательства виновности Тиг-Джонса и Дружкина. Генерал Томсон решительно уклонился от образования указанной комиссии и пытался самолично, в полном противоречии с существующими законами, произвести на территории Грузии, в стенах великобританской миссии, допрос Семена Дружкина¹, которому, несмотря на предъявленные обвинения и протест общественных организаций Закавказья, по-прежнему предоставляется беспрепятственная возможность выезда за границу под охрану великобританского оружия. Считаю своим общественным долгом, как избранный населением Туркестана и секретарь учреждения, которое ставит своей задачей торжество в крае начал права и справедливости, сообщить об изложенных фактах Палате общин и просить принять исключительные меры к расследованию кошмарного и предательского убийства 26 безоружных, сдавшихся в плен людей».

Конечно, ни английский парламент, ни английские судебные органы, ни английское военное командование, прекрасно знавшие все обстоятельства расправы над 26 бакинскими комиссарами, не захотели расследовать это дело.

Следствие по делу об убийстве 26 бакинских комиссаров началось у нас в 1925 году. Весной 1926 года выездная сессия Верховного Суда СССР рассмотрела в Баку дело Фунтикова. В состав суда входили: председатель суда Камерон (Москва), члены суда Мир Башир Касумов, Анашкин И. И., видные бакинские рабочие, активные большевики, хорошо знавшие бакинских комиссаров по совместной работе. Государственным обвинителем выступал Сергей Кавтарадзе — старый большевик.

Многие лица, причастные к убийству бакинских комиссаров, сумели уйти от ответственности и бежать за границу еще до победы Советской власти в Закаспии и в Закавказье. Но один из главных виновников, вдохновитель и непосредственный исполнитель расправы над бакинскими комиссарами, Федор Фунтиков, был пойман в 1925 году и предстал перед судом.

Верховный Суд СССР установил, что Фунтиков в контрреволюционных целях организовал в 1918 году вооруженное восстание против Советской власти в ряде городов бывшей Закаспийской области и, опираясь на так называемый «Союз фронтовиков» и боевые кадры партии эсеров в Закаспии, сверг там Советскую власть и вместе с другими членами партии социалистов-революционеров захватил власть в свои руки; в том же 1918 году вступил в преступную связь с английским командованием, ставя задачей захват Закаспийской области войсками империалистической Англии, вооруженную борьбу с войсками Советского Туркестана, свержение там Советской власти и захват богатых хлопком областей Туркестана; организовал и 24 июля 1918 года осуществил убийство девяти комиссаров Ашхабада, а также вместе с другими членами партии эсеров и представителями английского командования в лице генерала Маллесона и начальника штаба английских экспедиционных войск в Закаспии Реджинальда Тиг-Джонса подготовил и осуществил зверское убийство Степана Шаумяна и вместе с ним других 25 бакинских комиссаров.

¹ Здесь Чайкин имеет в виду тот факт, что генерал Томсон самолично «допрашивал» Дружкина с целью получить нужные ему показания для реабилитации английского командования. — А. М.

За совершенные преступления предатель Фунтиков был приговорен Верховным Судом СССР к высшей мере наказания и расстрелян.



Мне кажется, что в моих воспоминаниях о давно прошедших днях следует рассказать еще об одном эпизоде, который произошел немногим более года назад.

В августе 1966 года я получил письмо от сына английского генерала Маллесона — главного виновника из числа английского военного командования, решившего трагическую судьбу бакинских комиссаров.



Медаль памяти 26-ти бакинских комиссаров.

Автор — Марина ЭШБА.

Вот что писал мне Маллесон-младший, подполковник королевского военно-морского флота в отставке:

«...Пишу Вам о том, что произошло давным-давно, около пятидесяти лет тому назад. Пишу теперь, поскольку после долгой службы Вы находитесь в почетной отставке. Это касается расстрелянных 26-ти бакинских комиссаров и оставшегося в живых 27-го Анастаса И. Микояна.

Более, чем по одному случаю — Вы ставили в вину британскому военному командующему на Юге планирование этого массового убийства. Человек этот был моим отцом — генерал-майор сэр Уилфред Маллесон (умер в 1946 г.). Хочу заверить, что из всего им когда-либо рассказанного мне вытекает его полная невиновность в этом. Насколько ему было известно, это задумали и исполнили сами белогвардейцы. Пишу Вам потому, что не хочу, чтобы Вы до конца жизни думали, что мой отец организовал убийство ваших товарищей...»

На это письмо я решил не отвечать. Никаких объективных материалов в подтверждение невиновности своего отца Маллесон-младший не представил; вопрос этот им не был изучен, — он писал со слов своего отца, который старался, естественно, обелить себя в глазах сына и общественности.

Однако Маллесон-младший не успокоился на этом и направил новое письмо примерно аналогичного содержания в редакцию журнала «Советский Союз» в связи с тем, что незадолго до того в этом журнале

была опубликована запись беседы с сыном Шаумяна о гибели 26 бакинских комиссаров.

В третьем номере журнала «Советский Союз» за 1967 год был опубликован ответ Льва Шаумяна господину Маллесону-младшему, в котором, в частности, говорилось:

«...Англичане в Закавказье и в Закаспии, да и не только там, всеми средствами поддерживали любые антисоветские силы. Больше того, в Баку, Ашхабаде, Красноводске контрреволюционеры находились в прямой зависимости от воли и решений английских офицеров. Не без самодовольства писал генерал Маллесон, что в те дни он со своими офицерами «в течение примерно восьми месяцев фактически держал под контролем территорию к востоку от Каспийского моря, равную половине площади Европы». Генерал получил официальную санкцию «поддерживать временное правительство Закаспия против большевиков». Все это писал генерал Маллесон в статье 1933 года («Фортнайтли ревью»), а в 1922 году в журнале Центрального азиатского общества он откровенно утверждал: «...я совсем не боялся ответственности и был уверен на основании полученных сообщений, что наши превосходные войска не будут иметь трудностей и справятся как следует с большевистским сбродом...»

Далее Лев Шаумян привел в своем ответе любопытный документ — свидетельство бывшего председателя Временного Исполнительного комитета Закаспийской области Фунтикова:

«...Представитель английской миссии в Ашхабаде Тиг-Джонс, глава миссии, говорил мне лично до расстрела комиссаров, о необходимости расстрела, а после расстрела выражал удовольствие, что расстрел в соответствии с видами английской миссии произведен.

г. Ашхабад, 1919 г., марта второго дня, 3 ч. 35 м.» Год, день, час — очень важная деталь в заявлении Фунтикова: ведь он написал это собственноручно, когда английские войска еще хозяйничали в Ашхабаде...»

Следует подчеркнуть, что Тиг-Джонс, будучи начальником штаба английских экспедиционных войск в Закаспии, говоря об участии бакинских комиссаров, выражал не только свое мнение, но и мнение своего непосредственного начальника генерала Маллесона.

Естественно, у читателей этих воспоминаний могут возникнуть вопросы в связи с эпизодами, о которых я тут рассказывал.

Может возникнуть, например, вопрос о том, какие решения или поступки бакинских комиссаров были правильными, а какие ошибочными. Как могли сложиться обстоятельства, если бы комиссарами принимались другие решения и вообще если бы они действовали иначе? Как все это могло бы повлиять на ход и исход событий и в целом на судьбу Бакинской коммуны?

Ожидая моих ответов, читатель будет, конечно, исходить из **своих** представлений о всех этих событиях, будет давать им **свои** оценки, подсказанные ему обстоятельствами и позицией **сегодняшнего** дня, с учетом всего того, что произошло уже после падения Бакинской коммуны.

В связи с этим мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что я старался излагать описываемые события так, как они сохранились в моей памяти; старался давать им те оценки, которых придерживался **тогда**, в дни, когда эти события непосредственно происходили. **Так** это было. **Так** это мною оценивалось. **Так** я это помню.

Заканчивая воспоминания о днях Бакинской коммуны и рассматривая их уже с учетом событий, имевших место после падения Коммуны, с учетом между-

народной обстановки и военно-политического положения Советской России, особенно на юго-востоке, я хочу поделиться с читателями некоторыми, складывающимися у меня **сейчас** общими выводами.

О судьбе бакинских комиссаров. Мне и сегодня представляется, что они могли избежать трагической участи. Первый раз это было возможно, когда они, вместе с отрядом Петрова эвакуировались из Баку в Астрахань. Они не должны были ждать у острова Жилого подхода всех судов. Им следовало оставить на острове военное командование — начальника отряда Петрова и, возможно, народного комиссара по военным делам Корганова, а все остальные комиссары и другие политические руководители должны были — без остановки — направиться в Астрахань. Ведь военная флотилия Центрокаспия окружила их только через сутки, а за сутки они могли бы далеко уйти в сторону Астрахани. Их уже не смогли бы тогда нагнать военные суда, да и стоявшая тогда штормовая погода им способствовала. Руководители Бакинской коммуны этого не сделали из чувства товарищеской солидарности, из благородства: они не захотели оторваться от основных красноармейских сил.

Второй раз. Когда пароход «Туркмен» удачно оторвался от каравана судов Центрокаспия и взял курс на Астрахань, бакинские комиссары — если бы они и на этот раз, в ущерб собственной безопасности, не оказались в плену чувств гуманности — имели реальные шансы силой оружия заставить команду подчиниться и идти в Астрахань. Это могло привести к некоторым жертвам, но, конечно, не к таким, как трагическая гибель 26 комиссаров.

Относительно судьбы Советской власти в Баку. Мне представляется теперь, что тогда, в 1918 году, мы имели бы реальную возможность продержаться примерно еще 2—3 месяца, не допустить англичан в Баку и успешно обороняться против турецких войск своими силами, в ожидании возможной помощи из Астрахани. (Впоследствии из документов стало известно, что по указанию Ленина в Астрахань вскоре после сдачи нами власти в Баку прибыл полк Красной Армии для направления в Баку.) В то время еще продолжалась (правда, не в таких размерах, как это было нужно) помощь из Астрахани и снабжение хлебом через Шендрикловскую пристань в районе Кизляра. К тому же тогда Советская власть удерживалась еще в некоторых районах Северного Кавказа, в том числе в восточной его части. С закрытием навигации по Каспию была бы еще возможность нашей связи с Астраханью через Северный Кавказ.

К несчастью, дела сложились так, что белогвардейская контрреволюция на Северном Кавказе вскоре одержала верх над Советской властью и Красной Армией. К концу 1918 — началу 1919 года остатки XI Красной Армии во главе с Кировым, оставшись без боеприпасов, были вынуждены отступить в сторону Астрахани, понеся в калмыцких степях большие потери от тифа, мороза и голода. Другая группа красноармейских частей во главе с Орджоникидзе, сражаясь до последнего патрона, отступила в Кавказские горы и оттуда поодиночке и группами перемещалась в Закавказье.

Таким образом, к концу 1918 года Баку, по существу, лишился бы всякой помощи со стороны Северного Кавказа. В связи с наступлением зимы закрылась бы навигация в устье Волги и северной части Каспийского моря. В результате была бы совершенно прекращена доставка боеприпасов и всякая другая помощь из России. Все это означало бы полнейшую блокаду Баку и поражение Советской власти в Баку с еще большими жертвами.

Правда, вскоре Турция, а за ней и Германия потерпели поражение в войне, подписали перемирие с Антантой, и в начале ноября 1918 года турецкие войска ушли из Баку. Но буквально по пятам за ними туда вернулись английские оккупационные войска. Если при первом их приходе в Баку было всего около тысячи английских солдат, то теперь англичане располагали значительной воинской силой и разместили свои гарнизоны в различных городах Закавказья.

После победы Антанты над Германией Советская власть в Баку, если бы она и продержалась там до конца года, неизбежно столкнулась бы с английскими войсками и вряд ли в условиях блокады устояла. Англичане к этому времени освободились от турецкого фронта и имели больше сил, а мы до весны 1919 года не имели бы связи с Советской Россией и не могли получать от нее нужной помощи.

Осенью 1918 года и зимой 1919 года сложилась наиболее тяжелая военно-политическая ситуация для всей Советской России и особенно для юга страны. В этот период все сухопутные и морские связи Баку с Советской Россией были полностью прерваны.

Поэтому, когда рассуждаешь **теперь** — с учетом обстоятельств, возникших после падения Советской власти в Баку, — приходишь к выводу, что временное поражение пролетарской революции в Баку было следствием того, что Баку явился ареной столкновения двух мировых воюющих империалистических коалиций, стремившихся овладеть и бакинской нефтью и важным стратегическим узлом для господства над Ближним Востоком.

В тот момент Советская Россия на юге страны оказалась слабее своих противников и потерпела поражение на этом участке.

Гениальная способность Ленина — располагая небольшим количеством фактов и данных, уметь делать из них правильные политические обобщения и давать им правильную оценку — проявилась также и в оценке событий, происшедших в то время в Баку.

29 июля 1918 года, как раз в дни падения Советской власти в Баку, Ленин выступал на объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы. В то время связь Баку с Москвой была прервана, и мы этого выступления Ленина не знали.

Ленин говорил о тяжелом военно-экономическом положении Советской России, об опасности, в которой она оказалась. Особенно подробно, с разбором всех имеющихся в его распоряжении фактов, Ленин анализировал тактику и методы борьбы англо-французского империализма с Советской Россией и их отличие от империалистической Германии, находившейся в ином географическом положении по отношению к России.

Ленин говорил о том, что из полученных сообщений видно, что англичане, обосновавшиеся в Индии и Афганистане, пытаются нападать на Советскую Россию; часть городов Средней Азии охвачена контрреволюционным восстанием при явном участии англичан. «И вот теперь, — говорил Ленин, — когда эти отдельные звенья стали ясны для нас, вполне определилось теперешнее военное и общестратегическое положение нашей республики. Мурман на севере, чехословацкий фронт на востоке, Туркестан, Баку и Астрахань на юго-востоке — мы видим, что почти все звенья кольца, скованного англо-французским империализмом, соединены между собой».

Он прочитал собранию пространное, только что полученное им донесение об отчаянном военном по-

ложении, сложившемся в Баку, и о том, что большевики вместе с левыми эсерами оказались в меньшинстве в Совете при голосовании вопроса о приглашении англичан на борьбу против турок.

Ленин одобрил отказ бакинских большевиков сотрудничать с английскими интервентами против турок. «Решительный отказ от какого бы то ни было соглашения с англо-французскими империалистами, — говорил Ленин, — единственно правильный шаг бакинских товарищей, так как нельзя приглашать их, не превращая самостоятельной социалистической власти, будь то на отрезанной территории, в раба империалистической войны».

Примечательно, что Ленин обратил внимание на тот факт, что бакинские левые эсеры в эти критические минуты для Советской власти оказались вместе с большевиками. Ленин говорил о тех левых эсерах, «...к сожалению, очень немногих, которые не пошли за гнусной авантюрой и предательской изменой московских левых эсеров, а остались с Советской властью против империализма и войны».

Далее Ленин говорил: «Мы знаем, что на Кавказе положение наших товарищей-коммунистов было особенно трудное, потому что кругом их предавали меньшевики, вступавшие в прямой союз с германскими империалистами под предлогом, конечно, защиты независимости Грузии».

Касаясь далее международного положения, Ленин сказал: «...мы имеем перед собой новый успех англо-французского империализма, а стало быть, и мирового. Если с запада германский империализм продолжает стоять, как военная захватная империалистическая сила, то с северо-востока и с юга России англо-французский империализм получил возможность укрепляться... англо-французский империализм одержал крупный успех и, окружив нас кольцом, направил все усилия, чтобы подавить Советскую Россию. Мы прекрасно знаем, что этот успех англо-французского империализма стоит в неразрывной связи с классовой борьбой... Поэтому несколько не удивительно, что теперешние обострения международного положения Советской республики связаны с обострением классовой борьбы внутри страны».

Ленин говорил, что, когда большевики видят преимущество сил интервентов на каком-либо участке фронта, они не соединяются с ними, а отступают, чтобы сохранить за собой возможность продолжать вести классовую борьбу и социалистические преобразования. Сегодня можно сказать, что решение, принятое Шаумяном о временном выводе большевистских сил из Баку — временном отступлении, как бы перекликается с этим высказыванием Ленина, которое тогда нам не было известно.

Из всего сказанного напрашивается основной вывод о том, что главной причиной временного поражения Советской власти в Баку было неблагоприятное для пролетарской революции соотношение сил на Кавказе в стыке противоречий и столкновений двух воюющих империалистических коалиций, совершивших военную интервенцию в Закавказье.

Обозревая весь ход событий, прихожу к такому мнению: предложение Шаумяна об эвакуации большевистских сил в середине августа 1918 года, принятое большинством на бакинской партийной конференции, было целесообразным, и последующие события подтвердили его правильность.

Естественно, я не могу претендовать на исчерпывающую оценку событий, происшедших в тот период. Это — дело ученых-историков.





Вл. Воронов

ЗАКЛИ- НАНИЯ ДУХОВ

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Года три назад на страницах журнала «Молодая гвардия» кто-то ненароком произнес слово «дух». Сначала боязливо, с оглядкой, потом громче, уверенней, это слово зачастило в критических статьях, в публицистике, в рецензиях... Оно замелькало и зарябило, его начали поминать по поводу и без повода, и вот через каких-нибудь полгода случайно подвернувшееся слово превратилось для некоторых критиков в универсальное, почти магическое заклинание, с которым отпевали самые разные произведения прозы, поэзии, публицистики.

Сейчас уже трудно вспомнить, какой смысл вкладывали в слово «дух» первые его прорицатели; Впрочем, сегодня это не имеет уже никакого значения: за последние полтора года их последователи

это слово произносят самозабвенно, в слепом упоении, как повторяет старательный зубрила непонятные латинские изречения. И, конечно, уже без прежней веры в первоначальный смысл слова.

Для заклинателей «дух» был все-таки счастливой находкой. Судите сами: то, что раньше было полупрофессиональной, ремесленной поделкой, претендующей на ругательную критическую статью или полновесную заушательскую рецензию, теперь со словом «дух» стало выглядеть почти респектабельно.

Раньше заклинатели в «тихой скромности и робкой зависти» заявляли, что таких-то и таких-то явлений, например, «звездных мальчиков», не существует. Согласитесь, что это было слишком примитивно. Но подобным же образом, в простоте душевной, критики «Молодой гвардии» обошлись с рассказами Юрия Казакова, с повестями и романами Константины Симонова, Георгия Владимова и еще многих.

Другое дело — «дух»... С ним можно претендовать и на некоторую даже солидность суждений. С ним даже брань выглядит как-то внушительно.

Но вот беда: употребляемое к месту и не к месту слово начинает поедать собственный смысл, как удачно выразился один из заклинателей.

Что же произошло? Что так сильно раздражает этих критиков?

Их раздражает современная советская литература. Она им очень не нравится. Оказывается, после их разносных статей в литературе ничего не изменилось: она себе идет да идет... Для заклинателей обозначилась опасность потерять читателя и литературу. А это уже дело нешуточное. И если прежде они поносили литературу по известному принципу «этого нет, потому что этого не может быть», то теперь глубокомысленно замечают: «это не соответствует национальному духу русского народа». И то и другое поношения находятся в захватывающей близости, ибо, ежели не соответствует, значит, выдуманно и вроде как не существует.

Приведем лишь часть заклинаний, которыми перестряют некоторые критические статьи:

«...Не из русского ли народного быта, духовно-культурного своеобразия его родились непреходящие ценности русской литературы, физиономия ее духа?»

«Оригинальность противостоит безликости (агрессивной или пассивной), разлагающей национальный дух».

«Структура русского слова, рождаемая историческим опытом народа, становится частью национального духа».

«Есть еще то, что можно назвать культурой духа».

«История все-таки живет эссенцией духа, а не узо-стью».

«Творчество, в сущности, там, где есть идея развития. Но где же больше сил этой идеи, как не в самой природе народного духа?»

Духи, духи, духи разгуливают по страницам этих критических статей. Конечно, то, что я сделал сейчас, называется вырвать цитаты из контекста. Впрочем, разве только ради наглядности.

Попробуем, однако, разобраться в некоторых идеях заклинателей.

Все это новое духоборство понадобилось для одной несложной операции: духи призваны, чтобы побить литературу. Бедная литература! Она, видите ли, вместо того чтобы искать первооснову национального духа, занимается какими-то внешними, поверхностными явлениями. А заклинатель не доверяет ничему внешнему, он ищет сокровенного смысла.

Но о каком «внутреннем» можно говорить без

проявления его во «внешнем»? Спор, казалось бы, отвлеченный, а в литературе он стал предметом жарких дискуссий. Внимание писателей к сложным «внешним» проявлениям народной жизни не устраивает критика-заклинателя. Он озабочен лишь одним: соответствуют ли эти «внешние» проявления жизни «внутренним», весьма упрощенным его представлениям. У него есть какое-то ему одному известное определение «эссенции национального духа», и все, что не укладывается в это определение, зачинатель объявляет надуманным, «внешним», несуществующим. Встречается он, например, с рассказом И. Грековой «Летом в городе». И с ходу объявляет рассказ эмоционально поверхностным, «внешним». Доказательств никаких; вместо них следующая тирада: «...Может быть схема мысли, но может быть и природа мысли, жизнь, дух мысли... Сколько внутренних сил отдает художник, чтобы одухотворить идею, эмоции, создать душевную структуру своего героя! Но, чтобы вдохнуть в произведение эту жизнь, художник должен не просто умозрительно понимать даже глубокие проблемы жизни, а переработать их в свой дух».

Заклинатель почти всерьез убежден, что может отличить писателя от литературы, художника — от искусства; для этого достаточно заявить, что такая литература «никакого отношения к искусству не имеет...».

Противопоставление внутреннего и внешнего, сущности и видимости — занятие не новое в литературе. Еще Вячеслав Иванов, философ-мистик и прорицатель, в кризисные годы российской интеллигенции писал, что большое искусство — это «образное раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенского». Вяч. Иванов тоже призывал художников двинуться от внешней реальности к внутренней, по его мнению, единственно истинной реальности. Разумеется, у Вяч. Иванова выглядело это куда изящней: *a realibus ad realiora*. У ряда критиков из «Молодой гвардии», видимо, тоже обнаружилось «утомление иллюзионизмом» и выявилась тяга к верховной, безусловной реальности... а может, они, осерчав на литературу, просто не вдумались в то, что пишет их сердитое перо.

Ведь внешняя реальность — это в первую очередь историческое творчество народа, вот уже полвека идущего к новой жизни, это многоликое, многонациональное проявление неукротимой воли братских народов построить новое общество, это труднейший пятидесятилетний путь борьбы и побед, на котором были и отступления и поражения, это, несмотря ни на что, путь вперед.

СНОВА МУЖИКОВСТВУЮЩИЕ!

Заклинатель ломится напропалую. Для него, например, внешней реальностью, недостойной внимания художника, является и то, что больше половины советских людей сегодня живет в городах. Он доверительно сообщает, что «крестьяне — наиболее нравственно самобытный народный тип», и с нажимом произносит слово «мужик», видя только в мужике истинно народный характер. «Главное, — пишет критик, — чтобы, скажем, в деревне, жил не просто производитель хлеба, а мужик, который духовно-бытовой оригинальностью своей так бы запомнился нам...» Автор статьи, судя по всему, заскучал по ушедшей в прошлое деревне. Даже близкий ему по духу поэт затосковал:

О грусть моя по веку мужика,
По тем спокойным деревенским селам...

Еще года полтора назад критики брали слово «мужик» в кавычки; теперь и кавычки стали роскошью: идет активный поиск новой, мужичьей правды. Вот, например, как другой стихотворец, приехав в родную деревню, тоже ищет земляных откровений:

Без мирской суеты, фарисейства,
В доме с ликами старых икон —
Здесь мое проживает семейство,
Пашет землю и пьет самогон.
В небесах поседевшие пряди.
В поле звон родниковой струи.
И навстречу протянет мне правда
Заглубившие руки свои.

«Почему так много говорят слова: «русский мужик»?» — начинает философствовать зачинатель. Он искренне убежден, что, например, в Мещере живет «настоящий мужик», которого отличает прежде всего «душевная крепость». К себе в союзники критик вербует не только Льва Толстого, но и Мишеля Монтеня, французского мыслителя. Последнее время в «Молодой гвардии» любят глубокомысленные исторические параллели: например, напоминают, что «одной из причин падения нравов, морали в Римской империи историки считают то, что стала оскудевать итальянская деревня — этот питомник доблестных римских легионеров».

Перебирая разного калибра двусмысленности в разделе критики журнала, обнаруживаешь неожиданное пристрастие к застывшему, ушедшему в прошлое деревенскому укладу.

Послевоенные судьбы сельских жителей, нелегкие, порой драматические, не замечаются зачинателями. Они ищут другое: «неизменные», «исконные», «корневые» нравственные устои, ищут некую идиллию... «Человек из массы, из народа по-прежнему остается хранителем искони присущих ему высоких нравственных качеств...» Тут надо только помнить, что, говоря о народе, зачинатель имеет в виду деревенского жителя. Специально разъясняется, что корневое означает народ, а еще точнее — крестьяне.

Ох, уж эти поиски посконного народного начала, того, что «смутно брезжит в каждой русской душе!» С каким-то болезненным сладострастием зачинатели сбрасывают с себя все современное, городское, интеллигентское и тянутся к «обнищанию, опрощению, самоупраждению, нисхождению». Русская интеллигенция (а не интеллигентствующие фразеры) всегда осознавала себя народной совестью, народным разумом, и негоже сегодня вполне интеллигентным товарищам совлекать с себя ризы, чтобы найти мистифицированный народный дух... «Все мы народ, — говаривал Чехов, — и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Трудами своими народ пестовал Ломоносова и Лобачевского, Пушкина и Горького, связывая с ними свои надежды и мечты о будущем. Так неужто возвратимся назад, ища в прошлых веках исконного народного начала? Разве академики Курчатов и Королев не воплощали в себе лучшие черты сегодняшнего народного сознания, в котором живет память об изумительных мастерах, создавших храм Покрова на Нерли или собор Василия Блаженного в Москве...

Эпигонско-славянофильское представление о народе и народности, лелеемое зачинателями, ведет к предвзятому прочтению многих литературных произведений, к ложному толкованию русского искусства.

Если зачинатель хочет похвалить книгу, он подтягивает ее к своим смутным идеям о народе. Если хо-

чет разругать, то побивает книгу теми же выхолощенными заклинаниями. И в том и в другом случае проявляется редкостная эстетическая глухота, такая вольность суждений, а иногда уже ни на что не посягающая безграмотность. О рассказе Василия Аксенова «Маленький Кит — лакировщик действительно» критик пишет, что «в рассказе трудно почувствовать какую-то внутреннюю задумчивость о маленькой человеческой судьбе». Не касаясь странной грамматической формы «задумчивости о», можно напомнить, что рассказ тот все же не о мальчике и никакой задумчивости по поводу мальчика там не могло быть. Помнится, как заклинатель в свое время разбирал «Братскую ГЭС» Евг. Евтушенко и, отвергая даже малейшие достоинства поэмы, с порога утверждал, что автор поэмы просто «уводит от гражданственности». Вместо того, чтобы анализировать гражданскую направленность произведения (она может быть прогрессивной или реакционной, ошибочной или противоречивой), критик объявляет, что ее просто не существует в поэме.

А как иные критики в «Молодой гвардии» хвалят? Ну, например, рассказ Евгения Носова «За долами, за лесами», который совсем не укладывается в формулы заклинателей. Упомянув о пронзительной картине брошенной вологодской деревушки, заклинатель вздыхает: «Грустно читать это, и все же (как бодренько звучит это «все же») — **Вл. В.**) рассказ написан не об этом, а о красоте вологодского края, о журавлиных криках, о тихой, бессловесной любви к земле оставшихся на ней людей...» Обратись критик к реальному содержанию рассказа, а не к абстрактной вытяжке, ему пришлось бы заговорить о действительных заботах народа, а не только о спасительном «духе».

Странно выглядит и история русской живописи в сочинениях, озаглавленных «Письма из Русского музея» (1966, №№ 9—10). Автор любовно всматривается в волнующие творения древних русских художников, раскрывает их обаяние и мастерство, говорит о великих культурных традициях нашего народа. («Юность» наряду с другими в свое время уже отмечала положительные качества «Писем из Русского музея».) В самом деле, пока речь идет о русском зодчестве, о русских иконах, автор безупречно прав. Но дальше? Весь русский XVIII век — гениального Левицкого, талантливейших Рокотова и Боровикова — автор писем не принимает всерьез. Зато крестьянский жанр Венецианова вызывает у автора «Писем» «ликующий взвизг, как если бы за чинным столом, за которым вам скучновато, вдруг кто-нибудь встал и сказал бы какую-нибудь бесшабашную дерзость».

Согласен, талантливые «Письма из Русского музея» принадлежат не профессиональному искусствоведу. В юнцы концов это дело вкуса: одним нравятся Левицкий, другим — Венецианов. Автору «Писем», например, очень по душе дореволюционный Нестеров — картины «Христовы невесты», «За приворотным зельем», «Видение отрока Варфоломея», «Пустынник»... Дороги ему сказочные сюжеты В. Васнецова, некоторые полотна Врубеля. Из всего Сурикова автор отдает предпочтение «Взятию снежного городка». Все это не предмет спора. Но вот зачем ради возвышения одних великих живописцев охаивать других, столь же даровитых, — непонятно.

Все, что после Венецианова — от Федотова до Крамского и Репина включительно — вызывает неприкрытое презрение автора, ибо там отсутствует то, что называется словом «дух» (!). Весь послеенециановский «русский жанр, расцветший махровым цветом, приобрел отчетливый оттенок фельетона в на-

шем современном понимании этого слова... Куда там хороводы и сельские мирские сходы, где столько «поэзии, игры страстей, сильных движений!» У нас уж если свадьба, то или приход на сельскую свадьбу колдуна, или неравный брак. Можно подумать, что благополучных свадеб и равных браков не совершалось вовсе. Мы уж не могли разговаривать друг с другом без того, чтобы не ущипнуть. Но что правда — то правда. Именно вслед за Венециановым хлынул в нашу живопись развлекательный, обличительный, с подковыркой, фельетонного направления жанр».

Ужели федотовский «Анкор, еще анкор!», репинский «Крестный ход в Курской губернии» или «Курсы» Ярошенко и его же портрет Стрелетовой — это развлекательный или фельетонный жанр? О какой подковырке говорит автор писем, уничижая чужестранцев, много сделавших для народа в условиях полукрепостнической России? Ведь в письмах русских художников часто слышатся почти стоны. Послушайте хотя бы письмо Крамского 1878 года к П. Третьякову:

«...Ужасное время. Точь-в-точь в запертой комнате, в глухую ночь, в крошечной тьме сидят люди и только время от времени кто-то в кого-то выстрелил, кто-то кого-то зарезал; — но кто, кого, за что? — никто не знает. Неужели не поймут, что самое настоящее — зажечь огонь?.. Неужели Аксаков прав, говоря в конце эти ужасные слова: «замолчите, честные уста...»

Печально, что почти сто лет спустя нашелся человек, для которого мучительные искания истины, добра и красоты предстали таким развлекательным пустячком, фельетоном с подковыркой, страшно далекими от русского духа. Да, были у нас художники, которые больше заботились о сюжетах, нежели о живописном качестве своих полотен. Но ведь не все же — от Федотова до Крамского! Заклинатель спекулирует на нашем сегодняшнем, трезвом отношении к традициям русской живописи, которые отнюдь не ограничиваются школой передвижников или иконописью, и — доводит дело до нелепости.

«ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ»

Читая рассуждения заклинателей о народном духе, невольно вспоминаешь пустоплясов из щедринской сказки «Коняга», которые разгадывали загадку Коняги и объясняли его выносливость и долготерпение тем, что у него «жизнь духа и дух жизни» действует.

Пустоплясы появляются около всякого большого дела. Наши заклинатели выросли тоже не на пустом месте; они спекулируют на некоторых сторонах литературного процесса.

Советские писатели в последние годы много сделали для многогранного художественного исследования народной жизни, показали естественный в социалистическом содружестве рост национального самосознания народов, объединяющие их чувства интернациональной близости. Своеобразны, например, пути киргизского, казахского или эстонского народов к революции; и произведения Ч. Айтматова, А. Нурпеисова, А. Хинта помогли еще лучше почувствовать неповторимые судьбы народов-братьев. Столь же внимательно советские писатели изображают сегодня жизнь русского народа, стремятся донести громадные духовные ценности, выработанные им. И когда журнал «Молодая гвардия» в лучших произведениях прозы, поэзии, в разделе «Берегите святыню нашу» отстаивает советский патриотизм, не

забывая о русской национальной гордости, о русском патриотизме, это заслуживает поддержки. Но зачем же доходить до русофобии? Право, зря зачинатели вздыхают о «загадке России», об избранничестве доле русского народа...

Они словно не знают о социалистическом мировоззрении современного русского (равно как украинского, белорусского, грузинского, любого другого) советского человека, что и приводит их в таких случаях к размыванию принципов пролетарского интернационализма. Время подтвердило ленинскую мысль о том, что «для революции пролетариата необходимо длительное воспитание рабочих в духе полного национального равенства и братства». Там же, в статье «О национальной гордости великороссов», В. И. Ленин писал, что интерес «национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев» (т. 26, стр. 110).

Напомнить эти общеизвестные истины понадобилось потому, что некоторые критические статьи, появившиеся в «Молодой гвардии», создают ложное представление о позициях комсомольского журнала в сегодняшней идейной борьбе.

Социально-психологический анализ, проводимый нынешними прозаиками, помогает представить подлинный нравственный облик народа — в заводском цехе и научной лаборатории, в таежном поселке и на полевом стане. Литература раскрывает сложную картину нравственных отношений нашего общества. Многие умозрительные схемы, бытовавшие в прозе и критике, оказались несостоятельными, как только писатели начали проникать в духовный мир каждого человека. Не случайно современная критика доказывает, сколь необходимо художественное исследование людей, находящихся на различных ступенях идейного, нравственного, эмоционального развития. Для этого художникам понадобился трезвый анализ социальных условий и психологии людей.

Сегодняшняя литература заново осмысляет исторический опыт народа в его многовековом развитии. Она бережно доносит до нас лучшие нравственные ценности, выработанные десятками поколений, прежде всего чувство непрерывности народной жизни, связи времен, столь остро ощущаемое в годы испытаний и в дни великих праздников. Талантливые писатели всегда понимали это. Ольга Форш писала М. Горькому в 1926 году о неразрывности вчера и сегодня: «Живое все ведь забирается и живет. И хоть мы только сейчас, но века — в нас (а не сами по себе, как полагалось раньше)». Так называемая новая деревенская проза талантливо продолжает эту традицию (Е. Носов, В. Белов, М. Рошин, В. Шукшин, В. Цыбин, И. Минутко).

Писатели ведут труднейшие творческие поиски, утверждая независимость, самоценность народного самосознания (книги М. Шолохова, Л. Леонова, В. Фоменко, С. Залыгина); им бы помогать, как говорили встарь, спешествовать, а не — нашлись критики, которые хотят выхолостить плодотворные искания литературы, противопоставить «землю и асфальт»,

столкнуть лбами талантливых художников. Похоже, что зачинатели хотят уподобиться одному незадачливому историку литературы, который в прошлом веке группировал писателей по душевному родству. По этому поводу Г. Гейне замечал, что писателей можно классифицировать также «по их запаху: — те, что пахнут табаком, те, что — луком, и т. п.».

Любая истина, изымаемая из конкретных условий, становится догмой, которая неплохо служила юродствующим во все времена. Провозглашая общие фразы о народном духе, зачинатели забывают о живом, отдельном литераторе с его творческими радостями и муками, не высказанными до конца надеждами и сомнениями. Зачинатели любят цитировать Федора Достоевского; потому напомним им слова одного доктора, который признавался старцу Зосиме в «Братьях Карамазовых»: «...чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц».

Бить себя в грудь и клясться в любви к советской литературе — дело спокойное и беспроблемное. Куда труднее любить талантливых писателей «порознь, как отдельных лиц».

Провозглашать общие принципы социалистического реализма — занятие нехитрое. Куда сложнее видеть, как в книгах, появляющихся сегодня, известные принципы изменяются, развиваются, обогащаются. Социалистический реализм не сумма готовых прописей; он каждый раз заново осмысливается в творчестве крупного художника. Но некоторым критикам из «Молодой гвардии» не до того: они больше пекутся об утверждении своих вчерашних и позавчерашних высказываний, нежели о литературе.

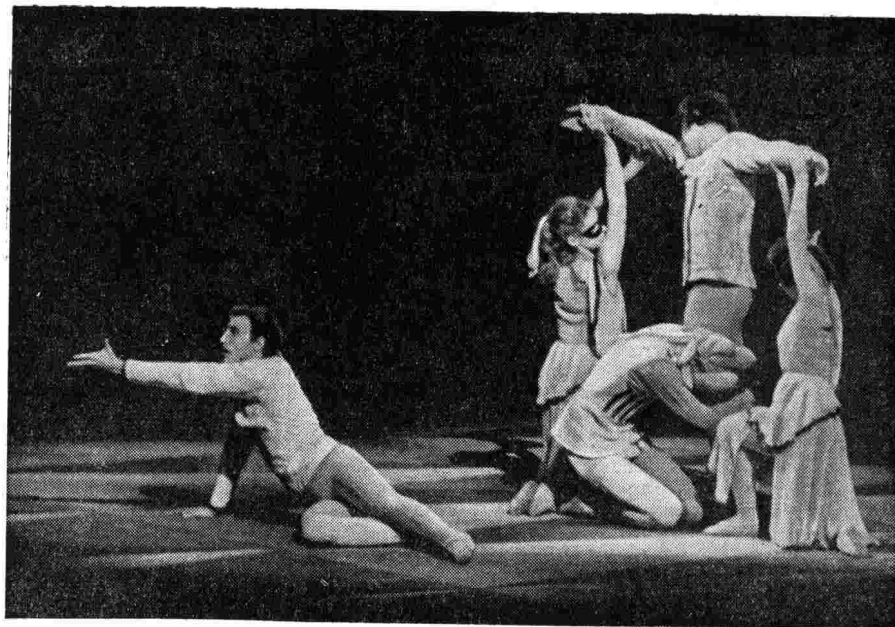
Впрочем, зачинатели, кажется, начинают понимать, что литература проходит мимо них. Даже и те талантливые писатели, которых вроде бы опекают в «Молодой гвардии», очень далеки по основным идеям своего творчества от зачинателей. И потому зачинатель готов возложить на свою голову мученический венец, готов даже пострадать за будущую русскую литературу, ибо настоящая раздражает его. В сегодняшней советской литературе его не устраивает многообразие стилей, творческих манер и направлений. Зачинатель страдальчески иронизирует по этому поводу:

«Все — писатели, и не важно, что разные «стили»... Даже наоборот — «многообразие стилей». Даже не важно, что в читателе одни что-то укрепляют, а другие разлагают. И вообще, не разложение ли такое смешение?.. Но, впрочем, — вздыхает зачинатель, — всему свой черед, и в самом деле иногда чем хуже, тем лучше».

Таковы наши зачинатели. Можно было бы совсем не называть их имен, потому как в своих духовных разминках они теряют лицо, индивидуальность, неповторимость своего облика (за исключением, пожалуй, очень одаренного автора «Писем из Русского музея»). Но читатель любознателен, и для него назовем некоторые имена: П. Глинкин, М. Лобанов, В. Семенов, Вл. Солоухин. Они и цитировались здесь.



Наталья
Лагина



«МОЛОДЕЖЬ— ТЫ МОЕ НАЧАЛЬСТВО...»

Когда я думаю о Большом Сибирском оперном театре, мне всегда вспоминаются эти светловские слова.

Помнится первая встреча с театром пять лет назад, когда праздновалось семидесятилетие Владимира Маяковского и в честь его новосибирцы показали яркие спектакли по «Патетической оратории» Георгия Свиридова и комедии «Клоп».

Театрализация оратории — жанр новый, он впервые появился тогда на советской оперной сцене и говорил, конечно же, об устремленности, дерзости его создателей. И каждый, кто был на этом спектакле, не мог не ощутить его молодого пульса.

...Жаль, немногим удалось в то время послушать оперу «Клоп». Но был «Борис Годунов», был моцартовский «Дон Жуан». Кто-то из музыкальных критиков тогда очень верно заметил, что о творческой зрелости театра надо судить прежде всего по тому, как он ставит классику, и «Дон Жуан» может быть особенно показательным в этом смысле... «Дон Жуан» — одна из самых лучших премьер новосибирцев. Но неоднократно говорили, что все-таки о Большом Сибирском надо судить не только по классике. Справедливость этих слов я поняла, когда в маленьком зале Кишиневского Дома кино молодой композитор Эдуард Лазарев показывал снятый Новосибирской телестудией фильм по его опере «Клоп». Московские музыканты и литераторы с сомнением покачивали головами, узнав, что новосибирцы «посягнули» на Маяковского, да еще в опере. (Кстати, никто не сомневался в том, что Маяковский будет удачен в ба-

лете — видимо, потому, что музыку к «Барышне и хулигану» написал Шостакович.) А кто знал в те дни выпускника Московской консерватории Эдуарда Лазарева? Единичны. Имя — новое. Сатира Маяковского в опере — впервые... И композитор и театр — все волновались страшно. Но смелый эксперимент полностью оправдал себя. После знакомства со спектаклем скептиков не было.

Театрализация оратории, опера «Клоп» — два спектакля, два открытия. Они не единичны в практике Новосибирского академического театра оперы и балета. Видимо, не случайно коллектив этот немножко высокопарно называют лабораторией советского музыкального театра. Даже апробированные временем и столичными постановками произведения здесь решают по-своему, по-новому, и композиторы — как маститые, так и совсем молодые — охотно работают над новыми редакциями своих сочинений, потому что, во-первых, это оказывается на пользу сочинениям (например, оперы А. Спадавеккиа «Овод» и Т. Хренникова «Безродный зять»), а во-вторых... Не только во-вторых, но и в-третьих, в-четвертых, в-пятых... вернемся к примеру с Эдуардом Лазаревым. Ему было двадцать шесть лет, когда он написал своего «Клопа». Написал и принес в Большой Сибирский. Почему? Знал, как и многие, что этот театр (как далеко не многие) доверяет молодежи.

Смерть Меркуцио. Сцена из балета «Ромео и Джульетта».

Фото А. Степанова.

Театр принял оперу Лазарева, поставил ее. И она стала не только театральным дебютом композитора, но и дебютом многих ее других участников.

Балетмейстер О. Виноградов. Тот, что поставил в минувшем сезоне балет «Асель» в Большом театре СССР? Он самый. Танцы в «Клопе» были его первой пробой сил в балетной режиссуре. Он приехал в Новосибирск из Ленинграда. Солист балета, кроме того, одаренный художник. Сначала ставил танцы в операх, затем как художник оформил два спектакля в оперетте, был ассистентом режиссера при постановке «Патетической оратории». В двадцатилетнем возрасте (сейчас Виноградову тридцать) ему доверили ответственную и сложную постановку прокофьевской «Золушки». Решение руководства театра было, безусловно, смелым: на сцене, где шли балеты в постановке лучших хореографов страны — Ю. Григоровича, К. Сергеева, И. Бельского, — двое дебютантов сочиняли свою, не похожую ни на одну из предыдущих, в том числе и ставших каноническими, версию этого балета. Двое? Да, Олег и молодой московский художник Валерий Левенталь (тогда его имя еще ничего не говорило ни театральным деятелям, ни даже художникам). Их «Золушка» стала событием в советском балете, как чуть позднее их же «Ромео и Джульетта». И хореограф и художник дерзко заговорили своим, остро современным выразительным языком. Задачи, которые они ставили перед исполнителями, требовали безупречной техники и незаурядных драматических данных. Не каждый может успешно справиться с ними. Новосибирцы справляются.

Один дебют влечет за собой другой, в результате — фейерверк ярких дебютов. Татьяна Васильева — Золушка. Это была первая роль юной выпускницы Ленинградского хореографического училища, недавно ставшей лауреатом премии Анны Павловой во Франции. Как органично вошла она в причудливый мир хореографии О. Виноградова, будто бы даже и не замечая трудностей, тающих буквально на каждом шагу! Сложно? Этот вопрос не стоял перед Таней. Но она ответила на него своей Золушкой, как и ее партнер Никита Долгушин, получивший золотую медаль на конкурсе классического танца в Варне... Мне могут возразить, сказав, что я привожу в пример танцоров с признанными у нас и за рубежом именами. Ну, а те, что пока не имеют высоких титулов?.. Что ж, много и таких. Евгений Поляков (Меркуцио), Павел Сталинский (Тибальд) в «Ромео и Джульетте», — кстати, они совсем недавние дебютанты.

Лучшие консерватории и хореографические училища страны направляют в Новосибирск своих воспитанников. Здесь скрестились, рождая интересный творческий синтез, ленинградская и московская балетные школы. И, что греха таить, не успеют здесь вырастить интересного исполнителя, как его забирают в Москву или Ленинград. Забирать-то забирают, но в последние годы все труднее уговорить молодого певца или танцора расстаться с Большим Сибирским. Работать здесь все интереснее. Это, кстати, связано и с приходом в театр режиссера Эмиля Пасынкова. Он успешно начал свой творческий путь постановкой «Катерины Измайловой» в Ленинградском Малом оперном. В тридцать лет стал главным режиссером в Новосибирске. Часто ли мы встречаемся с подобным? Мягко говоря, не очень. Скорее это исключение, подтверждающее общее правило: творческими руководителями театров становятся люди «в возрасте». За восемь лет работы в Большом Сибирском Э. Пасынков поставил десять спектаклей, в том числе «Клопа», «Патетическую ораторию», «Дон Жуа-

на», «Годунова»... Кроме того, что он смело поручал центральные партии совсем юнцам, едва пришедшим в театр со свеженькими консерваторскими дипломами, он нашел еще и другой путь в поисках молодых исполнителей: ведя оперный класс в Новосибирской консерватории, Э. Пасынков, естественно, не упускал из виду ни одного одаренного вокалиста. Так, тенор Валерий Егудин, интересно выступавший в «Клопе» в роли Олега Баяна, был во время дебюта еще студентом, а диплом свой защищал на сцене Большого Сибирского в «Пиковой даме».

Итак, в спектаклях театра заняты и студенты. Я слышала двоих из них в недавней премьере новосибирцев — лирической, с фольклорной мелодикой опере Георгия Иванова «Алкина песня». Это даже по-своему символично, что в первой опере, созданной молодым новосибирским композитором и рассказывающей о сегодняшней молодежи сибирского села, выступили стажеры Ольга Миროнова и Владимир Урбанович. Они-то, между прочим, и оказались главными героями оперы, хотя задуманы были композитором и либреттистом как персонажи второплановые. Хорошие голоса? Да, и очень. Хорошие сценические данные? Безусловно! Умная, тщательная режиссерская работа? Еще бы!.. А теперь спросите: откуда в Большом Сибирском берутся молодые артисты, уже в двадцать два года исполняющие самые трудные партии, а к тридцати — охватывающие весь репертуар? Откуда? Их ищут заранее, их рано приводят на профессиональную сцену, воспитывают здесь, дают неограниченную возможность творить, выдумывать, пробовать, не снижая доверия к ним, когда молодым, естественно, не все сразу дается. Ищут. Да еще как! Лесю Шевченко, например, отыскали в Одесской консерватории и не дали даже доучиться на последнем курсе: она поедет за дипломом, спев героиню оперы «Алкина песня».

«Алкина песня» познакомила меня с еще одной особенностью театра: здесь напрочь изгнана какая бы то ни было ориентация на «звезды». Еще вчера, например, я слушала Зинаиду Диденко (она всего два года в театре) в партии Дездемоны, завтра услышу в «Дон Жуане» (Эльвира), а сегодня — в крохотной, типа «Кушать подано!», роли деревенской девчонки-сибирячки. То же самое — в балете: я видела Таню Васильеву в маленькой партии принцессы Флорины («Спящая красавица»), а на следующий день она танцевала героиню — Аврору...

Мы часто, иногда даже слишком часто, употребляем слова «молодежный театр». Иногда единственным аргументом для нас является наличие одаренной молодежи в труппе. Мне кажется, что один из театров, имеющих полное право называться молодежным, — Новосибирский академический. Кстати, самый молодой из академических театров Советского Союза.

...Не сказано еще очень многое: например, о спектаклях новосибирцев, в афишах которых стоят три слова — «Впервые в СССР» (хотя бы «Доктор Айболит»), о постоянных поездках по всем молодежным стройкам Сибири (не случайно театр удостоен звания почетного строителя Комсомольска-на-Амуре), об успехах творческой молодежи театра на международных конкурсах...

Но пора кончать, а то меня, пожалуй, еще упрекут в предвзятом отношении к Большому Сибирскому. Впрочем, я не боюсь такого упрека: те, кто видел или слышал новосибирцев, согласятся со мной, не сомневаюсь...

Л. Левин

«ПРОЩАЙ. ПОЕЗДА НЕ ПРИХОДЯТ ОТТУДА...»



Владимир Антокольский.

Я познакомился с Павлом Григорьевичем Антокольским в 1935 году, долгие годы внимательно следил за его работой в литературе, но мысль написать о нем критический очерк пришла мне в голову лишь в 1965 году, незадолго до его семидесятилетия.

Когда в связи с моей работой над этим очерком мы с Антокольским стали встречаться, я первым делом спросил, в каком состоянии его архив. Павел Григорьевич ответил, что архив обширен, но не разобран и не упорядочен. С особенным огорчением рассказал он о том, что потерял ключ от небольшого кованого ларца, где хранятся материалы, связанные с жизнью и смертью его сына Володи Антокольского, а также с поэмой о нем.

В свое время, скорей всего в 1945 году, Антокольский запер ларец и решил, что до конца жизни не откроет его и, может быть, даже завещает, чтобы после его смерти ларец еще некоторое время оставался закрытым. Связка с ключами, где был и ключ от ларца, всегда находилась на виду и лежала под руками. Но в 1956 году связка пропала. Найти ее так и не удалось.

Много лет к ларцу никто не прикасался. Хозяин не делал этого сам и другим не позволял. Не раз к Антокольскому обращались с просьбами опубликовать те или иные материалы, связанные с поэмой «Сын», но Павел Григорьевич каждый раз наотрез отказывался. То, что связка ключей пропала, было кстати и служило удобным предлогом для прекращения дальнейших переговоров...

При каждом свидании с Антокольским я с вожделением поглядывал на заветный ларец. Новые поиски ключей ни к чему не привели. Но я не терял надежды и всякий раз заводил разговор на эту тему.

Однажды, когда я опять пришел к Антокольскому, Павел Григорьевич встретил меня, как всегда, в прихожей, но я невольно почувствовал, что он чем-то взволнован.

— У меня хорошая новость, — коротко сказал он.

— Ларец? — спросил я.

— Он самый, — кивнул Антокольский и указал на стол. Ларец стоял на обычном месте, но крышка его была откинута.

Оказалось, что накануне Павел Григорьевич съездил в слесарную мастерскую, где ему в конце концов подобрали ключ.

Я остался наедине с ларцем. То, что в нем хранилось, превзошло все мои ожидания. Передо мной от начала до конца прошла восемнадцатилетняя жизнь Володи Антокольского. Я стал свидетелем того, как он учился, рос, как погиб на войне, как возникала и писалась посвященная ему поэма. Все, что я нашел в ларце, дышало неподдельной правдой жизни и смерти, породившей такую же неподдельную правду искусства.

Больше четверти века назад, на втором году войны, вышла маленькая книжечка Антокольского, озаглавленная «Железо и огонь». В ней было посвящение, вставленное в последний момент вместо титульного листа: «Светлой памяти моего сына младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского».

Как же это случилось?

«Все происходило точно так, как написано в поэме о нем», — говорит Антокольский в своей автобиографии.

Володя родился 22 октября 1923 года. Известно, кем бы он стал, если бы ему была суждена долгая жизнь, но пока что на одной из московских улиц рос обыкновенный мальчик, похожий на тысячи своих сверстников. Все в его короткой жизни было типично в самом высоком и точном смысле этого слова.

Вот строки из первого письма двенадцатилетнего Вовы Антокольского: «Дорогой папа! Чувствую себя хорошо, читаю книгу «Дети капитана Гранта». На «Риголетто» нас не пустили, потому что я мал».

Вот школьная тетрадка пятиклассника Володи: «Урок № 1. Тема урока: что такое история и откуда

мы узнаем наше прошлое». Ниже старательным, крупным почерком выведено: «Жизнь первобытного человека. Египет. Ассирия. Финикия. Палестина. Персия. Индия. Царство Чжоу». Здесь же рисунки, сделанные карандашом, а иногда и красками: первобытная мотыга, хижина на сваях, финиковая пальма, таран. А на внутренней стороне обложки — с необыкновенной любовью вычерченный автомобиль. Судя по всему, это «ЗИС-101», являвшийся тогда новинкой. Видимо, о нем думалось и мечталось в то время, как учитель рассказывал о жизни первобытного человека...

А вот отрывки из писем, отправленных Вовой летом 1936 года из Коктебеля (привожу их с сохранением орфографии и пунктуации оригинала): «Здесь живет известный философ Асмус который привез с собой телескоп в который мы наблюдаем вечером звезды, Луну и Юпитер», «Недавно нас Мария Степановна¹ водила в каньоны которые мне очень понравились», «Прочел я тут очень много книг и очень интересных, сейчас я читаю Конан-Дойла «Предсказания профессора Челенджера». Убавил я свой вес почти на четыре кило, а вырос на три сантиметра»...

Наконец, вот школьные дневники ученика восьмого и девятого классов. Классный руководитель пишет: «Переводится в девятый класс, как хороший ученик». В то же время мальчишка остается мальчишкой: «На уроке литературы болтает — предупреждаю», «Несмотря на предупреждение, дисциплину нарушает», «Дисциплина сбавлена: играл на уроке литературы в шахматы», «Дисциплина плохо за прогул — ушел с урока литературы».

Чаще всего Володя вел себя плохо на уроках литературы. Тем не менее годовая его отметка по литературе — «хор», а по дисциплине — даже «отл». Примерно такие же отметки он получает и в девятом классе (неизменные «отл» по алгебре, геометрии, географии, «хор» по русскому языку, литературе, физике, химии и единственное «пос» по немецкому языку). Но опять-таки во всем еще виден мальчишка: «Конец второй четверти!!! Ура!!!», «Конец каникулам! Увы!!!»

Каникулы кончились, но сильно похолодало, в школу можно не идти: «Мороз. Ура!»

15 июня 1941 года Володя кончил школу. Через несколько дней после начала войны он уехал по призыву райкома комсомола рыть противотанковые рвы. Последний год его жизни подробно воссоздают письма отцу, а также дневниковые записи, начатые отцом 20 мая 1942 года.

Прямо со школьной скамьи мальчик шагнул в войну. Беззаботное арбатское детство оборвалось разом и навсегда.

И вот уже Володя пишет сдержанные «мужские» письма с трудового фронта: «Чувствую я себя хорошо, правда, немного устаю. Но это ничего — привыкаю», «Чувствую себя прекрасно, много купаюсь, загорел и даже обгорел. Я, наверное, больше поправлюсь за это время, чем устану», «Обо мне не беспокойтесь, я оказался очень приспособленным, как ни странно. Со мной ничего случиться не может».

Антокольский записывает в своем дневнике: «В середине августа, часов в девять утра, в дверь раздался стук, и в переднюю ввалился Вова с пыльным рюкзаком — худой, загорелый, грязный, но поздоровевший».

А в конце сентября пришла повестка из райвоенкомата. Володя был призван и направлен в ташкентскую школу летчиков. «Сейчас мы подъезжаем к

Сызрани... Сним по два на полке вальетом. Это очень удобно», «Подъезжаем к Оренбургу. Думал ли я, что когда-либо сюда занесет меня судьба» — эти строки Володя писал отцу по дороге в Ташкент. Но в Ташкенте он пробыл всего двенадцать часов. Его направили в Алма-Ату. Отсюда он сообщал Павлу Григорьевичу, находившемуся тогда в Казани: «О себе писать мне нечего. И я не люблю о себе писать. Живу хорошо. Учусь. Правда, я не попал в Ташкент, но все же буду летчиком».

Именно тогда Антокольский написал стихотворение «Мой сын»:

Лети. Будь смелым. Каждый лист газетный
Похож на встречу новую с тобой:
В порывах туч, во мгле передрагнетной,
В любом краю, в республике любой.

Но Володе не суждено было стать летчиком. Из Алма-Аты его перевели в Чарджоу. «В Алма-Ате мы жили неважно, — признавался он задним числом. — Вообще в армии все зависит от самого тебя, как ты сумеешь себя проявить. 19 ноября мы приехали в Чарджоу... Здесь несравненно лучше, чем в Алма-Ате, или просто здесь хорошо. В такое время лучше жить нельзя... Учиться еще не начали, но скоро начнем. Летать теперь я не буду. Переквалифицировали нас... Но опять повторяю, ничего не вечно. Сегодня я будущий летчик, а завтра, как знать, может быть, еще что-нибудь».

Володя словно в воду глядел: в Алма-Ате его собирались учить на летчика, в Чарджоу — на авиамеханика, а затем перевели в Фергану, где стали учить на артиллерию.

16 января 1942 года Володя писал в Москву: «Дорогой папа, уже 15 дней живу в Фергане... Здесь, как я уже писал, хорошо. Начались регулярные занятия. Это после трех месяцев скитаний. Наконец-то. Так хотелось иметь свою кровать, свое определенное место. Теперь я это имею. А в Чарджоу не имел. Три месяца спал на полу».

Опять-таки задним число выясняется, что не только в Алма-Ате, но и в Чарджоу было нелегко: «Как можешь себе представить, я за эти три с половиной месяца много переощущал. Бывал иногда голоден, иногда, наоборот, нажирался. Иногда очень уставал — не спал сутками, иногда ничего сутками не делал — спал. Раз сильно болел, валялся на полу. Это было в Алма-Ате. Теперь жизнь стала более ровной. Занимаюсь с удовольствием».

В Фергане Володя пробыл до мая 1942 года. Он часто писал отцу. Письма эти — свидетельство того, как мужала его душа, как сам собой копился армейский опыт, как отрок превращался в воина, готового к суровым фронтовым испытаниям.

«Учиться легко. Особой математики здесь не требуется. Все больше практика, а теории мало. Учиться еще порядочно. И трети еще не прошло. Но все же недалеко тот день, когда твой сын будет средним командиром» — так писал Володя, а за этими спокойными «мужскими» словами следовало чистосердечное мальчишеское признание: «Я тебе должен покаяться: курю воню»...

Почти каждое письмо проникнуто заботой о москвичах: «Жить вам в Москве, наверное, трудно. Ведь там морозы... И с продуктами неважно. Я же живу на всем готовом, всем обеспечен... Несколько мне перед вами неудобно».

Достаю из ларца обыкновенную школьную тетрадку, но на обложке ее уже не автомобиль, а противотанковое орудие. Под ним аккуратно выведено: «Артиллерия — 1942. 3 взвод 11 батареи. Антокольский Владимир». Это записи курсанта артиллерийской школы: «Рассеивание при ударной стрельбе»,

¹ Вдова поэта М. А. Волошина.

«Стрельба противотанкового орудия», «Правила стрельбы по танкам»...

Записи сделаны тем же мальчиком, что еще несколько лет назад старательно выводил: «История — наука, изучающая наше прошлое».

Как неузнаваемо изменилось решительно все: черк, судьба, жизни!

Об этой самой тетрадке в поэме «Сын» сказано: «Здесь вписан был закон артиллериста, святая математика огня». На последней странице тетрадки находились два маленьких рисунка, также упомянутых в поэме: «Дворец в венецианских арках. Тут же рядом под кипарисом пушка».

Дворец — это, видимо, Фергана, сегодняшний день Володи, пушка — его неотвратимо приближающийся завтрашний день.

Весной 1942 года Володя писал отцу: «Учиться мне осталось немного, не больше месяца. Потом будут стрельбы, потом экзамены», «У нас сейчас самое горячее время. Подводятся всякие итоги и т. д.», «Сегодня кончил учиться. Послезавтра начнутся экзамены. Продолжаться они будут всего четыре дня. Как видишь, кончается первый период моей службы. Начнется более ответственная и плодотворная пора», «8-го (мая. — Л. Л.) я сдал все экзамены. Вот уже несколько дней мы живем мечтой — поскорей бы отсюда выбраться. Жара началась нестерпимая, изнуряющая... Так хочется к себе в родную Россию, поближе к тебе. Твердо уверен, что увидимся. В этом я уверен».

В первых числах июня Володя приехал в Москву, чтобы через несколько дней отправиться к месту своего назначения — в Бронницы. Антокольский был в это время под Москвой, в одной из гвардейских дивизий. Вернулся он вечером 7 июня, а на другой день рано утром Володя должен был выехать в Бронницы.

«Начался разговор, — пишет Антокольский в своем дневнике 8 июня, — незначительный, легкий, безоблачный. Такой, как будто во всем мире ничего нет, кроме поздних ужинов близких людей. Ничего нет и не может быть... Как будто и завтра и послезавтра все так останется».

В тот же день вечером Володя вернулся из Бронниц, где получил назначение в действующую армию. 10 июня он уехал на фронт.

«Молчаливо, достойно, по-мужски, ничем не выдавая себя, пережил он и собственное волнение и мое, — записывает Антокольский. — Больше всего он заболтался обо мне — с удивительной деликатностью... Вечером мы пошли на Киевский вокзал... Около часа еще мы провалялись на привокзальной площади. Бродили взад и вперед, болтали обо всякой ерунде, стояли плечом к плечу. А он становился все дальше и дальше от меня... Внутри вокзала нас, гражданских провожающих, и вовсе не пустили. В темном вестибюле, на виду у караула и милиционеров, привыкших ко всяким видам, мы обнялись. — Ну, — говорит Вова, — а теперь давай по-мужски, — и, улыбаясь, протягивает мне руку. И вот он очутился по ту сторону двери, за спинами караульных. Постоял там несколько секунд. Лица не было видно».

Из действующей армии Володя прислал отцу две открытки — от 13 и 18 июня. Приведу их полностью.

Первая открытка: «Дорогой папочка, пишу около костра, варю кашу. Скитания наши продолжаются. Им не видно конца. Отсюда слышна оружейная стрельба. Но вообще очень спокойно и мирно. Прямо не верится, что в каких-нибудь десяти километрах передовые позиции. Второй день таскаемся по деревьям, ищем место своего назначения. Никто ничего не знает. Пока писать больше нечего. Я вполне

здоров. Все это довольно интересно до поры до времени. Целую тебя крепко. Твой сын Вова».

Вторая и последняя открытка: «Дорогой папочка, все пока очень хорошо. Попали мы втроем в одну батарею, в общем, составили ее. Прибыли мы 16-го вечером. Здесь днем спят, а ночью все дела делают. Все время постреливает артиллерия, но это мелочь, теперь не обращаю внимания. Люди нас окружают замечательные. Они в этой землянке, где я поселился, живут три месяца. Сложили печь, провели трубу. Стало уютно и тепло. Продукты мы получаем в сыром виде, сами варим. Сами так хотим, получать готовую пищу хуже, и потом стряпня — некоторое развлечение. Ведь сидеть в обороне, значит, почти ничего не делать. Выходить никуда нельзя. Сегодня получили картошку, кислую капусту, лапшу, крупу, мясо, рыбу, масло, сахар, печенье, хлеб и пр. мелочи. Сварили большой чугун кислых щей и утром съели, потом весь день спали. Теперь предстоит варка чего-то еще, чего мы еще не придумали. Беспokoюсь о маме с Кипсочкой¹, все же им надо как-то перебраться в Москву. Больно уж они далеко от нас. Ну вот пока и все. Пиши как можно чаще. Письма идут довольно скоро. Целую тебя крепко. Привет Зое. Твой сын Вова». На последней открытке — обратный адрес: Действующая Армия, ППС 134, 1130 стрелковый полк, батарея ПТО.

25 июня Антокольский записал: «Ну вот, наконец, пришло сегодня первое письмо от моего мальчика. Шло оно двенадцать дней, послано было 13-го, т. е. через три дня после отъезда из Москвы. Тогда он еще странствовал в поисках своей части. Где-то он теперь?»

Запись от 28 июня: «Еще одно письмо, шло десять дней». Затем идет полный текст последней открытки, только что приведенный выше.

1 июля Антокольский отправил Володе большое письмо. Подробно рассказав о разных домашних новостях, конечно, интересовавших сына, он перешел к самому главному: «Все это письмо оказалось пестрой коллекцией новостей, между тем, хотелось мне писать совсем о другом: о том, как ужасно тоскую о тебе, дорогой мой, и жалею, что так недолго пробыл ты сейчас в Москве... О том, как бесконечно жду твоих писем, товарищ лейтенант, как стараюсь по ним живо представить тебя в новой обстановке. О том, как каждый день и час желаю тебе здоровья, сил, бодрости и счастья».

Прошло две недели, и письмо вернулось. На конверте значилось: «Адресат выбыл 6-07-42. Старшина (подпись неразборчива)».

Может быть, Володю перевели в другую часть?

Но еще через несколько дней пришел маленький самодельный конверт — сложенный треугольником лист из школьной тетради в одну линейку: «Антокольскому Павлу Г. от товарища Вашего сына Антокольского Володи. Дорогие родители, я хочу сообщить Вам о весьма печальном событии. Хотя и жаль Вас, что сильно расстраиваться будете. Но сообщаю. Ваш сын Володя в ожесточенной схватке с немецкими разбойниками погиб смертью храбрых на поле битвы 6-го июля 1942 года. Но мы за Вашего сына Володю постараемся отомстить немецким сволочам. Пишет это Вам его боевой товарищ Вася Северин. Похоронен он возле реки Ресета — приток Жиздры. До свидания. С пламенным приветом к Вам В. Северин».

В феврале 1943 года, публикуя в журнале «Смена» сокращенный вариант поэмы о сыне, Антокольский привел часть этого письма в качестве эпиграфа.

¹ Детское прозвище сестры Володи, Наталии Павловны Антокольской.

Письмо Севрина пришло 15 июля. В тот же день Антокольский полностью переписал его в свой дневник вместе с коротким письмом, отправленным Севрину тогда же: «Очень прошу Вас, милый товарищ, сообщить, если можно, подробнее, как это случилось, как умер мой Володя».

За текстом писем следует запись — последняя запись в дневнике, посвященном сыну: «Вовы нет. Маленькая жизнь кончилась, не начавшись. Жизни его еще не было. Он не успел ничего. Только и успел, что вырасти здоровым, красивым, готовым для борьбы, любви, счастья. Всего этого ему не пришлось испытать. Ничего не пришлось испытать. Ничего, кроме расставания и первых впечатлений от страшной кровавой войны... Маленький, скромный, истинно-правдивый и честный человек почему-то, по грозной случайности природы, был моим сыном. Сначала он был детенышем, потом кудрявым хорошеньким мальчиком, на которого все заглядывались, потом школьником, скучал, рос, становился все лучше, все краше, все умнее; вырабатывался характер, воля, свой взгляд на мир... Все это кончилось, кончилось, кончилось навеки. Зачем я это пишу?»

На следующей странице дневника, как его прямое продолжение, начинаются первые наброски поэмы о сыне:

Пусть в этой книге, кажется, последней,
Которую напишет человек,
Его ребенок, взрослый сын, наследник,
Живой навеки, останется навеки.

Вскоре пришла похоронная. В ней сообщалось, что младший лейтенант Владимир Павлович Антокольский убит 6 июля и похоронен в Орловской области в семистах метрах восточнее деревни Сусея.

Пришел также перевод на сто рублей — эти деньги были найдены в кармане убитого Володи. Они пролежали в ларце около четверти века, эти десять старых червонцев, и теперь лежат передо мной вместе с похоронной и талоном к почтовому переводу. На нем штамп ППС 134.

Еще одно письмо пришло от Севрина. Он выполнил просьбу отца и написал о последних минутах жизни сына: «В один из июльских дней мы получили боевой приказ: двинуться в бой. Это было на приходе р. Жиздра—Ресета Орловской области. И в первой схватке его сразила вражеская разрывная пуля. Он лежал в окопе. И, по-видимому, хотел подойти к своему оружию. Только подвинулся с окопа и ему ударила в верхнюю губу — пробила и в полости рта разорвалась. И в этот же миг жизнь любимого товарища Володи закончилась. Похоронили его на берегу этой реки Ресета между четырьмя небольшими дубами».

«Дорогой Вася! — писал Антокольский 16 сентября. — Спасибо тебе за второе письмо о моем сыне, о его гибели... Ты столько сделал для меня своими письмами, что мне захотелось обратиться к тебе на «ты», как к родному сыну, — ты не обидишься на это? Милый дружок, если будет время и охота, напиши как-нибудь, о чем вы говорили с Володей, что он рассказывал. Ведь после 18 июня Володя ничего не писал мне, так что я совсем не знаю, как он прожил последние дни своей короткой жизни... Когда ты вернешься к мирному труду уже другим, взрослым человеком, будет у тебя любимая женщина, жена и подруга, достойная тебя. Пускай она родит тебе хорошего сына. Пожелаем этому будущему человеку — никогда, никогда не воевать, жить и жить на зеленой, свободной советской земле, под солнцем великой ленинской правды, за которую сегодня льется кровь».

Читатель, вероятно, уже догадался, по какой горе-

стой и тяжелой причине это письмо сохранилось в архиве Антокольского.

Да, и оно вернулось в Москву с той же роковой надписью: «Адресат выбыл...» Вася Севрин прожил на свете на два с половиной месяца больше своего друга Володи Антокольского.

Так оборвалась последняя фактическая нить, связывавшая отца с жизнью и смертью сына.

В поэме М. Алигер «Твоя победа» рассказано об удивительной атмосфере военного братства, царившей в доме Антокольских на улице Щукина в годы Отечественной войны. В Доме Друзей, о котором говорится в поэме, нетрудно узнать дом Антокольских уже хотя бы потому, что он «стоит в переулке милом и глухом имени великого актера».

В военные годы квартира Антокольских превратилась в нечто среднее между литературным штабом и гостиницей для фронтовиков. Здесь кое-как поддерживалось тепло. Гостей угощали кружкой черного кофе без сахара и куском черного хлеба с солью. Сюда приезжали прямо с фронта, чтобы немного обогреться, а главное, чтобы вдохнуть тот воздух бессонного и неутомимого творчества, которым день и ночь дышал хозяин.

Здесь бывали, наезжая с фронта, Е. Долматовский, К. Симонов, М. Матусовский, В. Гольцев, здесь останавливались М. Бажан, С. Головановский, А. Первомайский, здесь рассказывали о буднях блокадного Ленинграда Н. Тихонов и Н. Браун, здесь находили приют и оказавшиеся бездомными москвичи, например, А. Фадеев. «И стоял в доме веселый гам, и рюкзак на полу лежали»...

Теперь «веселый гам», царивший в доме на улице Щукина, сменился безысходным горем.

Духота смыкается кольцом,
глушит крик бессилие, как вата,
Небеса разверзлись над отцом
немцами убитого солдата.
Роет яму для него беда,
вешает ему на шею камень...
Мы его не пустим никуда!
Дверь замкнем и вцепимся руками.
Дружество — дикий талант —
будет нам испытанным оружием.
Младший братец, младший лейтенант,
спи спокойно, мы тебе послужим.

Эти слова, полные дружества и любви, могли бы повторить вслед за М. Алигер многие поэты, да и не только поэты, находившие приют в доме на улице Щукина.

Сила дружества помогала сердцу отца справиться с выпавшим на его долю безмерным горем.

Сердечное участие друзей, конечно, помогало, но оно, как и вообще ничто в мире, не могло воскресить Володю. Дать ему новую — на этот раз вечную — жизнь могло только творчество. И Антокольский с головой погрузился в работу над поэмой о сыне.

Я уже сказал, что посвященный сыну дневник Антокольского заканчивается первым наброском поэмы, и процитировал его первую строфу. Впрочем, вряд ли можно назвать это наброском поэмы в целом — здесь всего около сорока строф, если не считать приведенного полностью раннего стихотворения «На рождение младенца» («Будь смелым и добрым. Ты входишь, как в дом, во вселенную в гости» и т. д. — этим стихотворением Антокольский дебютировал в 1921 году в брянском альманахе «Художественное слово»).

Многое из первого наброска поэмы, содержащегося в дневнике, вошло впоследствии в ее окончательный текст.

Так или иначе работа над поэмой началась сразу после гибели Володи — летом 1942 года.

Осенью 1942 года Антокольский вновь связался со

своим детищем — горьковским колхозным театром, который теперь стал фронтовым. Еще в начале 1942 года он написал для него драматическую поэму «Чкалов». Осенние месяцы 1942 года театр вновь колесил по фронтовым дорогам Подмосковья. Клин, Калуга, Малоярославец... Ночуя в землянках и опустевших, полуразрушенных избах, когда усталые актеры спали вповалку мертвым сном, Антокольский писал свою поэму. Ее нельзя было не написать. Она стала для него не просто потребностью, но необходимостью. В ней он видел смысл своего существования, своей жизни на земле.

Возвращаясь в Москву, он вез с собой восемь глав из задуманных десяти.

В 1943 году «Сын» был напечатан сначала в одном из февральских номеров журнала «Смена», а затем — полностью — в июльско-августовской книге журнала «Знамя».

Когда я перечитал поэму теперь, после знакомства с содержимым заветного ларца, передо мной вновь, но уже в поэтическом преображении прошло то, что я узнал из переписки отца с сыном, из дневников, посвященных сыну отцом.

Володя учится в Фергане в военной школе: «Тогда он жил в республике восточной, без близких и вне дома в первый раз». Уезжает из Москвы на фронт: «Пошли мы на вокзал — таким беспечным и легким шагом, как всегда, вдвоем», «Ну, а теперь еще раз, по-мужски. И, робко, виновато улыбаясь, он очень долго руку жмет мою...» Пишет с фронта: «Здесь, папа, замечательные люди...» Погибает в бою: «В то же мгновение разрывная пуля, пробив губу, разорвалась во рту».

В одном из своих ранних стихотворений (оно озаглавлено «Ремесло») Антокольский писал: «На собственной золе ты песню сварить, чтобы другим дышалось горячо». И еще: «Неприбранное будничное горе — единственная стоящая вещь».

Приводя эти слова, я хочу подчеркнуть, что к решению трагической темы «Сына» Антокольский был как бы подготовлен всей его жизнью в поэзии. Ему всегда было присуще необыкновенное, острое ощущение трагического в жизни и искусстве.

«Многие путают трагедию и трагическое в искусстве с пессимизмом, — писал Антокольский однажды. — Вредная путаница! У трагедии нет ничего общего с пессимизмом». И дальше: «Трагедия может вывернуть человека наизнанку, но человек в конечном счете поблагодарит ее за громовой урок о вечном торжестве жизни».

Нетрудно понять, что этот громовой урок соответствует аристотелеву катарсису. В буквальном переводе это слово означает «очищение».

Шекспир с его «Гамлетом», к которому Антокольский столько раз возвращался в стихах, Шиллер с «Разбойниками», где столь ощутимо приближение трагических бурь французской революции, Пушкин с его маленькими трагедиями и знаменитой песней Председателя из «Пира во время чумы», наконец, Блок с его проповедью трагического в поэзии — без всех этих имен никак нельзя составить себе сколько-нибудь полное представление о творчестве Антокольского.

Трагическая поэма «Сын» поистине способна «вывернуть человека наизнанку». Но автор ее прав: в конечном счете читатель поблагодарит его за «громовой урок о вечном торжестве жизни». Катарсис, очищение безысходной страшной болью, — своего рода кульминация поэмы и в то же время ее

внутреннее глубоко человеческое, гуманистическое оправдание:

И в том бою, в строю неистребимом
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя правды, большей, чем твоя.

В последний раз обращаюсь к заветному ларцу.

Здесь хранится множество писем, полученных Антокольским после выхода поэмы буквально со всех концов страны.

Огромное количество писем прислали отцы и матери, потерявшие сыновей на полях войны. Некоторые из них рассказывают подробности гибели своего Сашки, Вани или тоже Володи и просят Антокольского написать и об их сыне. Читатели благодарят поэта и подчеркивают, что в образе героя поэмы «Сын» они узнали черты собственного сына, что поэма посвящена и их незабвенному Саше, Ване или тоже Володе.

Сплошным потоком идут стихи, посвященные отцу и сыну Антокольским, проникнутые глубоким сочувствием горю отца и преклонением перед памятью сына.

Многие, очень многие письма, четверть века пролежавшие в ларце, заслуживают опубликования. Не имея возможности даже процитировать их, останавливаюсь только на двух письмах, пришедших из далекой Австралии.

Вот первое из них, отправленное из Сиднея 1 января 1946 года: «Вашу поэму «Сын» я читаю уже год. Каждый раз находит каждая строчка отголосок в глубине моего окаменевшего сердца. И я плачу о потере Вашего Володи и нашего Андрея, который тоже в 18 лет *mort pour la France* на баррикадах Парижа в день освобождения, 24 августа 1944 г. Дорогой друг, каждый год 6 июля я буду думать о Вашем мальчике и вспоминать таким, как он описан в Вашей поэме. Может быть, Вам тоже захочется вспомнить нашего Андрея в день его героической смерти — 24 августа. Думаю, что в Вашей душе поэта и отца Володи рассказ о гибели нашего мальчика найдет отклик».

Дальше идет рассказ о юноше, героически павшем на баррикадах Парижа. Уже в самом начале оккупации он был арестован за то, что дал пощечину фашисту. Тогда ему было пятнадцать лет. Затем в качестве агента связи он участвовал во французском Сопротивлении. Погиб, защищая от немцев одну из баррикад в рабочей части Парижа.

Второе письмо отправлено из Сиднея 12 августа 1947 года.

«Многоуважаемый и дорогой поэт Антокольский, несколько австралийцев и русских, потерявших любимых сыновей в эту войну на немецком и японском фронтах, положили букет красного горошка у ног статуи погибших на войне на Place Martine Sidney. Фотографию прилагаем... Мы передаем наше уважение, память и любовь Вам, Павел Антокольский, и Вашей жене, матери храброго Владимира».

В конверт вложена фотография с изображением памятника, воздвигнутого в Сиднее в честь погибших на войне. У подножия памятника — груда цветов. На обороте фотографии написано: «6 июля 1947 года в Сиднее мы положили букет красного горошка в память Владимира Антокольского от матерей, сестер и жен любимых чужих сыновей».

Последние слова, как помнит читатель, взяты из поэмы «Сын».

Вот он, «громовой урок о вечном торжестве жизни!»



МОЖНО ЛИ ЧИТАТЬ ЧУЖИЕ ПИСЬМА!

Здравствуй, дорогая «Юность»!

Пишет вам ученица 10-го класса. Мне 16 лет. Пишу вам в первый раз. Скажите, можно ли читать чужие письма? Этот вопрос меня очень волнует. Помните, сегодня мне пришло письмо, но меня не было дома, а мама взяла и прочитала его. Это уже не первый раз. Я попросила ее не читать больше письма, адресованные мне, но она закричала, что этого никогда не будет. Что она имеет полное право читать мои письма. Так ли это? Я знаю от многих подруг, да и в книгах и журналах пишут о том, что родители не читают письма, адресованные не им. А в нашей семье это совсем не так. Стыдно писать что-то вроде жалобы на родителей, но когда за каждым письмом и любой самой маленькой запиской следят и не успокоятся, пока не прочитают, хочется получить совет: правильно ли это? Отец даже тетради и учебники перетрачивает.

Мама говорит, что они читают мои письма только из-за того, что я никогда ни с кем ничем не делюсь. А как можно делиться? Раньше, если мы хотели рассказать что-то, нам говорили: «Некогда слушать вашу болтовню», — а сейчас укоряют тем, что мы не делимся.

У нас в семье вообще нет привычки делиться своими мыслями, и потому мы стараемся ничего не говорить родителям, а между собой обсуждаем все наши тайны. Я рассказываю все сестренке (ей 13 лет), потому что знаю, что она никому об этом не скажет и никто не будет смеяться надо мной. Ну, вот и все. Сейчас вернутся родители.

Дорогая редакция, я очень прошу вас ответить на мой вопрос: можно ли читать чужие письма?

С комсомольским приветом Людмила К.

ХОЧУ ДОВЕРИЯ

Здравствуй, дорогая редакция журнала «Юность»! Я работаю на грузотеплоходе боцманом. Плаваю по Днепру, Десне, Припяти. Мне девятнадцать лет. Недавно в городе Чернигове я купил ваш журнал. Он меня очень заинтересовал. И мне хочется написать вам вот что. Уже несколько лет, как у нас в по-

селке после окончания учебного года каждый школьник отработывает в колхозе или в совхозе месяц или полмесяца. И это очень правильно. Мы еще со школьной скамьи привыкли к труду в поле и вообще к труду.

После окончания восьмилетки большинство из нас пошло работать в совхоз. Я сам уже в пятнадцать лет имел удостоверение тракториста-машиниста, в шестнадцать — электромонтера, в семнадцать был трактористом-испытателем. Сейчас плаваю на теплоходе боцманом.

Я стремился больше узнать, попробовать все сам. Вот так и всю молодежь тянет к чему-то новому неизведанному. А часто старшие нам не доверяют.

Возьмем, к примеру, такие случаи. Юноша кончил восьмилетку, ему хочется пойти поработать, ну, скажем, лесопильщиком. А ему в ответ: «Мал еще, сломаешь, наделаешь что-нибудь — отвечай тогда». И этим недоверием взрослые отпугивают молодежь, у нее возникает чувство, будто она ни на что не способна.

Чем больше у нас будут доверять молодежи, тем больше будет молодых кадров. Я сам очень молодой и все это недоверие и недооценивание молодых уже не раз испытал на себе. Но все же добился своего. И каким путем? Я пошел в правление колхоза затем, чтобы послали на курсы механизаторов. А они спросили у меня, сколько мне лет. Я знал, что на курсы берут только с пятнадцати с половиной лет. И я сказал, что мне столько же. Мне поверили на слово, документов не стали проверять и дали направление. Так я стал учиться, а потом работать. И мне было интересно работать. Потом я освоил другие специальности, пока не стал боцманом.

Мне нравится быть боцманом потому, что здесь, во флоте, меня по крайней мере не считают за ребенка, который еще мал и которому не доверяют, боясь, что он что-нибудь натворит. Здесь неписаный закон: раз пришел работать во флот, значит, работай наравне со всеми, скидок на молодость нет. И это мне нравится. Иногда, бывает, работаем и не спим сутки, а то и двое. И никто не скажет мне, чтобы я шел спать. И это мне тоже нравится. Я чувствую себя «на седьмом небе», потому что эти люди доверяют мне, верят в то, что я могу работать наравне с ними и обходиться без сна столько, сколько и они.

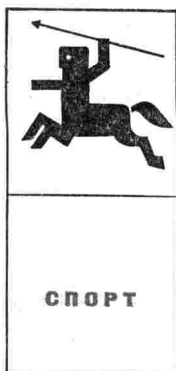
Но я не хочу останавливаться на этом. Я много бы отдал за то, чтобы хоть раз взлететь самому на учебно-тренировочном самолете «ЯК-18» в небо. Эта мечта меня преследует еще со школьной скамьи. Конечно, не посчитайте это за глупые детские мысли. Я для того после школы (после окончания восьми классов) и пошел трактористом, чтобы почувствовать себя хозяином машины. Для того и пошел электромонтером, чтобы попробовать высоту. Но высота оказалась слишком малая, а риска на той высоте никакого. А я люблю риск, люблю высоту, люблю скорость. А вы же сами знаете, какая скорость у трактора.

Меня сильно тянет к машинам. Я люблю технику, а ради того, чтобы постоять за штурвалом, почувствовать упругость пружин, рычагов, посидеть за баранкой автомобиля, взлететь на самолете, я готов отдать все.

До свидания, товарищи. Флотский вам привет.

Василий Г.

г. Днепропетровск. Амур-гавань.



Очень серьезная девочка

Лена Карпухина
в редакции «Юности».



Ей шестнадцать лет. Учится в десятом классе. Три месяца назад в Копенгагене она стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Лена отвечала на наши вопросы через два дня после возвращения в Москву с чемпионата мира.

— Лена, ты уже привыкла к своему высокому титулу, осознаешь, что ты чемпионка мира?

— Нет, до сих пор не верится. Может быть, потому, что никогда прежде мне не вручали золотую медаль. Разве что на первенстве Москвы.

— На чемпионатах страны ты, кажется, успеха не добивалась?

— В прошлом году я была одиннадцатой, в позапрошлом поделила четырнадцатое-пятнадцатое места.

— Но вот тебе говорят, что ты чемпионка мира... Кстати, кто тебе первый об этом сказал, поздравил?

— Таня Кравченко. Но я не поверила ей сначала. Думала, что это ошибка.

— Как не поверила? Ты же знала, что идешь первой?

— Нет, не знала. Мой тренер, Мария Вартановна Лисициан, всегда говорит: «Никогда не подсчитывай очки. Никогда не прикидывай, кто на каком месте, — это мешает, ты должна думать только о своем выступлении и тогда хорошо выступишь».

— Поверила, лишь когда золотую медаль вручили, да?

— Да. И сразу про бабушку вспомнила. Как она там? Бабушка, оказывается, смотрела первенство мира у соседей — у них большой телевизор.

— Ты живешь с бабушкой?

— Да. Мою бабушку зовут Полина Ивановна. Это бабушка захотела, чтобы я серьезно занялась каким-

либо спортом. У нее была такая мечта. И осенью 1962 года мы с бабушкой поехали в «Крылья Советов» и встретили там Тамару Вартановну, сестру Марии Вартановны, которая и стала моим первым тренером.

— Что тебя увлекает, помимо гимнастики?

— Люблю животных. У нас черепаха была — в саду жила. Мы насильно ее не удерживали, и этим летом, когда я в Киев на Кубок страны поехала, черепаха ушла. А сейчас голубь живет, рыбы есть. Люблю лепить животных из пластилина: белок, лебедей... Дарю их Марии Вартановне. Я обязательно на биофак поступлю, в университет.

— Сколько раз в неделю ты тренируешься?

— Три раза в неделю по три-четыре часа.

— А уроки успеваешь готовить?

— У меня все в порядке с учебой. Поэтому учителя охотно отпускают меня на сборы, соревнования. Беру с собой учебники, а если очень отстану, ребята из класса всегда помогут.

— У тебя много друзей?

— Много.

— Расскажи о самой близкой своей подруге. Кто она?

— Надя Молчанова, сестра Тани Кравченко. Надя тоже «мастера набрала», она тоже занимается у Марии Вартановны. Мы так дружим, что мне даже не жалко, если она обгоняет меня на соревнованиях. И она не расстраивается, если я ее обгоняю.

— Какая черта характера тебя отталкивает?

— Зазнайство. Можно быть первым, но нельзя очень гордиться этим. А то такие есть чемпионы, к которым и не подступишься.

На снимке сверху — Лена Карпухина.

Фото С. Васина.

— Ради чего, как ты считаешь, спортсмен стремится быть первым?

— Чтобы принести людям радость.

— А честолюбие?

— Нельзя быть слишком честолюбивым.

— Почему?

— Это слишком эгоистично.

— Твой идеал в спорте?

— Наташа Кучинская. Она не показывает, что чемпионка. Очень хорошо это звание носит.

— Ты дружишь, наверное, с Мариной Кучинской?

— Хорошая очень девчонка. Очень собранная. В Копенгагене мы с ней в одном номере жили. Раньше я была такая размазня, а сейчас научилась собираться перед выступлением, как Марина.

— Ты наш журнал читаешь?

— Не выписываю, но покупаю в киоске.

— А помнишь, год назад у нас была статья о художественной гимнастике?

— Конечно, помню. Мария Вартановна там про меня сказала, что мне не хватает эмоциональности. Я и сейчас еще эмоционально не очень-то раскрываюсь. Меня вот ругают, что не улыбаюсь. Но на соревнованиях в Кирове я улыбнулась — и скакалку задела. Я не могу улыбаться, стесняюсь. Может быть, я могу улыбаться, когда одна остаюсь, а в зале, при всех, не могу. У меня всегда серьезное выражение лица, когда выступаю.

— Но ведь художественная гимнастика — вид спорта, который близок к искусству, к балету в частности? Как же можно здесь без эмоций?

— Для меня художественная гимнастика прежде всего спорт. Балет я смотрю редко, правда, музыку теперь понимаю лучше.

— А ты не хотела бы в таком случае заниматься спортивной гимнастикой?

— Нет. Я часто слышу: «Что у вас за вид спорта?» Дескать, даже делать нечего. Ребята-борцы, которые занимаются в соседнем зале, говорят: «У вас даже травмы не получишь!» Так воображают, что не подступишься. А заставь их художественной гимнастикой заняться, так ведь не справятся!

— Расскажи о самом трудном дне в жизни.

— Перед первенством мира был Кубок Союза в Кисеве, как бы отборочные соревнования. Я натерпелась в Кисеве такого страха! Второе место досталось мне там гораздо труднее, чем первое в Копенгагене. Мне не было страшно на первенстве мира, ведь я не рассчитывала стать чемпионкой.

— Ты плачешь когда-нибудь или ты такая серьезная девочка...

— Очень часто плачу. И на соревнованиях и на тренировках. Устану и заплачу.

— Путешествовать любишь?

— Кто не любит? Больше всего я хотела бы поехать в Италию, посмотреть картинные галереи. Ведь я немного рисую.

— Твоя неосуществленная мечта?

— Иметь собаку. И обязательно овчарку.

— Ты могла бы представить себя в двадцать или, допустим, в тридцать лет?

— Мы с девочками пробовали себя бабушками представить, но как-то не представлялось.

— А сниматься в кино хотела когда-нибудь?

— У меня же ничего не получится, у меня же эмоциональности не хватает.

— Твой любимый артист?

— Смоктуновский.

— Литературный герой?

— Базаров. Мне нравится, что он критически ко всему подходил.

— И последний вопрос: кто из взрослых, близких тебе людей наиболее тобой любим и уважаем?

— Мой тренер Мария Вартановна. Она необыкновенная. Ласковая, а когда нужно, строгая. И бабушку очень люблю. Я раньше ее на соревнования брала. Но стою, волнуясь, начинаю ногти грызть. А она смотрит на меня, тоже волнуется и показывает, что не надо грызть ногти. И я не стала ее на соревнования брать. Но Тамара Вартановна и Мария Вартановна говорят, чтобы и бабушка и родители обязательно приходили, смотрели на меня и радовались. А знаете, что мне вчера бабушка сказала? «Мне,— говорит,— теперь больше жизни прибавилось».

Беседу записала Алла КОНТОРОВСКАЯ.

Комментарий тренера — Марии Вартановны Лисициан:

Я не ожидала, что Лена займет на чемпионате первое место. Я хотела надеяться, что она будет второй. А говорили мы с Тамарой Вартановной Леночке так: «Если войдешь в десятку — это будет твоей большой победой. Не думай о месте, о баллах. Главное — хорошо выступить». И, когда Лену поздравляли, она сказала: «Это несправедливо, что я чемпионка. Любочка Середа запуталась со скакалкой». Тут и я и все остальные стали желать ей, чтобы она всегда была таким милым, хорошим ребенком. Всем очень, конечно, нравится, что в свои шестнадцать лет Лена не чувствует себя эдакой взрослой девушкой и больше всего любит школу, бабушку и свой спортивный клуб. И все мы советуем ей всегда такой оставаться. Уж слишком советуем, так можно и перестараться. Лену, по-моему, это уже обижает.

Да, у нее отличная техника, а эмоциональности действительно пока не хватает. Она еще не раскрыта мною. Я еще не могу найти ее игровой жанр. Спортсменка, занимающаяся художественной гимнастикой, как и антриса, должна иметь свое собственное лицо. Пока ей ближе лирика, плавность.

Ей надо тренировать воображение, приобщаться к культуре хореографии, театра. Я уже замечаю, как она все больше любит и понимает музыку. От природы Лена одаренная девочка. Она интересные вещи лепит из пластилина. Мы даже думали с Тамарой Вартановной, что ей надо пойти в Строгановское училище. Но ее больше тянет на биофак — так она любит животных. Что ж, я люблю людей, которые любят животных. У нас в семье всегда были собаки. Мне очень приятна ее любознательность. Когда мы в Дрездене были, она мне не давала покоя: «Когда пойдешь в галерею?» Близилась соревнования, у нас оставалось тридцать минут, но я все же повела ее в Дрезденскую галерею и зал мадонн показала.

Перед матчем с Болгарией, который состоялся в Москве вскоре после первенства мира, Лена очень волновалась. Плакала на тренировках, говорила, что у нее ничего не получается. Но выступила, как вы знаете, отлично. Ей будет теперь труднее, чем прежде, — чемпионка мира! А чемпионне всего шестнадцать лет! Знаете, что Леночке больше всего сейчас надо? Отдохнуть и хотя бы на время забыть, что она чемпионка мира.



Виктор Славкин



Этот Никомёдов

Рисунок М. Ушаца.

Я не люблю телефон. Никогда не угадаешь, что тебя ждет через секунду после того, как поднимешь трубку. Случаются, правда, и радостные звонки, но редко. Я по пальцам могу перечислить, кто может мне звонить, и ни от кого из них не ожидаю ничего хорошего. Я сижу за своим рабочим столом и опасно кошусь на черный блестящий аппарат. Всегда жду подвоха.

Самое большое мое желание — чтобы на звонки отвечал кто-нибудь вместо меня. Но секретарша мне пока еще не положена по штату.

Вот и сейчас, когда зазвонил телефон, противно дернуло под глазом.

Уже по тону самого звонка я почувствовал что-то неладное. Обычно мой телефон звонит сразу длинным звоном. А на этот раз получилось каких-то два писка, а потом странный сухой звук. Что-то вроде др-р-р-р...

Я снял трубку. Молчание.

— Междугородняя? — спросил я.

— Нет. У меня поштовая мошковская прописка, — прошипела трубка. Словно на том конце провода говорил чревоушитель, приложив телефонную трубку к животу.

— При чем тут прописка?

— Я думал, это очень важно...

— Может быть, для вас важно, но мне абсолютно все равно.

Я хотел положить трубку, но в ней снова зашипело:

— Шпасибо. Недаром о вас говорят штолько хорошего.

— Кто вы в конце концов, и что вам от меня надо?

— Мне хотелось, чтобы вы взяли меня на работу.

— Но с какой стати?.. Я вас знать не знаю.

— Никомёдов я. Фамилия такая.

— Ну и что?

— Профешсия у меня редкая. Имитатор я. Швукпоподрашатель. Понимаете? Подрашаю пению птиц, бибиканью автомобилей, шелешту газет, шуму моря, швуку кнтрабаша и человечешким голошам.

— Обратитесь в цирк. — И я положил трубку. Ерунда какая!

Звонок.

— Зря, старик, зря, — говорит мой старый друг (вместе в институте учились), — зря...

— Ты о чем?

— О Никомёдове. Очень даже он тебе необходим. Посадишь на телефон, и будет он твоим голосом отвечать на разные дурацкие звонки. Представь, сколько времени у тебя освободится! Смо-



жешь в рабочее время научиться играть на саксофоне.

— Откуда ты его, этого Никомёдова, знаешь?

— Когда-то вместе работали в одной проектной организации.

— А где ты теперь?

— У Эдди Рознера.

Положил трубку.

Звонок.

— Милый, — жена своим сладеньким голосочком (трубка сразу стала липкой, как конфета). — Не обидь хорошего человечка. Трудоустрой. Что тебе стоит?.. Ну? Ты не можешь мне отказать. Ведь ты любишь меня?.. Ну скажи, что любишь, дорогой. Я жду.

Господи, как трудно произнести слова, если не ты сам их придумал...

— О, мой мальчик меня не любит!.. Скажи, не любишь?

Господи, как трудно произнести слова, если их знаешь только ты...

Я кладу трубку. Пожалуй, надо взять этого Никомёдова.

Звонок.

Мать.

— Звоню тебе, звоню, и все занято...

— С женой молчал.

— Понимаю. — Мать меня понимает. — Слушай, сынок, так я об этом Никомёдове. Ты своей выгоды не знаешь. Ведь он может подражать голосу само-го... Позвонит кому нужно,брякнет куда следует... Ты, сынок, всю семью в люди выведешь: Танечку в детский садик устроишь, Манечку в институт про-пихнешь, мне пенсию выхлопочешь, бабушке — ме-сто на Новодевичьем. А, сынок?..

Я повесил трубку.

Тогда позвонил сам.

— Срочное задание! Нам позарез нужен новый сотрудник. С «Н» в начале, с «В» в конце. Да, са-мое главное, чтобы была буква «Е» в середине с двумя точками наверху. Вы поняли?

Я все понял. Только бы он позвонил еще раз, этот Никомёдов.

Пи-пи-др-р-р-р... Это он. Снимаю трубку.

— Алло! Я вас слушаю.

— Это елена один девять восемь тридцать де-вять? — услышал я торопливый девичий голосок.

— Да.

— Хабаровск вызывали?

— Нет.

— Это я ваш рашыгрываю, — зашипела трубка. — Похоше, правда? Штрасть как люблю шенским го-лосом по телефону шутить. Череш это дело один раш чуть шамуш за шобштвенного брата не вышел.

— Это вы, Никомёдов?

— Ага. Фамилия такая. Нащинается на «Н», конша-ется на «В», «Е» в середине с двумя тошками на-верху.

— Я беру вас. Все хорошо. Только когда вы го-ворите за мою мать, слово «сынок» надо произно-сить мягче и букву «о» тянуть, тянуть... Понимаете?

— Понимаю, сыно-о-о-к.

— Вот уже лучше.

— К работе приступайте с завтрашнего дня. А по-ка, не в службу, а в дружбу, позвоните моей жене и скажите, что я ее люблю.

— Слушаюсь, милый.



Комекция
Гайки
Гайки-Ой

22 Поезд двинулся из города А в город Б так медленно, что экзамены пришлось перенести на осень.

25 Читата раз докладчику сказала: — Замучил ты меня, эвезил, эвезил, чужедум. Когда бы пришла бы автору на ум.

23 Напись на могильной плите: "Погиб при защите диссертации"

24 Когда его спрашивали, как ему удалось жениться на такой красавице, он отвечал: "По знакомству".

26 Карлики мечтают о большом теле. Размеры собственного мозга их вполне удовлетворяют.

27 С гордостью носил медаль, которую его собака получила на выставке

28 Дочурке в троллейбусе мама сказала: — Старушке зачем ты язык показала? Так делать нельзя, дорогая Наташа, Ведь бабушка эта чужая, не наша.

Материалы в коллекцию прислали: 22, 23, 24 — М. Давыдовский, 25 — И. Дыньнов, 26 — Г. Лауб, 27 — Н. Станиловский, 28 — А. Буднов.

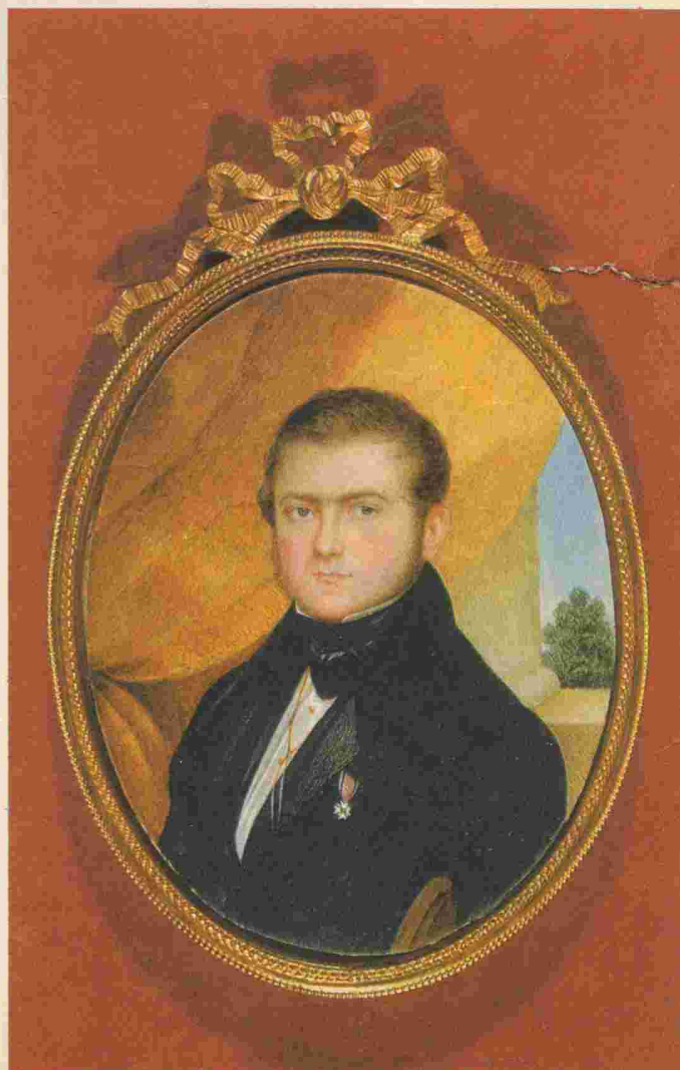
ШТУТГАРТСКИЕ ПОРТРЕТЫ

[Смотрите в этом номере очерк
Ираклия Андроникова «СЕСТРЫ ХАУФ»].



Портрет Александры Михайловны
Верещагиной-Хюгель.

Портрет барона фон Хюгеля.





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120